84Р7-4
Ч-39

БИБЛИОТЕКА
МОЛОДОЙ СЕМЬИ

ЧЕЛОВЕЧЬЯ ВЕСНА

БИБЛИОТЕКА
МОЛОДОЙ
СЕМЬИ

ЧЕЛОВЕЧЬЯ
ВЕСНА

БИБЛИОТЕКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ

ЧЕЛОВЕЧЬЯ ВЕСНА

Страницы русской прозы
1917—1930 годов

Москва
«Молодая гвардия»
1988

ББК 84Р7—4
Ч—39

Составитель и автор предисловия
Леонид Асанов

На переплете рисунок
Иры Ключинской

Ч 4702010200—219
078(02)—88 Свод. пл. подписных изд. 1988.

ISBN 5-235-00014-5

© Издательство «Молодая гвардия», 1988 г.

НЕСЛЫХАННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ...

«Жизнь большая. Надо томы писать о ней. А кругом бурлит. Некогда долго читать и рассказывать. Лучше отрывки» — так начала одно из своих ранних произведений замечательная советская писательница Лидия Сейфуллина. И многие, многие ее современники — и читатели и писатели — подписались бы под этими словами.

«Кругом бурлит». Во всей истории человечества немного найдется примеров такой коренной ломки жизни, как та, которая произошла в нашей стране в короткую эпоху с 1917-го по 1930-й примерно год. Еще совсем недавно огромная империя, занимающая шестую часть суши, была погружена, казалось бы, в беспробудный тяжелый сон, и надо было обладать точным политическим знанием или острой художественной интуицией, чтобы провидеть в недалеком будущем «неслыханные перемены, невиданные мятежи» (А. Блок). Но вот грянула революция — и изменилось все: название и символы государства, общественный строй, экономический уклад, стиль жизни... Все классы, все группы, все слои общества были перемешаны, перепаханы великой революцией. Лозунг ее: «Кто был ничем, тот станет всем» — исполнился, и не было ни одной судьбы человеческой в громадной стране, которая круто не изменилась бы в эти годы.

Резко поменялась и панорама русской литературы. Многим в одиночку трудно было определиться, устоять на своей позиции — отсюда стремление сплотиться с единомышленниками, сбиться в группу, чтобы купно отстаивать свое место в литературе. И еще небывалое ранее: волны революции, до дна всколыхнувшие людскую массу, взметнули вверх огромное число людей, впервые приобщившихся к культуре, к письму, людей, ощутивших жгучую тягу к письменному слову. Произведения писателей-новичков, писателей-самоучек заполнили многочисленные журналы и сборники той поры.

ской войны, вторая — первым мирным годам. Говоря о смертельных ошибках восемнадцатого-двадцатого годов, писатели поневоле сосредоточивают внимание на трагическом, кровавом, безжалостном. Но как резко меняется авторское видение при описании послевоенных лет: пишущие словно торопят, призывают приход добра и человечности.

Сопоставляя художественные картины времен гражданской войны с тем, что известно нам из истории, из документальных источников, мы видим, что писатели были правдивы — самые жестокие, самые отталкивающие сцены в их произведениях не превосходят кровавой беспощадности гражданской войны. Но тогда зададим вопрос: а правдивы ли они в описании наступившего мира? Не набрасывают ли розовый флер на действительность? Трагические события последующих десятилетий подводят нас к этой мысли. Но, с другой стороны, люди после долгих лет жестоких испытаний стремились, спешили к простой, трудовой, радостной жизни и, возможно, хотели видеть в действительности лишь хорошее и светлое, отворачиваясь от рубцов и недавних шрамов. Ведь это же так по-человечески понятно...

Составитель не берет на себя право судить. Пусть судит читатель.

Жанр включенных в сборник произведений не указан — при нынешнем широком толковании термина «рассказ» все они, с некоторой мерой приближенности, могут быть названы рассказами. Впрочем, произведения Серафимовича и Ларисы Рейснер следовало бы считать очерками, «Крысолов» Грина сегодняшние исследователи единодушно именуют новеллой, бунинский «Канун», пожалуй, правильнее всего было бы назвать стихотворением в прозе. Суть не в обозначении жанра — пусть это будут разноцветные и разноформенные фрагменты, из которых сложится яркая картина великой эпохи.

И еще одно соображение. Читатель познакомится в этой книге с творчеством тридцати талантливых писателей, зачинателей советской литературы. Хотелось бы, чтобы он самостоятельно продолжил это знакомство — от рассказа к повестям и романам. В этом ему поможет помещенный в конце книги список рекомендуемой литературы, включающий наиболее известные произведения двадцатых — начала тридцатых годов.

Можно с уверенностью сказать, что читателя ждут удивительные открытия, блистательные страницы советской прозы.

Леонид АСАНОВ

КАНУН

В городе, по пути на вокзал. Извозчик мчит во весь дух, с горы и на мост, через речку. Под мостом, на береговой отмели, отвернувшись от проезжих под навес моста и как бы для защиты подняв плечи, стоит босяк, спешно, как собака, пожирает из грязной тряпки что-то вроде начинки. А позади грохочут, летят, точно нагоняют, ломовые телеги, трясутся, вися с грядок, страшные сапоги мужиков. Все в муке, — мукомолы, — все великаны, и все рыжие, без шапок, в красных рубахах распояской...

А потом вагон, второй класс. И какой-то сидящий против меня господин лет за сорок, широкий и стриженный бобриком, в золотых очках на плоском носу с наглыми ноздрями, все встает и, не глядя на меня, — от пренебрежения ко мне, — все поправляет на сетке свои хорошие, в крепких чехлах чемоданы и чемоданчики. Аккуратный и уверенный в себе господин, спокойный за свое благополучие и строгое достоинство...

Шла, однако, уже осень шестнадцатого года.

1930

А.Толстой

РАССКАЗ ПРОЕЗЖЕГО ЧЕЛОВЕКА

Падали за окнами на железо капли дождя, и ветер, громыхнув иногда крышей, то принимался насвистывать вокруг дома, на углах карнизов, по каким-то неприметным щелкам, то выл в печную трубу, повсюду засовывая черные, мокрые, лохматые губы.

Среди нас, утомленных суетою дня, газетными ужасами, тяжелыми предчувствиями и в этот вечер забившихся в накуренной теплой комнате, сидел на жестком стуле в углу проезжий. Был он высок и костляв, одет в поношенную форму штабс-капитана и, видимо, тяготился нашей обывательской беседой. Его крупное, худое лицо с большими глазами, оттененными синевой, было сурово и неприятно. Только рот, небольшой и мягкий, улыбался иногда совсем по-детски, но улыбка не шла дальше губ, не освещала ни лица, ни глаз. Забрав под стул ноги в больших сапогах, он, казалось, мог так просидеть до утра, прямо и молча, или вдруг, ни с кем не простившись, уйти.

Беседа наша была похожа на мочалку, которую жевал каждый поочередно: «Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?» Один уверял, что «вырежут всех, и не позже пятницы»; другой говорил: «Оставьте, батенька, зачем нас резать, чепуха, не верю, а вот продовольственные магазины громить будут»; третий сообщал из достоверного источника, что «к первому числу город начнет вымирать от голода». «Ну и умрем, — сказал четвертый, — велика беда, все равно помирать надо когда-нибудь». «Но я не хочу умереть насильственной смертью!» — восклицал пятый. И этому наивному заявлению улыбались. Затем, сморщенный и маленький, с

вылезающим воротником, газетный писатель, мгновенно возбудившись, произнес, размахивая папиросой и надвигая пенсне, следующее:

— Самое скверное то, господа, что вся эта мировая потасовка, с пятью миллионами убитых, — ни к чему! Я понимаю страдать, когда впереди светлая и ясная цель! (Он изобразил всем видом своим эту цель, причем воротник его полез на затылок.) Но какая цель во всем этом миротрясении? — я спрашиваю. Мы устали! Дайте нам отдых! Мы не хотим ничего больше! Не верим. Истины изнасилованы! Идеалы заражены сифилисом! И, как некогда погибли Содом и Гоморра, так и мы провалимся в тартарары. Имя нашему времени — возмездие. Не трудитесь в нем искать ничего хорошего...

— Скуууучно... — завыл ветер в печной трубе.

И не успел маленький писатель, очень довольный словами своими, закурить новую папиросочку, влезши поглубже на диван, как внимательно слушавший его штабс-капитан сказал спокойно, не без твердости в суровом и низком голосе:

— Извините, пожалуйста, не знаю вашего имени-отчества, вы говорите ерунду.

Я не стану описывать, как после неловких этих слов начался громкий спор, где три пожилых человека принялись вылезать из себя, доказывая, что война и революция бесцельны, а другие три пожилых человека тоже вылезли из себя, доказывая, что война и революция приведут к цели, — как маленький писатель сначала обиделся, потом разгорячился, потом обессилел. Все было, как тому и быть надлежит. Наконец штабс-капитан, задетый, должно быть, дальнейшим спором, и неожиданно, когда все уже охрипли и по-собачьи только лязгали друг на друга, встал со стула и, прислонясь спиной к изразцовой печи, проговорил:

— Позвольте мне рассказать случай из жизни, так, я думаю, будет понятнее...

— Прежде, до войны, я занимался живописью, был женат и проживал в Москве. У меня были средства, небольшие, почти удовлетворявшие меня, известность и привычка к постоянной праздности, душевным именинам.

Каждый день должен был приносить что-нибудь приятное, милое удовольствие, иначе день казался потерянным. Поэтому я и любил легко, без осложнений, и легко сходился с друзьями, и без труда расставался; и была у меня особая уловка лавировать между крупными неприятностями и слишком обязывающими страстями. Легкая, приятная, неглупая жизнь. Да, вспоминая, я не вижу на ней пятен, но я и не вижу почти ее саму.

Меня всегда удивляло только одно странное чувство: я никогда до конца не был ни счастлив, ни весел; точно во мне был темный угол, куда никогда не доходило ощущение счастья и веселья. Это можно сравнить с легкой астмой: невозможность до конца, до последнего дна, вдохнуть воздуху.

Иногда казалось, что непременно будет несчастье и оно близко-близко, вот-вот. Но время шло все так же гладко, и не случалось ничего тяжелого, разве только медленный и молчаливо решенный с обеих сторон разрыв с женой. Не расходились мы, в сущности говоря, только потому, что не было повода. Но и не тяготились друг другом. Выставки, дружеские попойки, издательские затеи, поездки, вечера, — как легкий безбольный вихрь уносил нас в круге дней. Осталось от всего ощущение электрического света, женского шелка, запаха духов и грусти.

Кончился сезон, последний в нашей жизни, последний шумный и блестящий сезон в столице. Знакомые потянулись за границу, в усадьбы, в Крым. Поехали в Крым и мы с женой.

Я накупил много красок, но писать не пришлось: на юге было особенно в этот год весело и шумно. Почти тревожно. Многие неожиданно разошлись — мужья с женами, другие внезапно отчаянно влюбились. Происходили странные, почти непонятные ссоры. Точно вихрь окреп и теперь бешено, невидимо крутился между людьми, туманя сознание, распаляя чувства. Это был тоже последний сезон в Крыму.

В середине лета чувство беспокойства и неутоленности стало болезненным, как надвинувшаяся на мое сознание дурная тень. Я перестал спать. Часто ссорился. Уходил надолго в горы и сидел перед картоном, не кладя ни мазка, глядя на холмы, море, на странные, как горы и дымы, желтоватые облака, поднявшиеся к вы-

цветшему небу. Точно все было не настоящее, не истинное, подернутое призрачной пеленой. Но что под нею? Какая земля? Какая правда? И тоска сдавливала сердце.

Жена, по-своему понимая мое настроение, торопливо, со злобой искала ту, в кого я должен быть влюблен. Однажды всю ночь мы проговорили на песке, у моря. Это давно ожидаемое, такое страшное, болезненное объяснение оказалось скучным и многословным, только между нами не нашлось ни одной ниточки, которую можно бы оторвать с кровью: все уже давно сгнило; мы наговорили лишнего, пошлого; было скучно и утомительно, как надоевшая давно зубная боль.

Это, пожалуй, похуже острого горя. Жена плакала, сидя на песке. Я бросал в море плоские камни, и они подпрыгивали по бликам лунного света.

Мы решили расстаться на время, не хватило страсти сознать, что расстаемся совсем. Жена ушла спать, я собрал чемодан и, еще не зная, куда поеду, сел на террасу, ожидая кофе.

Утро было тихое и жаркое, от зноя выцвели и угол каменной дачи и листья на тополях; гравий, трава и даже небо — все было затянуто полупрозрачной, неподвижной мглой. За невысокой изгородью из путаного кустарника поднимались на высоких стеблях подсолнухи, пять или шесть — шапками, повернутыми к солнцу. За ними — беловатая мгла и в двадцати шагах море, неподвижное и маслянистое. С низкой террасы казалось, что оно уходит далеко и высоко, и выше его края стояли пять подсолнечных шапок с золотыми лепестками.

Это была странная, единственная минута: тихий, мглистый зной и поднявшиеся из него, как из марева, подсолнухи, неподвижные, слепые, обращенные к солнцу. Все это было какой-то непостижимой чертой, о которую спотыкнулось мое время, непрерывный, не достигающий сознания поток секунд, мгновений, ударов сердца. Я увидел, как от этой черты в глубину побежали печальной рекой мои прошлые дни и как в другую глубину запенился мглистый поток будущих дней.

Так вот чем было это всегдашнее предчувствие беды!

Вот когда в темные тайники дошло наконец ощуще-

ние жизни! Вот когда стало понятно, что счастье — только слепцам, тем, кто из тумана дней поднял слепое лицо! Какое невыразимое одиночество на земле! Какое покорное созерцание смерти. Как печален человек, вдруг выросший, словно грибок, под необъятным солнцем, чтобы на закате и самому склонить головку...

Прислонясь к балюстраде, я заплакал. Все это, конечно, нельзя рассказать словами.

Я уехал в Москву. Там, один в квартире, с замазанными мелом окошками, валялся на диванах, курил, перелистывая журналы, или бренчал на пьянино. Хотелось только одного — спать как можно дольше, уткнувшись носом, не вспоминая, не ждя ничего; на все был один ответ: «К чему?»... Все, все, все — только слепые лица перед солнцем, пожирающим землю. А приятель, доктор, сказал: «У тебя, брат ты мой, сильнейшее нервное переутомление, нужны ванны и статическое электричество».

Это было отвратительное время. Душа моя изныла в тоске смерти. Точно я тридцать два года вертел колесо в каторжной тюрьме и вот вижу, что колесо лишь вделано в стену, не для чего, так. Вот какой была моя жизнь до войны! И вы спросите — с чего это я так огорчался? Почему какие-то тончайшие настроения могли повергать меня в уныние? Бесился с жиру? Да, бесился от худосочия, от затхлости, — все силы души были замкнуты и гнили в темных подвалах.

Внезапно пришла война. Уж давно крутившийся вихрь теперь сильным студеным сквозняком сорвал и унес все лохмотья, все румяна, всколыхнул оголевшее, пьяное болото по всей России. Вы помните, как потянулись на запад поезда, обозы, серая бородатая заспанная Русь; как запели, засвистали солдаты, проходя по переулкам, завыли бабы; и как франты, вчера еще танцевавшие танго, напудренные молодые люди, усталые скептики и прочее и прочее — все это перекинуло через плечи бинокли, натянуло смазные сапоги и поехало воевать.

Теперь, мне кажется, я понимаю: у всех тогда было нетерпение доказать, что, мол, и мы нация, оправдаться, снять позор. Да, да, я помню по себе — снять позор ленивой, грязной, сонной, хамской жизни. Но, видно, слишком многое нам приходится и доказывать и оправ-

дывать, и мало еще для этого одного геройства, смерти на бранном поле...

Разумеется, я вылез на улицу, кричал и волновался вместе со всеми; встречая на Тверской царя, говорил: «Все-таки, знаете, как-никак, а сейчас это символ»; послал нежнейшее письмо жене, где просил прощения; накупил целый чемодан вещиц военно-походного обихода, записался в несколько мест добровольцем, был призван и в августе попал в Восточную Пруссию, в бои.

Первый грохот пушки! Боже, сердце готово было умчаться туда, за визжащим снарядом! А пожар станции! Какое мрачное великолепие в черных клубах дыма! Это мы, мы подняли огонь и дым до самого неба! Помню, из желтеющего леса (я был в разведке) бесшумно, как дикие животные, выскользнули два всадника в уланках. Передний осадил лошадь и, повернувшись в седле, ломал гроздь рябины. Мой разведчик выстрелил. Лошадь шарахнулась, поскакала по кустам, а улан, торопливо вытаскивая из кобуры карабин, завалился в седле, поднял руки, обхватил ими горло и соскользнул в траву, как мешок. Я обругал солдата (приходилось отступать, не кончив разведки), но все же как ловко свалился улан! Как все здесь ловко, и сильно, и быстро! И не нужно нанюхиваться кокаином, ни одурять себя какими-то странными запахами, мечтами, дымом, вином, чтобы заиграли все поджилки и распахнулась, запенилась душа. Здесь мы рванулись в азартную игру, где призом была чужая смерть, а своя — битой картой. А красные лужицы, оторванные руки и головы, — черт с ними, не до того! Став убийцами, мы, как звери, почуяли жизнь...

И даже потом, когда отходили из Пруссии, дрались днем и ночью, мокли под ливнями и топли в болотах; когда на свист пули только морщились, зная, что свистнувшая миновала, а ту, что вопьется, не услышишь; когда бросали умирающих и раненых; когда вся грязь казалась липкой от крови, — даже и тогда смерть была лишь неудачей, случайностью, но не тем, о чем стоило думать... Странно, ведь это все же то, перед чем все становится бессмыслицей, и я не раз вспоминал утро с подсолнечниками... Но тогда смерть была иной, тогда я умирал весь, уходил в сумерки. А сейчас я где-нибудь и шлепнусь с разбитой башкой, но это будет эпизод, не

больше! Я-то останусь, как — не знаю, но я останусь, верю — не умру.

Затем наступил наш разгром, отход и отчаяние. Мы оцепенели на долгие месяцы, зализывали раны, томились, мечтали о чистоте, о красивых женщинах, о штатском платье. Собираясь, вспоминали, кто кем был в прошлой жизни, какие носил галстуки, и говорили со вздохом: «Хорошо бы теперь посидеть даже не в гостиной, а в чистом, светлом клозете». Это был упадок, тяжелый сон под мокрой, вонючей шинелью. И, как отрывки этого сна, встают воспоминания.

Помню, плюхал дождь, размывая глину, и ветер хлопал парусом на плохо сколоченной двери землянки. Мы играли в карты. Красные от коньяку, опухшие лица товарищей точно плавали в табачном дыму. Между нами был штабс-капитан Т., когда-то видный адвокат, красавец, ценитель искусства; теперь — кривой, обрюзгший человек, бородатый и почесывающий себя под рубашкой. Он выигрывал, хохотал и приговаривал с каждой картой: «Кончилось, мальчики, кончилось сладкое житье, але-марш налево!» На днях он уезжал в отпуск и обещался привезти оттуда «запашóк дамских рубашечек».

Во время игры, прикрыв блюдечком пачку денег, он вышел на минутку. Мы бросили играть, ожидая. Минут через сорок появляется из-за парусины мокрый денщик и докладывает, что штабс-капитан убит пулей в голову наповал.

Мы убрали карты и легли по койкам. Плюхало, плюхало, плюхало над головой. Доносились редкие выстрелы. Голова у меня болела, и в горле сжималось тошнотой. Повернувшись на бок, я увидел: у стола, беззвучно сотрясаясь красной рожей, сидит, хохочет над картами штабс-капитан, а через него виден чей-то сапог со шпорой.

Слишком, должно быть, выпито было коньяку. И вот тогда-то до очевидности стало ясно, что войну нужно кончать, что мы изжили войну. И предстоит нам что-то еще более огромное, страшное и великое, чем война. Вся армия (мы знали это по «Солдатской газете») томилась в ожидании. Чувствовали, что Россия за нашей спиной корчится, как перед смертью. Ждали, стиснув

зубы. И когда грянула революция, показалось, что налетел пьяный ветер, как лихорадка, и сразу у всех пропала охота убивать.

Заговорили все. Полки, дивизии, весь фронт, хоть волосы рви. Прорвало. И говорили, и голосовали даже, когда в атаку нужно идти. Будто бессловесным дали язык, и все загорячились выговорить, выворотить все, о чем триста лет молчали. Помню — батальон наш выбил австрийцев с речки, пленных взяли и тут же, сообща, устроили митинг, с резолюцией, чтобы немедленно, вот сейчас, был всеобщий мир и братство народов, чтобы ни бедных больше, ни богатых не стало, словом — всеобщая справедливость. Австрийцы же в это время начали поливать митинг шрапнелью и убили председателя, но резолюцию наши все-таки вынесли и даже послали в газету напечатать.

Что это — глупо? Да. Смешно? Конечно. Но когда тысяча неграмотных мужиков, забрав пленных, под шрапнелью болтают еловыми языками о мировой справедливости, — я не скажу: мы погибли, Россия кончилась. Здесь что-то выше моего понимания. Быть может, я слышу, как истина глаголет «устами младенцев». Быть может, истина устраивает гнуснейшую гримасу: что, мол, съели! Повернули колесо! Перемудрили историю!

В прошлом месяце явился ко мне в роту большевик — мальчишка, хитроглазый, уверенный чрезвычайно — товарищ Сережа. Солдаты облепили его, как мед. И не знаю — за деньги или по глупости он чепуху болтал, только взяло меня зло. Протискался к нему и говорю: «Собственно, какая ваша непосредственная цель, позвольте спросить, и так далее»...

Он мне немедленно, с бойкостью: «Вы, товарищ, контрреволюционер, поэтому я вас формально отвожу». Я развернулся и его в зубы. Заверещал он, нахлобучил шляпу и бежать. Солдаты молчат. А когда я хотел выйти из круга, надвинулись, смяли меня, и, уж не помню как, очутился я в лазарете, — весь перевязанный, лежу и плачу с отчаяния, самого горького. В палатке душно, воняет, больные храпят; и вижу — на койке сидят четыре бородатых мужика, выздоравливающие из моей роты, и вполголоса рассказывают сказки друг другу — про лес, про птиц, курочек каких-то, про светлу

№ 1035

да милу, про шорох да шепот, про паучьи мхи... И слова все какие ласковые, непонятные, волнующие... И тут опять у меня в голове все повернулось. Да что же такое наконец происходит? Тяжко нам, неуютно — вот-вот от России останется одна липкая лужа; и уж сердце замерло, как в последнем часе, а час не последний, и там, в потемках, в паучиных мхах, идут шорохи да шепоты, собирается наша душа.

И я верю, что через муки, унижение и грех, — верю через свою муку и грех, — каким-то несуразным, неуютным образом, именно у нас, облечется в плоть правда, простая, ясная, божеская справедливость. И придут нам поклониться, но, придя, увидят, что сиявшее им издали оказалось корявое и звериное, и не поймут и вновь отвернутся... А мы будем себя терзать и казнить за то, что не похожи и не милы никому, за то, что вид наш звериный...

Простите меня, господа, что слишком долго утруждал ваше внимание, но я хотел все это рассказать к тому, что увидел у вас мало веры, а если и есть она, то хотите вы не того, что настает, близится. Не будет у нас сейчас ни порядка, ни покоя. Рождается новая Россия, невидимая, единая и белая, как Китеж выходит с озерного дна... А фабрики, заводы, асфальтовые улицы — это потом придет, само собой, сейчас это не важно... И что страшно сейчас — согласен. Страшно и жадно душе. Хорошо.

Штабс-капитан сел опять на стул и закурил трубочку. Мы молчали, смущенные его рассказом. А когда вскоре я вышел на волю, ветер гулял по улице, громыхал железом и насвистывал в телеграфных проволоках, гася на углу газовый фонарь. И казалось мне — это вольный, гулкий, таинственный ветер истории шумит во всех снастях.

Штабс-капитан нагнал меня и пошел рядом, покашливая.

— Знаете, я еще никогда так не чувствовал, что с такой силой могу любить родину, — сказал он, повертываясь боком к порыву ветра.

1917

ОКТЯБРЬ

1

В семнадцатом году, в октябре, небо в Петрограде низкое, плотное и непрозрачное. Вечерами обложена земля сизой броней из металла. Под броней спокойно и страшно, как в крепости, издали, как торопливые призраки, проплывают поздние осенние облака.

Развели на Неве мосты. На улицах тихо. У Аничкова моста большой костер согревает мглу. Греются у костра солдаты. Жесткой шерстью рукавов гладят влажные стволы ружей. Смотрят едкими от дыма глазами, как стреляют сучья в огне. Шевелят штыками красные поленья. Взлетают искры змейками, падают пушистыми блестками и гаснут.

К кострам подходят женщины и собаки. Их угловатые тени странно и сказочно шныряют по мостовой.

2

В сумраке вечера тяжелое здание Смольного с тремя рядами освещенных окон видно далеко.

По широкой, твердой, чуть оснеженной дороге, ныряя в ухабах, спешат к каменной дыре подъезда солдаты, матросы, скрипят калошами штатские с поднятыми воротниками, шуршат автомобили и мотоциклеты.

— Сторонись!

— Ишь буржуи, расселись!

— С дороги!

На ступеньках подъезда зябнет караул. Пулемет Гочкиса, высокий, тощий, с укутанным от мороза железным носом, желчно смотрит на Лафонскую площадь. Часовой-сибиряк курит большую сигару.

В квадратном вестибюле толчея. Кто-то быстро и зазвонисто убеждает товарищей не спешить, «погодить», брать у коменданта пропуски.

— Товарищи!

— Не спешите, товарищи-и!..
— Все поспеете, не толкайся, товарищи!
— Да тише вы...

3

Но они спешат, стремятся всклокоченной, нервной толпой, не могут вместиться в рамки стен, переливаются через край, зловеще и нескладно бурлят.

Здесь было тихо. Степенно шли классные дамы в козловых башмаках, резвыми ногами обегали лестницы дочери тех, чье царство повергнуто во прах, изредка проплывали в облаках благоговейного шепота расшитые золотом старички с оловянным взглядом пустых глаз.

А теперь — шум. Под черными сводами гулко, как в бане, отдаются приказания, грохочут десятки ног сменяющейся охраны. По коридорам густыми серыми струями текут патрули, команды, пикеты. Обмерзший матрос в мохнатой шапке волочит на веревке, как маленькую собачку, пулемет. От духоты, от горячего пара человеческих тел замутились электрические лампочки под сводчатым потолком.

Несут патроны и гранаты.

— Товарищи! К Зимнему!
— В атаку на корниловскую власть!
— Керенского да-айте!

Несут хлеб. Тюки с литературой. Несут котелки с горячими щами. И чье-то тело в грязной гимнастерке, раненое или мертвое, мягко и странно поникшее на трех парах рук.

4

Тесно. В двухсветном актовом зале сгрудилось более тысячи человек. У стены, меж колонн, зажата маленькая трибуна. На трибуне каждые пять минут новый оратор вздымает к небу кулаки, глаза, зубы, жесты, проклятия.

Одному оратору мало и трибуны. Взобрался на случайный утлый письменный столик и возвышается над толпой — короткий, грязный, с седеющей рыжеватой головой, с голубоватыми злыми глазами. Нервно мнет кушак, пока толпа стихнет.

— Знаете вы меня, товарищи?
— Прапорщик Крыленко!
— Товарищ Абрам!

— Знаем!

— А знаете, товарищи, что нужно сейчас делать? Куда идти?

— Знаем!

5

Заложив палец между пуговицами теплого пушистого серого пальто, крепко сжав зубами папиросу, прислонился молодой человек в котелке.

Видимо, растерялся в шумных хоромах. Запрокинув голову, вглядывается в сутолоку переворота, в хаос творчества. Задевает взглядом и нерешительно окликает по-французски. Он просит указать справочное бюро.

— Вы — француз?

Он американец. Анархист. Приехал в Россию смотреть революцию.

— Нравится?

О да, нравится! За полгода русские сделали больше, чем французы и многие другие за много лет. Они пойдут далеко. Только он не знал, что русские будут так драться между собой. Ведь у русских — Толстой, и они не противятся злу... Очень непонятно. Такой всегда неожиданный русский народ.

Иностранец идет искать справочное бюро. Он и в аду будет искать справочное бюро.

На лестнице, заслышав незнакомый говор, оборачивается рослый бородач-солдат с ведром щей в руках. Рукава засучены — крепкие руки с темными тугими жилами, выпачканные в горячей гуще, — счастливые руки раба, сегодня сразившего господина.

У американского анархиста пальто модное, мягкое, толстое, тихое, ласковое.

6

«Детский подъезд» Зимнего дворца выходит на Неву. Над входом фонарь. Желтый свет вяло плещется в мерзлой луже, на скользких перилах набережной, на черной глади реки.

У освещенного круга перед подъездом со сдавленным гулом дожидаются автомобили. Вчера и еще сегодня утром длинный и шумный хвост моторов шевелился на набережной. Теперь их мало. Перестали ездить в Зимний.

Сзади — Нева и цепь юнкеров.

Впереди — низкие неумелые баррикады из дров. В щелях между грудами поленьев — женщины-ударницы с винтовками в руках. Оробелые, маленькие, коротконогие. Четыре пулемета. Неизвестно кем оставленная телега с кирпичами. А дальше — мрак, частые выстрелы, сердитые яркие ракеты в ночном небе. То ли большевики в Смольном пускают, то ли матросы за Николаевским мостом.

В три часа Смольный предложил Временному правительству сдать оружие. В четыре юнкера и женщины-добровольцы обещали министрам, что защитят их до последней капли крови. В шесть из Петропавловки опять предложили сдаться. Кто-то властно и грубо выключил телефоны, дворец очутился одиноким, обреченным островком среди Петербурга.

В слабо освещенной приемной напряженно-спокойно и уж нет суеты. Два молодых солдата в бессонной усталости опустились на подоконник, о чем-то думают.

Из створчатой двери большого кабинета кучкой вышли министры. Они почти все здесь, Временное правительство последнего состава. Недостает троих. Верховский странно исчез. Прокопович безнадежно застрял в Мариинском дворце.

А Керенский?

В Гатчине или Пулкове, или еще где-нибудь, где остались верные войска Временного правительства, временного совета временной республики.

Только что кончилось совещание. Переговорено обо всем. Не осталось ничего. Надо только ждать. Сыграно. Больше не добавишь. Того или иного, все равно — ждать.

Александр Коновалов заменяет министра-председателя. Пиджак у него помят. Один рукав запачкан мелом. Он смотрит в темное окно, потом снимает пенсне, устало щурится на окружающих умным бабьим лицом.

Терещенко медленно водит рукой по твердому, тщательно выбритому подбородку. Малянтович улыбается. Вслушивается в темноту.

На площади сразу и громко, в дрожь вгоняя, загрохотали пулеметы. Может быть, Керенский подошел с казачьими сотнями? Или уже рвутся большевики?

1919

А.Серафимович

МОРЕ

Я угрюмо ехал в гремевшем, шатавшемся вагоне и не вслушивался в спор солдат с барыней, у которой качались перья на шляпе. В Лефортове сошло много народу. Окна бывшего Алексеевского училища, изъеденного снарядами, ярко светились. В манеж пропускали, строго контролируя: большевики встречали Новый год и не хотели, чтобы путалась посторонняя публика, и все-таки ухитрились и пробрались не только посторонние, но и враждебные. Митинг-концерт организовал Московский комитет РСДРП(б).

Я глянул: направо, налево тонуло без конца в синеве море человеческих голов, без конца потому, что манеж тянулся вправо и влево, теряясь.

Сколько же тут народу? Тысяч восемь с лишним. Не пролезешь. Стоит тяжко вздымающийся, медленно падающий говор людского волнующегося моря.

В середине, у самой стены, — эстрада, красная. На ней — красный стол, красные знамена. Львиная голова Маркса глядит из-за зеленой хвои со стены. И около красного стола — устроители с растерянными, беспокойно-тревожными, побледневшими лицами.

Ах, что же это! Уже семь, уже семь с половиной, уже без четверти восемь, а главные участники не приезжают. Начало назначено в семь часов. Медленно и тяжко волнуется говор теряющегося в синеве людского волнующегося моря.

— Что-то оно скажет? Что-то скажут эти восемь тысяч? Неближний свет. Зачем же вы нас собирали?

Устроители волнуются. Над эстрадой мечется, как шорох, подавленный раздраженно-испуганный шепот:

— Автомобиль надо было...

— Но где же его взять?.. Сами знаете...

— Товарищ, начните вы, ради всего...

— Да не могу же я... У меня свое задание. Я на четвертом месте, а тут надо вступительное слово, — надо же ввести публику. Что же это, какой-то взъерошенный вечер будет. Да наконец я скажу, а дальше... За мной опять никого, оборвем и будем ждать, — это еще хуже.

— Но ведь это же скандал...

— Да, скандал: восемь. Вечер сорван.

Людское море потемнело, придвинулось к самой эстраде, и издалека, оттуда, из синей глубины, вздымается грозное неудовольствие. Тысячи глаз смотрят: когда же?

Тогда в отчаянии предлагают перевернуть: начать вторым отделением — литературно-концертным.

Но ведь это же опять скандал. Куда же деваться?

Среди толпы показывается один из участников. С эстрады срывается вздох облегчения — хоть как-нибудь можно начать и кое-как провести митинг.

Открывается собрание.

Седой товарищ поднимает руки, водворяя тишину, взмахивает, и над восемью тысячами человек разливается «Интернационал».

К эстраде протискивается несколько молодых солдат с безусыми лицами: над ними колыхаются красные шелковые полковые знамена. Их вносят и ставят на эстраду по обеим сторонам Карла Маркса. Солдаты становятся почетным караулом.

— Слово принадлежит представителю восемьдесят пятого пехотного полка.

Гром аплодисментов.

К краю выходит бледный-бледный, точно только что поднялся от тифа, солдат. Говорит:

— Я пришел вас приветствовать... приветствовать, послан приветствовать...

И замолкает. Тягостное молчание. Восемь тысяч пар глаз смотрят на него — ни одной улыбки: понимают, растерялся или просто не привык говорить перед громадным собранием.

С усилием, с перехватываемым дыханием он говорит:

— ...пришел приветствовать... приветствовать... от восемьдесят пятого пехотного полка... который... положил много жертв... когда брал это училище, где вы теперь...

Взрывом дрогнуло все от рукоплесканий. Восемь тысяч нитей внимания, расположения, любви потянулись к эстраде. Этот слегка потерявшийся оратор сказал больше, чем десяток блестящих речей. И в гуле непрекращающихся рукоплесканий слышалось: «Мы тебя любим, восемьдесят пятый полк. Мы преклоняемся перед павшими твоими товарищами, благодаря которым мы вошли сюда».

И разом слетели тревога, неуверенность и напряженность внимания, наэлектризировалось все огромное пространство, залитое людьми.

Вышел товарищ и стал говорить. Он говорил вовсе не речь, он просто рассказывал кучке слушателей — даром что эта кучка в восемь тысяч! — рассказывал о далекой Якутке, где всего год назад в это же время встречал Новый год с товарищами, а на дворе трещал якутский мороз. Он говорил своим товарищам по изгнанию: будущий Новый год мы будем встречать среди революционного народа. Товарищи смеялись.

— Смеялись, а я угадал, и пророчество сбылось, — говорит оратор, — и мы с вами сейчас встречаем Новый год в здании, которое имело совсем другое назначение.

Товарищ говорит о протекшей революции, о наших братьях за рубежом, которые тонут в крови. Он говорит о том, что говорилось, что слышали, о чем сам много раз говорил, но почему же в этом старом так много новизны? Потому, что оно обвеяно далеким якутским пророчеством, и пророчество сбылось. И оттого бесконечно синеет в напряженном внимании человеческое море, и все головы жадно повернуты в одну сторону, к красной эстраде, где в белой рубашке просто и ясно рассказывает человек.

И когда он кончил, из конца в конец заплескалось синеющее море, гулом наполнив колоссальное здание.

— Товарищ Иоанн, — заявляет председатель, — будет говорить сейчас.

Выходит небольшого роста, в гимнастерке защитного цвета военнопленный и говорит изломанным, таким странным для уха русским языком, и в глазах его печаль:

— Я плохо говорю по-рюсски, но я этому не виноват.

— Ничего... ничего... говорите, слушаем... — несется из зала.

— Вы, рюсские, весело встречаете ваш революционный Новый год, а мы... мы не имеем права... Мы печальны, мы ошень печальны... у наших братьев там темнота... у вас праздник. Вы сделали свое дело, мы — нет, и мы печальны...

Что это? Не вздох ли пронесся над тысячами людей?

Нет, это печаль стала, как темное опустившееся покрывало.

И сквозь эту печаль, сквозь этот вздох молчания раздался голос нашего солдатика:

— Ничего, не тужите, у вас то же будет.

И разом просветлело, а товарищ Иоанн улыбнулся:

— Да, борьба, только борьба несет счастье. Есть легенда, ошень красивая легенда, и я вам ее скажу. Когда Христа распяли и он умираль на кресте, лицо его было светло — он проповедоваль любовь, и всепрощение, и непротивление. И прилетел к нему сатана, черный и мрачный, и сказаль: «Я тебя искушаль два раза, и ты не поддался. А теперь я тебя не буду искушать, я скажу тебе правду. Слюшай же. Ты всю жизнь училь только любить, только прощать, только подчиняться, гнуть свою шею — это рабам. А я училь: жизнь — борьба, счастье — борьба, свобода — борьба. Хочешь рабом — прощай всех, хочешь свободы и счастья — борись». И отлетель сатана, и умер Христос, а на лице его быль отчаяние.

Он замолчал, и секунду стояло молчание, и взрыв аплодисментов покрыл его.

Интер-на-ци-о-нал.

Выступил венгр, секретарь Будапештского комитета социал-демократической партии, и на венгерском языке, резком, как орлиный клекот, обратился к синевшим в толпе венграм, а русские слушали, не проронив ни слова.

Выступил серб, и зазвучал мягкий красивый сербский язык — наполовину его понимали.

И холодно, бесповоротно, как судебный приговор, говорил по-немецки еще один товарищ военнопленный, решая революционные судьбы германского народа, а русские слушали, угадывая сердцем.

Это все интернационалисты. Весь земной шар заселен братьями рабочими. Уже слышен набат. Уже колеблются стены тысячелетней стройки эксплуатирующих, и восходит из-за них заря нового человеческого строительства, заря социализма, — вот смысл их речей.

От Московского комитета РСДРП (большевиков) им отвечал по-немецки товарищ:

— Русская революция 1905 года приоткрыла густое покрывало, лежавшее на лице русского народа. Революция нынешнего года сорвала долой это покрывало, открыла глаза русскому народу и вплотную придвинула его к социализму. Теперь очередь за вами, нашими братьями, за западноевропейским пролетариатом.

И опять русские внимательно слушали. И русские и немцы проводили его долгими аплодисментами.

Перерыв. На эстраду ставят рояль. Но второе отделение отдыха и развлечения никак не может начаться, — выступают с приветствиями делегаты от университета Шанявского, от украинской СДРП (большевиков), от союза молодежи и другие.

Наконец председатель поднимается и говорит:

— Деловая общественно-политическая часть нашего вечера окончена, теперь прослушаем наших товарищей артистов, музыкантов и литераторов. Сейчас будет исполнена «Легенда» Венявского.

К краю эстрады скромно подходит девушка в белом с черным, со скрипкой, с милым девичьим, спрашивающим у жизни лицом: «Что ты есть? И что ты таишь?»

Она прижимает скрипку и, медленно, легко и странно изгибая руку в сквозном рукаве, подымает смычок, а я опускаю глаза: «Эх, напрасно она «Легенду»... Надо считаться с публикой — не поймут: начнется сморкание, кашель... Напрасно...»

Я стоял хмуро, опустив глаза, и в ту же секунду от эстрады к человеческому морю медленно, звеняще потянулась певучая, необрывающаяся нить, похожая и непохожая на человеческий голос, то едва уловимая, готовая погаснуть, то густо свертывавшаяся грудной жалобой низкого контральто, потянулась и погасила все звуки, царствуя...

И я поднял глаза...

Видали ль вы остеклевшее море?

И в нем забытые повисли облака, и отразились горы, и берег, и дальний полет белой чайки.

Слыхали ль вы, как перестают дышать восемь тысяч человек?

Так вот о чем поет эта черноволосая девушка, вот о чем поет она из-под длинного нескончаемого смычка.

О чем?

И о том, что есть счастье и печаль, и есть прошлое, и подернуто волокнистой синевой неведомое будущее...

Все стало прозрачным: лишь оброненные неподвижно облака, да отраженный берег, да опрокинутые горы, да замерзший дальний полет чайки...

Потом смычок тянулся, истомно слабея и без конца, и никто не заметил, никто не знал, когда он погас. В зале стояла огромная пустота...

...Я не хочу больше печали, я не хочу больше печали, тонко впивающейся в душу...

Все помутилось, заколебалось, поломалось... Пропали облака, берег, горы, чайка, и проступило синеющее людское море. Все дрожало, и от края до края неумолчно мелькали руки, блистали глаза.

Девушка принесла свое чудесное искусство, свое творчество; его бережно приняли и теперь благодарили.

А я радостно смотрел на возбужденные лица.

Выходили певцы — пели. Выходили артисты — читали.

Поэты читали свои стихотворения.

Двенадцать часов...

Председатель поднялся:

— Товарищи, на рубеже Нового года даю слово представителю нашей революционной армии.

— Товарищи, — раздается крепкий голос военного, — Новый год начался не сегодня, не сейчас, не в эти двенадцать часов, Новый год начался с Октябрьской революции, когда наконец власть перешла к рабочим и крестьянам. Много еще работы впереди революционному народу, революционной армии, много борьбы. Но прежняя армия состарилась, устала. Ее нужно сменить. Нужно создать новую армию на иных, революционных началах. Мы с вами празднуем сейчас здесь Новый год, а наши братья умирают там, на Дону, в борьбе с Калединым. Ударит час — и мы пойдем этим борцам на смену.

И опять потрясающе гремит манеж из края в край.

— Товарищи, — подымается председатель, — вечер наш закончен, заседание закрывается. Наши товарищи, трамвайные рабочие, прислали наряд вагонов, чтобы доставить граждан по домам, больше они не могут ждать: уже начало первого. Надо расходиться.

Но никто не хочет уходить, даже равнодушные, даже враждебные. Хотелось еще и еще продолжать этот необычайный вечер, полный напряженности, точно все было наэлектризовано.

Молодежь сгрудилась на эстраде, уже несется оттуда песня о кузнецах, кующих счастье народа. В другом месте взмывает «Интернационал». Гремит прощальный привет оркестра.

И я ухожу с радостным сознанием моей ошибки. Если митинги и стареют и делаются шаблоном, то жизнь умеет до краев влить в них новое животворящее содержание и вдунуть живой созидающий дух, оставляя в сердцах неизгладимый след.

1918

А.Неверов

Я ХОЧУ ЖИТЬ

Мы на отдыхе в степной деревушке.

Я сижу на завалинке, глажу по спине большую лохматую собаку. Она шершавая, некрасивая, но длинная шерсть на спине у нее нагрета солнцем, и мне приятно посидеть вот так, слегка наклонившись над ней.

С крыши на плечо падают редкие капли, на задворках порывисто вскрикивают гуси.

Ржет жеребенок тонким голосом, клохчут куры.

Перед окнами стоят отпряженные пушки, вытянув стальные холодные шеи.

Потные лошади в седлах журкают сено.

Я сижу, подставив голову под апрельское солнце, смотрю на разорванную паутину голубеющих облаков, плывущих над талой почерневшей землей. Уши мои не оглохли от пушечных выстрелов: слышу, как порывисто вскрикивают гуси, весело клохчут курчошки. Тихо-осторожно падают на плечо ко мне редкие бесшумные капли...

Это — моя походная весна.

Может быть, последняя.

Вслушиваюсь в шорохи, в крики, встречающие молодую апрельскую весну, — сердце волнуется.

Дома у меня — жена и двое детей. Маленькая комнатка в нижнем этаже, чуткие настороженные уши, хватающие поздние шаги на лестнице. Там ждут меня.

Может быть, схоронили давно.

Посматривая на ручеек под ногами, на воробьев, прыгающих у лафетов, вижу сына Сережку с бледными, малокровными щеками и трехлетнюю Нюську с голубенькой ленточкой в золотых перепутанных волосах. Они сидят на подоконнике, прижавшись друг к другу,

смотрят сквозь талые окна. Ищут меня среди прохожих, ждут, когда я приду, посажу на колени. И воспоминание о двух опечаленных мордочках наполняет горечью мое отцовское сердце.

Достаю письмо из кармана, старое, давно прочитанное, присланное из дому.

Жена утешает меня:

«Я не плачу. Крепись и ты...»

А когда уходил, она плакала, говорила:

— Зачем ты идешь добровольно? Разве тебе надоела жизнь?

Я боялся, что жена не поймет моей любви к жизни, и осторожно ответил:

— Я должен идти и пойду... вот за них, за ребятишек.

Теперь жена одобряет меня.

«Не бойся за нас: я терпеливая — все вынесу...»

Дальше — письмо от Сережки.

Он не умеет писать буквами, наставил мне палочек, хвостиков, крючков, завитушек и маленький растопыренный кустик без листьев. Внизу пояснение от матери:

«Понимай, как хочешь...»

Я понимаю Сережкины буквы.

Первый раз я прочел письмо в походе, когда шли в наступленье, и эти палочки с хвостиками посмотрели на меня светлыми глазами. Я поцеловал их украдкой, чтобы не посмеялись товарищи, и, пощупав винтовку, сказал:

— Иди, отец!

Я и теперь думаю так.

Я иду умирать не от скуки, не от старости и не оттого, что надоела мне жизнь. Я очень хочу жить. Волнует меня и эта вот ширь весенняя, и утренние и вечерние зори в затишье, и дальний полет журавлей, и лепет ручьев по овражкам. Я любовно обнимаю взглядом каждое облачко, каждый кустик и все-таки иду умирать... Иду навстречу смерти спокойно и твердо. Она летит ко мне в тяжелых артиллерийских снарядах, взрывающих талую, почерневшую землю, и в частых винтовочных выстрелах, вспыхивающих синим дымком. Я вижу ее, выглядывающую из-под каждого бугорка, одетого сумраком вечера, и все таки иду не колеблясь.

Я иду умирать оттого, что хочу жить.

Я не знаю, как это сказать проще, другими словами, но нет во мне ни страха, ни тоски, ни расслабленности. Не останавливают и глаза моих ребятишек. Вижу я их не заплаканными, а светлыми, улыбающимися, согретыми детской радостью, и мне очень тяжело представить светлые, улыбающиеся глаза такими же огорченными, какими были мои в далеком детстве. Я не знаю, сколько слез выплакали мои глаза, не помню, чьи руки хватали меня за длинные волосы. Одно помню и знаю: глаза мои были невеселые, старые. Они не умели смеяться, не загорались и огнем детского веселья, не видели солнца, которое радует теперь.

Когда я родился, светлые просторные комнаты были заняты другими, «счастливыми», и нам с матерью достался сырой подвальный угол. Мать была прачка. Первое, что я увидел начинающими понимать глазами, — это мокрые штаны и рубахи, развешанные на веревках. Солнышко видел редко. Редко оно заглядывало к нам узкими преломленными лучами через железные переплеты в двух окнах. Отца совсем не видал.

Может быть, это был подвальный сапожник.

Может быть, тихий, богобоязненный старичок из купцов, зажигающий вечернюю лампаду.

А может быть, пьяный угрястый чиновник...

Мать пила.

В угол к ней по ночам приходили солдаты, крючники, ломовые извозчики в разорванных рубахах, бродяги, карманники. Иногда били ее, как бьют обессиленную лошадь, иногда напаивали до потери сознания и тупо, бессмысленно валили на кровать, не стесняясь меня...

Мы были «несчастные».

Мать так и говорила мне:

— Несчастные мы с тобой, Васька. Умри... сынок!

Но я не умер.

Я пошел по людям.

Не было у меня ни любви, ни ласки, ни теплого взгляда. Так и рос по-щенячьи: ударят — поплачу, погладят — улыбнусь. Я не знал тогда, почему мы — несчастные, а другие — счастливые, часто смотрел старыми, невеселыми глазами в глубокое, высокое небо. Мне говорили, что там сидит добрый боженька, устраиваю-

щий жизнь людям. Стоит попросить его, и он поможет. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь устроил нашу жизнь, и я молитвенно смотрел в глубокое, высокое небо.

Боженька не отвечал.

Боженька не видел моих заплаканных глаз.

Учила меня сама жизнь. Она раскрыла передо мной такие непреложные истины, что, поняв и осмыслив их, я уже перестал молиться. Ясно стало мне, что мы с матерью не зря посажены в подвальный угол и не волей отдельного человека, а волей тех, кто занял вверху над нами светлые просторные комнаты, освещенные солнцем и огнем электричества. Волей целого класса людей, ради которого тысячи других людей должны по-звериному пачкаться в слякоти темных подвальных углов...

Понял я и мать, которую били по зубам, и ту роковую причину, которая заставляла ее ложиться с «дружками» при мне. В ее трезвых глазах я видел такую глубокую скорбь, такую хорошую материнскую улыбку, что сердце мое наливалось любовью и жалостью к ней. Но оттого, что она была молода и красива, — нищета и бесправье повели ее на улицу, под негреющий свет фонарей, а впоследствии она, избитая «дружками», не раз проклинала и себя, и жизнь, и молодость.

Многое я понял.

А самое главное — вот что я понял: живу я в этом мире, богатом красотой и роскошью, не как хозяин, а как наемник, как здоровый услужливый пес, подбирающий крошки. Я начал работать с семи лет, работаю ежедневно, и все-таки я нищий, помойный отброс. Жизнь моя устроена так скверно и обидно, что, если ослабнут мои руки и не выдержит надорванная грудь, меня за негодностью выбросят, как сор из избы. Я, вырабатывающий ценности, совершенно не имею никакой ценности как человек, и те хозяева, которые распоряжаются моими рабочими мускулами, опозорят и меня, прикованного к постели, и детей моих, выгнанных на улицу.

И теперь вот, когда я с улыбкой смотрю на Сережкины палочки с хвостиками, моя любовь к нему ведет меня под ружьем. Моя любовь к опозоренной матери укрепляет усталые ноги. Мне страшно представить Сережку таким же щенком, каким был и я, таким же на-

емником, продающим здоровые мускулы рук. Страшно подумать и о маленькой Нюське с голубенькой ленточкой в золотых перепутанных волосах.

При одной мысли, что дочь моя вместо светлой улыбки скривит тонкие, побледневшие губы и, совестливо потупив глаза, неверными шагами выйдет вечером под негреющий свет фонарей; при одной мысли, что ее, рожденную в подвальном этаже, поведет за собой похотливый взгляд пресыщенного бездельника, при одной мысли об этом — сердце мое разрывается... Не вижу я винтовок, выставленных против меня, не слышу, как рвутся снаряды. Я стискиваю зубы, падаю, ползу, снова вскакиваю, бросаюсь вперед. Нет смерти! Нет вешнего убаюкивающего солнца!.. Полон молодости, неудержимого порыва, слышу я не весенний голос природы, а голос моей матери:

— Иди, сынок, иди!

Только одно я чувствую: я хочу жить! А для этого я должен отстрелять солнечные весенние дни для себя, для Сережи с Нюськой и для тех, кто не видит их старыми проплаканными глазами.

У меня прострелена одна рука, но это не последняя жертва. Мне придется или совсем лечь на талых просыхающих полях, или вернуться домой победителем.

Другого пути нет.

А я хочу жить.

Хочу, чтобы жили и радовались Сережка с Нюськой, чтобы жил и радовался весь наш квартал, выгнанный «верхними» людьми на помойки...

И оттого, что я хочу жить, оттого, что нет иного пути сделать все это и проще и легче, — любовь моя к жизни ведет меня в бой.

Долог мой путь.

Не один раз меня встретят утренние и вечерние зори в степях, но грусть моя светлая, укрепляющая...

Это — мой путь.

1919

Ф. Гладков

ЗЕЛЕНЯ

1

...Днем копали окопы за станицей, в поле, а ночью собрались все на площади, около ревкома. Солдаты пришли со своими винтовками и сумками и держали себя строго и деловито-важно. Так они, вероятно, держали себя и на войне и эту привычку принесли домой. Парням выдали винтовки в ревкоме, и они долго не знали, что с ними делать: гремели затворами, вскидывали на плечи и целились в небо.

И не думалось, что там, за станицей, за далекими курганами и вербовыми балками, не торными дорогами, а зелеными овсами и озимями саранчой ползут сюда белые толпы — офицеры, господа и казаки. Было все просто и обычно: тополи на бульваре чистят свои листья, как птицы, в раскрытом окне ревкома лампа, хрустально звенят колеса запоздавшей телеги, покрикивает паровоз на вокзале...

Все эти люди с винтовками — свои ребята. Всех их Титка знал с самого детства. Днем, когда они рыли окопы в поле, в зеленях, они делали это так же истово и заботливо, как и обычную работу по хозяйству, и говорили не о белых, не о борьбе, а о своем о маленьком, о простом и понятном — о земле, о хозяйстве, о своих недостатках. Вот и теперь они собрались здесь, будто на артельный деревенский труд.

Огненная полоса из раскрытого окна падала прямо на тополь в палисаднике. С одной стороны он горел, а с другой был черный. Через дорогу перекидывалась ветвистая тень и пропадала во тьме площади. На лилово-пепельной дороге стоял пулемет. На корточках, опираясь на ружья, сбились в кучу солдаты и говорили, как надо делать «чертову поливку».

В комнате горела висячая лампа с белым абажуром, похожим на макитру. Сосал, как всегда, мокрый окурыш брат Никифор Гмыря, предревкома, натужли-

во кашлял и разговаривал с солдатами, которые стояли перед ним.

Солдат Шептухов, бывалый веселый парень, подмигивал в сторону Гмыри и смеялся.

— Как по чертежу разъясняет... Башка. Любому охвицеру даст сорок очков вперед. Знай наших!

Около крыльца Титка наткнулся на человека с винтовкой. Стоял он как-то скрючившись, словно мучился в лихорадке. Это был учитель Алексей Иваныч, у которого еще недавно учился Титка.

— Вы зачем сюда пришли, Алексей Иваныч? Да еще больной: идите домой! Вам здесь нечего делать.

Учитель строго спросил его:

— А кто тебе, мальчишке, позволил взять винтовку? Тебе надо в коники играть, а не с беляками драться. И я не болен. Я задумался — даю себе отчет в прожитой жизни.

Титка взволновался: как же это можно, чтобы Алексей Иваныч пошел в окопы? Он — учитель и человек уже пожилой: у него уже седеют волосы, и всем известно, что у него чахотка.

— Я пойду к брату, Алексей Иваныч, и скажу ему, чтобы он вас домой отправил и винтовку отобрал.

Учитель вспылил и стал как будто выше ростом:

— Ты не посмеешь это сделать, Тит. Белогвардейцы мне такие же враги, как и тебе, как всем этим людям. Я вас всех учил мужеству и не жалеть жизни за правду. Как же я смогу отойти в сторону? Ты подумай! Наоборот, я должен идти впереди всех.

О чем думать? Ведь все так ясно и просто: все — вместе, все — свои, и так спокойно и хорошо на душе.

— Алексей Иваныч, тогда я с вами пойду... в одном отделении.

— Ну, что же... пошагаем... Все равно ведь домой тебя не прогонишь. Теперь и ребятишки — бойцы революции.

С вокзала, от броневика, приехали двое верховых, матрос и мальчик с ружьем за плечами. Матрос пристально оглядел всех, вытянулся, отдал честь и засмеялся.

— Ну, вояки-забияки! братишки! готовь оружие! Беляки очень интересуются, как вы их встретите — с трезвонами, с поклонами или пуганными воронами?

Кто-то сердито крикнул:

— Боевыми патронами... а тебя на акацию за твою провокацию!

Матрос засмеялся и даже икнул от удовольствия.

— Вот молодчаги, братишки! Под стать нашей моряцкой удали...

И он скрылся в дверях ревкома.

Титка подошел к лошадям. Взмахивали мордами кони, раздували ноздри и храпели. Кожа у них лоснилась и переливалась перламутром. Он гладил их и похлопывал по спине, между ногами, по крупам, наслаждаясь упругой теплотой мускулов. Вспомнил о своем рабочем пузатом гнедке. Хрумкает он сейчас месиво под навесом.

Мальчишка озорно хлестнул его нагайкой и, как взрослый, строго прикрикнул на Титку:

— Не тревожь лошадей, лопоухий! Отойди в сторону! Как ты винтовку держишь, дуболом?

— А ты что за блошка? Скачет блошка по дорожке, споткнулась через крошки — бряк!

— А ты — мозгляк! Ты — мазун, а я в революции — уже год. Из дому бежал, школу бросил... У меня отца расстреляли в Харькове... железнодорожника. И я сказал себе: буду их колошматить, как крыс... до конца! И вот этой винтовкой сам застрелил двух белых офицеров. И буду бить... бить их!.. до последнего!

«Какой злой!» — подумал Титка и доверчиво улыбнулся парнишке.

— Неужто тебе не страшно... ежели — в упор?

Мальчик посмотрел на него сбоку, по-птичьи:

— Что значит — страшно? Страшно, когда ты — один, безоружный, а на тебя лезет орава чертей. Но я и тогда плевал бы им в морды... потому что я ненавистью сильный... и у меня — революционная идея.

2

Выступили взводами один за другим. Шептухов командовал отделением, где были Титка и учитель. Они были вместе, плечом к плечу. И Титке казалось, что они идут не в бой, а в поле, на ночевую. Солдаты тихо переговаривались и вспоминали германский фронт.

Нигде по станице не было огней, как это было обыч-

но в весенние ночи, и всюду во тьме жутко таилась густая тишина. Еще недавно около ветряков ежевечерне пели девчата, и тогда казалось, что звезды слушали их и смеялись.

Теперь здесь по дороге солдаты отбивали шаг и сдержанно перекидывались словами:

— Вот окаянные куркули! Как вымерли... Поди, оттачивают кинжалы...

— То-то и оно: оттачивают и офицерью подначивают. А генеральство чешет — не успевает салом пятки намазывать.

— А ты думал как? С народом никакая сила не справится. Генералы да эксплуататоры были — и нет их. А народ живет и множится. Он — как земная растения: сколь ни топчи, ни ломай ее — она растет еще гуще. Народ — сила вечная, неистребимая. И чего только они, эти беляки, лютуют? Ведь черти не нашего бога! Все равно им — конец... никакие антанты не помогут!

Шли по улице и зорко глядели по сторонам: хаты во дворе, в садах и акациях, дышали, как притаившиеся звери. Каждый ожидал, что в этой непроглядной тьме вдруг вспыхнет выстрел и пуля пронижет одного или нескольких человек.

Шептухов, пробегая перед взводом, бормотал шуточки, ободряя бойцов:

— Ну, други, подтяните подпруги! Крепче винтовки, ребята! Придем в окопы — не будьте остолопы: будьте зорки в своей норке. Ползет саранча — истребляй саранчу огнем и свинцом, чтобы саранча дала стрекача... Не впервой и врага отражать и в атаки ходить. Хоть и мы умели драпу задавать, да в нашем деле сейчас мы можем стоять только до последнего патрона, до последней гранаты. Стоять будем до смерти, как черти, а драться за жизнь, за свободу, за Ленина! Не забывай: бей без промашки — в сердце, в лоб, чтобы мордой в гроб.

Но никто не смеялся от его шуток.

Учитель шел спокойно, хотя и задумчиво сутулился.

— Ты не боишься, Тит?

— Нет. А чего бояться-то, Алексей Иваныч? Нас, гляди, как много... Своя братва. За свое, за нашу власть и драться охота.

— Да, ты хорошо сказал: за свое и драться охота. Лучше смерть, чем жить в рабстве и потерять свое.

— А зачем умирать, Алексей Иваныч? Давайте об этом не думать.

«Зачем пошел? — с изумлением думал Титка. — Мутит его... Не выдержит...»

Учитель взял под руку Титку и заговорил в раздумье:

— Мне сорок лет, Тит, и в вашей станице я работал со дня твоего рождения, брата твоего, Никифора, я знал еще юнцом. Вы были бесправны и, как иногородние, могли жить только по найму. Батраки не имели ни голоса, ни опоры, ни защиты. А чем я отличался от вас? Ничем. Я тоже был батрак — интеллигентный батрак, и мое положение было вдвойне мучительно: душу мою насиловали, жизнь распинали. Но я учил вас с детских лет любить и стоять за правду, воспитывал вас как борцов за свободу, за великое будущее. И мне радостно, что я вот иду вместе с тобой, моим учеником, со всеми вами как простой солдат на бой с черными силами за власть трудового народа. Я неотделим от вас, потому что я — сам сын народа. И мне было горько, что ты, мой ученик, отнесся ко мне в эти роковые минуты, как к постороннему, — хотел прогнать меня домой.

Титка смутился и почувствовал себя виноватым перед ним. Он любил Алексея Ивановича, и ему просто хотелось вывести его из-под пуль. Ведь он и ружья не может держать по-настоящему...

— Я, Алексей Иваныч, всегда считал вас своим. И ваших наставлений не забывал. С кем же вам идти-то, как не с народом? Я это для того, чтобы охранить вас.

— Отделить от борьбы? — строго оборвал его учитель. — Неверно думаешь, Тит. Надо каждого, кто живет народной правдой, — каждого звать к борьбе... потому что это последний и решительный бой. Но... я понимаю тебя, Тит. Спасибо за доброе чувство, за любовь. А драться будем вместе — бок о бок, плечом к плечу. Это замечательно: учитель и ученик — в одной линии фронта, на линии огня.

Пока дошли до ветряка на конце станицы, встре-

тили два разъезда. Около ветряка остановились и послали разведчиков до следующего поста для связи.

Совсем незаметно подошла к Титке молоденькая девушка. Это была Дуня, его ровесница. Вместе они учились, вместе и кончили школу. Он был уже рослый парень, хотя ему пошел только что шестнадцатый год, а она казалась еще подростком. Может быть, это оттого, что она была худенькая и слабенькая девчонка: после школы она нанялась батрачкой к богатому куркулю, и ее заездили тяжелой работой.

Она тихо засмеялась и схватила его за руку:

— Это — я, Дуня. Я искала тебя. Хоть не вижу, а узнала...

— Ты зачем тут? Кто тебе позволил? Ты знаешь, чем это пахнет?

— Ну, вот тебе! Я же сестрой иду! Вот и перевязки. Видишь?

Она подняла узелок к его лицу и опять засмеялась.

— Я же — сестра. Нас еще пять девчат. Вот видишь, в школе учились вместе, а теперь вместе на позиции идем. Как хорошо!

Она заметила учителя и радостно рванулась к нему:

— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Вот и я — с вами.

— А-а, Дуня, — растроганно отозвался он. — Как славно, что опять мы вместе. Не забыла еще меня?

— Я вас, Алексей Иваныч, всегда в сердце ношу. Тяжело бывает — горько, обидно... А вздумаешь о вас — и на душе легко станет. Вы вот нынче под пулями будете: и убитые будут и раненые. Я не о вас говорю — нет... Ну, а я перевязывать буду... С вами я и останусь!

И вплоть до окопов они шли вместе, и будто не в бой шли, а на ночевую в поле.

3

В окопе пахло весенней прелой землей и медовым соком молодого овса. Тянуло хмельным запахом сурепки, и близко и далеко, до самых звезд, ручейками пели сверчки. А из тьмы, из-за курганов невидимо и неудержимо катится сюда дикая орда, с ружьями, пулеметами и пушками. И не торными дорогами движется

она, а полями и балками. Казаки и офицеры! Откуда и куда выйдут они к ним, чтобы напасть на них с яростью волков?

По фронту, по обе стороны Титки, люди лежали тихо, и было похоже, что они спали. Только когда кашляли и переговаривались между собою, Титка чувствовал, что они так же, как и он, зорко смотрят во мрак.

Проходил мимо несколько раз Шептухов и шутил, как всегда:

— Ты, Тит? Лежишь, чубук? Рот — вперед, глаза — на лоб!

Так же, как и дорогой, неслышно подошла Дуня и села на краю окопа.

— Уж скоро рассвет, надо быть, Титок. Побыть с тобой хочу. Мне — что? Я — какая есть, такая и буду... а ты — вместе со смертью...

— Пуля-то ведь не разбирает: она одна и для меня и для тебя.

— Вот тебе славно! Ты — с ружьем, ты — в бою. А я буду ползать да раны зализывать. Какая есть, такая и буду.

Титка посмотрел на нее и усмехнулся.

«Не понимает... глупенькая...»

— Ты, Титок, за свободу воюешь, за трудящихся... за нашу Советскую власть. А я что? что я могу? Ты говоришь — одна пуля... Ежели смерть моя нужна, и — не дыхну. Да и не будет этого — трусиха я: буду ползать да раны перевязывать.

И в ее тихом голосе, во всей ее худенькой фигурке Титка почувствовал такую готовность пожертвовать собой, что ему стало жалко ее до слез. Он понял, что она пришла к нему затем, чтобы отдать ему все, что он хочет от нее. И такой родной и близкой ощутил он ее, что невольно обнял ее и прижал к себе.

— Убьют тебя, Дуня... Сгинешь ты... Иди домой!

А она взяла его голову, прислонила к своей тощенькой груди и, как маленького, уговаривала:

— Ты, Титок, не бойся. Не страшно... А ежели страшно, покличь...

Он вылез из окопа и лег около нее. А она ласкала его и шептала:

— Ты не бойся... Какая есть, такая и буду. Я вся тут у тебя, Титок...

Он пробыл с ней до того момента, когда по всей линии волной пробежала тревога и где-то недалеко раздалась команда Шептухова:

— Приготовьсь, ребята! Сами не стреляй! Слушай мою команду!

Дуня ушла так же неслышно, как и пришла, но Титка еще продолжал переживать восторг, удивление и радость.

На востоке, за двумя курганами, по небу зеркалилась половодьем река. Позади, на вокзале, робко горели несколько огоньков, таких же маленьких, как звезды. Чуть слышно, перебивая и перегоняя друг друга, спросонья хрипели петухи по станице. Эти дураки ничего не хотели знать и напролом, глупо и упрямо исполняли свои куриные обязанности.

4

Впереди, за курганом, загрохотал гром, и воздух упруго задрожал от гула. Что-то затрещало ближе, и Титка услышал, как над ним и около него запели комарики. Учитель стоял неподвижно и прижимался к ложу винтовки. Шептухов подал команду, и по всей линии началась трескотня. Щелкали затворы, точно ссыпали в кучу железо. Раздавалась команда Шептухова, и — опять трескотня и звон комариков сверху и по сторонам.

Где-то позади Титки, в стороне, потрясающе разорвался снаряд, и горячий воздух пронизывающе толкнул его в затылок. Кто-то недалеко застонал и глухо завыл, как придавленный возом. Промелькнула ползком фигурка Дуни и исчезла. С другой стороны кто-то крикнул спокойно и деловито:

— Готово! Сестрица, ползи сюда, — у меня — готово.

После полудня Титка увидел в мареве солнечного горизонта, на горбылях курганов, бегущие одинокие серые комки, похожие на испуганных овец. Понял, что это они — «кадеты». Из передовых окопов побежали товарищи, останавливались и стреляли. Два человека упали в зеленый овес и больше не вставали. Сорвавшимся голосом командовал Шептухов, но из окопов начали вы-

скакивать по одному и по два солдата и перебегать назад.

Учитель по-прежнему стоял неподвижно и безостановочно палил по курганам.

Титка стоял около него и старательно целился в отдельных человечков на кургане. А когда человечек кубарем падал на землю, он радостно вскрикивал:

— Ага!..

И смеялся от радости.

Через него перемахнул солдат без шапки и больно ударил его сапогом по голове. Он очухался и почувствовал около себя пустоту: в окопах никого уже не было, только, скорчившись, лежал мертвый солдат поперек канавы.

По всей глади зеленого поля перебегали люди, низко наклоняясь над землей. У Титки замерло сердце и похолодело в животе от страха. Он выпрыгнул из окопа и, низко наклонившись, побежал за другими. Как во сне, он увидел бородатого человека, который старался приподняться на руки и, с вытаращенными глазами, хрипел:

— Товарищ... милый! Не дай на муку... не кидай, браток!

Титка отбежал несколько шагов. Неудержимо хотелось стрелять, целиться и стрелять... бить — и бить подряд. Нельзя отступать! Где же Шептухов? Почему нет брата Никифора?

— Да что же это такое? — закричал он. — Да как же это так? Не выдержали, черти, побежали!..

По всему полю перебегали товарищи. Они падали, стреляли, опять перебегали и опять стреляли. Пули визжали, как ветер, и шлепались впереди него и взрывали землю и зеленую озимь. Он тоже бежал, прижимаясь к земле, подчиняясь общему движению, ложился на озимь и тоже стрелял. Но не видел уже ни дула винтовки, ни фигурок впереди: он плакал, захлебываясь слезами, — плакал навзрыд, как плакал в детстве. Он упал на незнакомого солдата и стал окапываться. Солдат свирепо бормотал и толкал его прикладом в бок. Титка не чувствовал боли и ощущал удары тупо и далеко — и сейчас же забывал их.

Он положил винтовку на бугор земли и замер. Неподалеку от себя, на одной линии с окопами он вдруг

увидел Дуню. Она лежала на боку, подвернув под себя руки и спрятав в них подбородок. Юбчонка задралась выше колен, и худенькие ноги белели, прижавшись одна к другой.

Он вылез из ямки и пополз к Дуне, не спуская с нее глаз. Солдат рявкнул и схватил его за ногу.

— Лежи!

А он, карабкаясь вперед, не замечал, как чья-то рука изо всей силы тащила его назад, — карабкался, оставаясь на месте и не спуская глаз с Дуни. Голова ее вдруг вздрогнула, и Титка увидел, как брызгами разлетелась она в разные стороны. Кровавые капли ударили прямо в лицо.

Опомнился он опять в ямке, и солдат яростно шептал:

— Путаетесь только тут, иродовы души! Наплодили вас, сморкачей, на нашу шею!..

Все поле до самого горизонта взрывалось вихрями земли и травы и взлетало к небу громадными черными снопами. Уже не было воздуха: был только один визгливый и хрипящий гул.

Титка стрелял, как во сне, забывал вставлять обоймы и щелкал пустым замком. Потом доставал патроны из ленты, пихал в затвор и опять стрелял.

Когда снова увидел Дуню с кровавым пучком вместо головы, сразу пришел в себя и, задыхаясь, закашлял от рыданий. Потом сразу успокоился и стал целиться вдаль, высовывая голову из ямки.

5

Бежал он вдоль железнодорожной насыпи. Здесь было безопасно: пули звенели пчелками над головою и изредка чакали о рельсы. В стороне шел Шептухов — неторопливо, широкими шагами. Он скалил зубы и что-то кричал Титке. Титка радостно бросился к нему, но Шептухов вдруг зашатался, как пьяный, взвыл и грохнулся вниз брюхом. Крепко запомнил Титка, как высоко поднимались его лопатки и выпирали из-под гимнастерки.

Титка налетел на кучу навоза, уже промытого дождями, запутался в нем и с размаху кувыркнулся в канаву.

По всему простору комкастых полей трещоткой разливчато скрежетали пулеметы, а винтовки били беспорядочно — то отрывисто одинокими выстрелами, то дробными залпами.

Ярко врезалось в память Титки голубое небо, простое и родное, и два облачка подряд, одно — большое, другое — маленькое, и солнечный воздух, и запах весенней солоделой земли и гниющей травы.

Станица была недалеко, но не видна за насыпью, и только четко, растопыркой, вырезались на небе из-за насыпи два крыла ветряка. Сейчас же около станицы, под насыпью, была большая дыра. Из нее шла в поле черная дорога с застывшими комками грязи по бокам. Вдали, где насыпь врезалась в бурый подъем и переходила в степь, среди оторванных от станицы станционных казарм дымился броневик. К нему бежали толпы людей и барахтались около грузных вагонов, зашитых в железные листы.

На крутую насыпь взбирался учитель с винтовкой под мышкой. Поднимался он спокойно, не оглядываясь. Раза два он поскользнулся, но упорно карабкался наверх. Небоязливо, во весь рост перешел через рельсы, и Титка увидел конец дула и дымок от выстрелов.

На улице не было ни души. Направо, за станицей, черным табуном быстро ползла колыхающаяся лента конницы. Чем ближе подвигалась она, тем становилась длиннее и тоньше, охватывая станицу черным муравьиным полукругом.

Среди мертвой пустоты улицы Титка впервые почувствовал страх. Спотыкаясь, едва добежал до очерета хаты. В глубине двора испуганно перекликались голоса женщин и детей, ревел грудной ребенок.

Калитка была заперта. Титка прыгнул на забор и оседлал его, но сразу же отпрянул назад. С дрючком в руках бежал к нему волосатый казак и хрипло рычал матерщину.

Титка спрыгнул на улицу, и в то же мгновение дрючок ударился о верхний край забора и пролетел над его головой. Он опять побежал, держась близко к огороже, не пытаясь забегать во дворы. Был он один, окруженный врагами. Они еще не пришли, но были уже всюду.

Стрельба шла по окраинам. Изредка стреляли где-то на улице — может быть, из засады.

Впереди, из переулка выбежал хромой, лысый человек с ребенком на руках. Вслед за ним на лошади выскочил черкес в огромной лохматой папахе, с белой повязкой наискось. Он настиг лысого человека и со всего размаху ударил его по голове. Ребенок полетел на землю. Человек пробежал два-три шага, грузно осел вниз и свернулся калачиком. Черкес все еще держал на отлете запачканную кровью шашку, вертел измученную, бесившуюся лошадь на одном месте, зорко смотрел во все стороны, как ястреб, и искал чего-то в пустой жуткой улице.

Титка прижался в уголке палисадника маленькой хатки. Он присел на корточки, прилепившись лицом к частоколу, и не спускал глаз с верхового.

Лошадь юлой завертелась на месте, поднялась на дыбы и сделала большой прыжок в сторону, где лежал Титка. Оскалив зубы, черкес рванул поводьями, остановился и опять хищно и пьяно осмотрелся вокруг, потом повернул лошадь, ударил ее шашкой по боку, и она галопом скрылась в переулке. Близкий к обмороку, Титка выполз из засады и, скрючившись, опять побежал вдоль улицы, прилипая к забору. Из-за угла переулка он посмотрел в ту сторону, куда скрылся черкес. Вдали тусклым пламенем горела пыль, и в ее облаках бешено носились поперек улицы, навстречу друг другу, еще человек пять конников в таких же самых шапках и с шашками на отлете.

Далеко, в конце улицы, черкесы охотились за людьми. Ослепительно вспыхивали шашки на солнце.

На выгоне начался пожар. Горело в трех местах в одном квартале. Долетел одинокий исступленный женский визг, повторился раза два и замолк. В той же стороне раздалось несколько одиночных выстрелов, и опять все смолкло, и в станице стало так же неподвижно и мертво, как ночью. Выли и истерически тявкали собаки. Звенела дробно перестрелка.

Титка повернул в переулок, перебежал улицу и прыгнул в пустой двор, заросший мелкими акациями. Как слепой, он споткнулся о свинью, и она пронзительно завизжала. Он не заметил, как залез в закуту, и не почувствовал вонючей грязи, в которую он погрузился и плечом и коленями.

6

Первое время ему казалось, что он в безопасности. В закуте было темно, и звуки долетали сюда отрывисто и глухо. Раскатисто ахали одиночные выстрелы, и во весь опор далеко топотали лошади.

Рубашка и штаны пропитались вонючей жидкостью, и было очень неудобно лежать. Сапоги его высовывались наружу, и когда он заметил это, ему стало опять страшно. Он хотел скорчиться в комочек, чтобы втянуть ногу в норку, но клетка была маленькая, и весь он поместиться в закуте не мог.

Недалеко скрипнула дверь. Титка посмотрел в щелку между досками и увидел, что из хаты вышел молодой казак и, держа в обеих руках винтовку, тихонько стал подкрадываться к закуте.

Это был Ехим — тот самый Ехим, с которым они сидели в школе на одной парте, а потом дружили и гуляли с девчатами. Со страхом и надеждой Титка вылез из закуты и вскочил на ноги.

— Брат!.. Ехим!

Казак опешил, потом оскалил зубы и вскинул винтовку к плечу.

— Стой! Держись, бисова душа!..

Титка со всех ног бросился в пустырь, весь забитый прошлогодним бурьяном, лопухами и мелкими кустами акаций. Он слышал позади себя бегущие шаги и щелканье затвора винтовки. Его толкнул выстрел, и шею полоснул ожог. Он наскочил на низкий плетень, одним прыжком перемахнул на другую сторону и побежал по картофельному огороду, увязая в рыхлой земле и путаясь в ботве. И опять очутился на улице. На другой стороне был пустырь, загороженный полуразвалившимся пряслом, а дальше — куча хат над прудом, забитым зеленым камышом, и белые хаты на той стороне, на взгорке.

Он оглянулся назад и увидел, что Ехим с винтовкой наперевес летит к нему с таким же лицом, какое было у казака с дрючком. Титка остановился.

С визгом и оскаленными зубами Ехим размахнулся прикладом. Тит посторонился и сбоку со всего размаху ударил его по рукам. Винтовка упала на землю и, дребезжа, отпрыгнула в сторону. Ехимка обхватил его

шею и вцепился зубами в грудь. Титка ударил его коленкой промеж ног, и Ехим закорчился, застонал и отпрянул от него с ужасом и болью в глазах.

Из-за угла нестройно и торопливо вышел отряд с белыми повязками на шапках. Неслась пыль вместе с ними и окутывала всех, как дым. Лица были черные. Мелькали только белки да скалились зубы, и от этого все казались свирепыми.

Ехим радостно завыл и схватил Титку за грудь.

— Ото ж вин... Тытко! Хотив вбыты мене... Ото ж, ваш-бродь! Бачьте, одняв... винтовку в мене... Большевык, бачьте!

— А ты — кто такой?

— Казак, ваш-бродь... Ехим Топчий...

— А этот?

— Городовик, ваш-бродь... з окопов тикав. Сховавсь у нашом закути... Почав бигты... а я его пиймав...

Ехимка бубнил, едва переводя дух, и лицо его уродовалось радостью и торжеством:

— Ото ж я его, ваш-бродь!

Титку втолкнули в толпу и погнали вдоль улицы. Раза три во время пути его толкали прикладом и орали:

— Ну, тёпай, пока живой! Вояка тоже... молокосос!

Улицы были по-прежнему пусты. Пальба уже прекратилась, и впереди по одному и по два спокойным шагом проезжали верховые. По дороге попадались трупы. Это были свои, станичные, городовики. Они, должно быть, бежали по дороге и были убиты во время стрельбы.

7

На площади пленникам приказали сесть на комкастую землю, у ограды церкви, и разуться. Казаки, солдаты и верховые прибывали группами изо всех улиц. Покорно, дрожащими руками все сняли обувку. Подошел волосатый черкес и стал откидывать ее в сторону, в кучу. Потом приказали скинуть штаны, куртки и пиджаки. И это они сделали так же обреченно и покорно, с тем же неугасимым ужасом в глазах. Тот же черкес собрал все это в охапку и отнес в ту же кучу, где лежала обувка.

Титка стоял неподвижно и смотрел на детей, играю-

щих на школьном дворе. Он не разувался и не раздевался, как другие, — не то не слышал приказа, не то не захотел. Подошел черкес и толкнул его прикладом:

— Испальнай прыказ! Снимай сапог, тарабар-шаровар!

Титка отвернулся и засунул руки в карманы. Черкес рассвирепел и ударил его прикладом в спину. Титка закрутился на месте, но не упал.

— Санымай, балшавык-собака!

Титка прищурился от ненависти и злобно крикнул:

— Не сниму! Снимай, когда дрягаться не буду...

Черкес стал серым, оскалил зубы и опять замахнулся на него прикладом, но, встретив взгляд Титки, остановился. Должно быть, его поразил и обезоружил взгляд молоденького парня. Он пошел прочь, бормоча что-то по-своему.

Пришла партия офицеров с новыми пленниками. Опять все были свои — городовики. Среди них Титка увидел мальчика, того, что встретил у ревкома, и старуху Передерниху — ту самую, которая недавно ударила палкой по голове генерала, захваченного в соседней станице, и плюнула ему в лицо. Она стыдливо улыбалась, бродила среди толпы и бормотала одно и то же:

— Та люды добри! Чого ж вони визьмут з мене? Бо я ж — стара та слипа... стара та слипа... Та у меня ж оба-два сына на войни вбыты... сгыбли же на герьманьской. А я — стара та слипа... Чого з мене?

И никак не могла успокоиться. А на нее никто не обращал внимания.

На дворе школы играли двое мальчиков. Один — лет шести, с длинными белокурыми кудрями, в черном костюмчике, а другой — серенький, грязненький, должно быть, сынишка сторожа. Бросали мячик в стенку здания и ловили его.

А Передериха все бродила между пленниками, сидящими в нижнем белье, и бормотала надрывно одно и то же:

— Та скажить мени, люды добри! Бо я стара та слипа...

Раздалась где-то в стороне команда, ей ближе откликнулась другая. Офицеры и казаки, отдыхавшие под тенью тополей, вскочили, быстро построились в две шеренги и, держа у ног винтовки, повернули головы в ули-

цу. К бульвару подъезжал седой генерал, в белой черкеске, на белой лошади.

— Смиррна!

Генерал подъехал к строю и что-то невнятно и небрежно пробормотал.

— Здра-жла-ваш-при-ство!

Генерал проехал вдоль строя, и Титка услышал, как он строго и холодно сказал:

— Спасибо, ребята, за прекрасную работу!

— Рад-страт-ваш-при-ство!

Генерал подозвал офицера и что-то сказал ему. Офицер суетливо бросился к огороже бульвара и крикнул:

— Эй, вы, азиаты! Волоки сюда их! Живо!

Черкесы вскинули винтовки на плечи и взмахнули руками.

— Арря!

Пленники побрели вместе с конвойными к генералу.

При входе на бульвар генерал взмахнул нагайкой и остановил их. Он въехал в самую середину толпы. Пленников расставили полукругом. Откуда-то внезапно подошли станичники и стали таким же полукругом за конвоем.

— Почему захвачен мальчишка? А ну, чертенок, кто ты такой?

— Свой... немазаный-сухой...

— Как?

— Так... попал дурак впросак... Не все дураки — есть и умные.

— Что-о? Ах ты, поросенок!

В толпе блеснули улыбки.

— Откуда мальчишка?

— Захвачен за станицей с оружием в руках.

— Почему с оружием? Откуда у тебя оружие?

Мальчик прямо смотрел на генерала, оглядывался на товарищей и улыбался. Он увидел Титку, обрадовался и кивнул головой: «Ни черта, мол, — не бойся!»

— Откуда у тебя оружие? Вместе с большевиками был? Что делал за станицей?

— Сорок стрелял.

— Как это — сорок?

— А так... сорок-белобок. С кадет сбивал эполет...

Мальчик продолжал смотреть на генерала дерзко и озорно.

— Поручик! — генерал взмахнул нагайкой.

— Слушаюсь!

Поручик взял мальчика и потянул его из толпы. Мальчик озлился, вырвал рукав из рук офицера. Заложив руки в карманы, он посмотрел на него звериными глазами. На бледном лице дрожали насупленные брови.

— Ну, иди, иди!

— Не трожь! Не цапать!

— Ах ты, урод этакий! Кубышка!

— А ты не цапай! Мерзавцы! Мало я вас перестрелял...

Офицер с изумлением взглянул на мальчика.

— Ах ты, комарья пипка!

И с усмешкой взял его за ухо. Мальчик яростно ударил его по руке.

— Не смей трогать, белый барбос!

Офицер нахмурился и покраснел. И непонятно было, не то он был оскорблен, не то смутился. Он отвернулся, молча и хмуро подвел мальчика к старухе и поставил около черкеса с винтовкой.

Титка слышал, как кто-то взял его за рукав, и, царапая ногтями по руке, потащил на бульвар. Около него шло огромное существо, тяжелое, как глыба, и смердило потом, перегорелым спиртом и горклой махоркой. Ему стало непереносно лихо.

— Брысь, чувал! Сам пойду...

Казак засопел и захлебнулся слюною.

— Убью, сукин сын!

Широкими шагами Титка зашагал вперед, не оглядываясь. Было похоже, что он качается в огромной качели и видит, как колыхаются и плавают тополи и облака. Далеко, не то на той стороне, за рекой, не то в глубине его души, большая толпа пела необъятную песню, и песня эта звучала как призрачно-далекие колокола.

Мальчик хватал его за руку и дрожащим голосом кричал, задыхаясь от ненависти:

— Я им не позволю цапать! Я не какая-нибудь слюнявка... Я ихнего брата много перестрелял. Стрелять — стреляй, а цапать — не цапай! Тебя как зовут? Меня — Борис. Мы будем вместе с тобой... Когда нас будут стрелять, мы будем рядом. Хорошо?

— Я хочу пить... — сказал Титка и все прислушивался к песенному прибою волн.

8

Генерал уехал, и толпу пленников повели вслед за ним по улице, к реке.

Подошли четверо казаков с нагайками, молодые, веселые ребята. Они скалили зубы, как озорники, и ломались около Передерихи. Один из них взял ее под руку и, изображая из себя кавалера, потащил к скамье под тополем. Остальные трое шли за ними и надрывались от хохота. Передериха бормотала, как полоумная.

— Та я ж — слипа та глуха... хлопчата! Хиба ж я — дивка? Вы ж таки гарны та веселы... веселы та гарны...

Казаки корчились от хохота.

Передериху посадили на скамью. И тот казак, который вел ее, гаркнул хрипло и остервенело:

— Ложись!

Передериха опять плаксиво забормотала. Казак жвыкнул нагайкой. Передериха заплакала и онемела. Казак толкнул ее. Она упала на скамью и осталась неподвижной. Двое других задрали ей на спину юбку, и Титка увидел дряблые ноги с перевязочками под коленками и сухие старческие бедра.

— Катай ее, старую стерву!

Один казак сел на ее черные босые ноги, а другой опирался руками на голову. Третий с искаженным лицом зашлепал нагайкой по сухому телу. Скоро она замолчала. А казак все еще хлестал ее и при каждом ударе хрипел:

— Х-хек! х-хек!

Тот, который сидел на ногах, слез со скамьи и махнул рукою:

— Стой, хлопцы!

Казаки стали завертывать цигарки. Один вытащил из кармана веревку, стал на скамью и начал торопливо и ловко укреплять ее на суку тополя.

— А ну, хлопцы! Треба по писанию...

Казак задрал старухе юбку вплоть до живота, сделал ее мешком, спрятал в ней руки Передерихи и подол завязал узлом. Двое подняли ее, и первый накинул на голову веревку.

— Есть качеля!

И пошли прочь.

Борис кричал им вслед и ядовито смеялся:

— Дураки-сороки! Куркули! Вздернули бабку. Трясипичники! барахольники!

Казаки оглянулись и заматерщинничали. Один из них погрозил нагайкой:

— Ото ж тоби забьют пробку в глотку.

— Сороки-белобоки! Бабьи палачи!

Со стороны реки загрохали выстрелы. Два черкеса, которые охраняли Титку и Бориса, подтолкнули их прикладами и погнали к церковной ограде. Мальчик шел сурово, как взрослый, только ежился, словно ему было холодно. Он часто сплевывал слюну.

— Они думают, я боюсь... Много я вас перестрелял, мерзавцев... Плевать на вас хочу! Не бойся, Тит! Давай руку!

Титка слышал, как сквозь сон, голос мальчика и не понимал, что он говорит. Он одно чувствовал, что не идет, а плывет, качается по волнам. Чудилось, что он качается на небесной качели и вместе с ним плавает и несется весь мир.

Их поставили около ограды. Черкесы стали в нескольких шагах от них, и оба разом наперебой скомандовали:

— Легай! Арря!

Титка смутно слышал это и не понял, а мальчик забился около него, как связанный, и закричал в исступлении:

— Не лягу! Вот! Мы — оба! Вот!..

Черкесы вскинули винтовки, и крик мальчика унесли с собою два оглушительных взрыва.

1922

Л. Рейснер

МАРКИН

Каждое утро боцман флагманского судна «Межень», довольный и улыбающийся, доносит о падении температуры в Каме.

Сегодня термометр остановился на 1/2 градуса, в воздухе — ноль. По течению плывут одинокие льдины, вода стала густой и медленной, над поверхностью дымится постоянный туман, верный предвестник мороза. Команды судов, совершивших всю трудную кампанию от Казани до Сарапуля, готовятся к зимовке, команды веселеют, предвкушая отдых. Еще день-два, и флотилия уйдет из Камы до следующей весны.

И только теперь, когда близок час невольного отступления, все вдруг начинают чувствовать, как дороги и незабываемы стали эти берега, отбитые у неприятеля, каждый поворот реки, каждая мохнатая ель над крутыми обрывами.

Сколько трудных часов ожидания, сколько надежд и страхов — не за себя, конечно, но за великий восемнадцатый год, судьбы которого иногда зависели от меткости выстрела, от мужества разведчика! Сколько радостных часов победы останется здесь, на Каме! Лед затянет суровые воды, избитые снарядами, исчерпанные высокими бортами, лед навсегда скроет от нас омуты, ставшие могилами наших лучших товарищей и ожесточеннейших врагов.

Кто знает, против кого и в каких водах придется начать борьбу через год, какие товарищи взойдут на бронированные мостики судов, таких знакомых и дорогих каждому из нас.

Тяжело стуча колесами и высоко в темноте покачивая сигнальный фонарь на мачте, уходит в Нижний кто-то из «транспортов».

Оставшиеся суда провожают удалившегося товарища

прерывистым ревом сирен, который долго не умолкает: каждый из них знаком, как голос друга. Вот резкий крик «Рошаля», вот пронзительный и короткий свисток «Володарского», вот «Товарищ Маркин» со своей грудной, оглушительной трубой.

Самые тяжелые воспоминания связаны для нас с этим прощальным приветом моряков. К нему прибегают суда, находящиеся в крайней опасности.

Так звал к себе на помощь несчастный «Ваня-Коммунист», зажженный неприятельским снарядом, пылающий среди ледяных вод реки, окруженный всплесками, со сломанным рулем и оборванным телеграфом. Как долго, как непрерывно кричала его сирена.

Все чаще подымались вокруг фонтаны воды, уже на поверхности реки замелькали черные точки — люди, бросившиеся вплавь к берегу, и течением понесло вниз обгорелые щепы, какие-то ведра и табуретки, а она все не умолкала — окутанная паром, опаленная огнем, обезумевшая, страшная сирена смерти. Странно и неожиданно подошло это несчастье.

Еще накануне военная флотилия одержала значительную победу над белогвардейской флотилией: после двухдневного боя у села Битки последняя должна была бежать выше, и наши суда прорвались в тыл белым, расположенным на обоих берегах. Преследование продолжалось еще целые сутки, и только наутро третьего дня флотилия стала на якорь в чудесном плесе Камы, голубом, бирюзовом и янтарном под ясным солнцем ноября.

Решено было на время остановиться, подождать прихода десанта, так как разведчики принесли тревожные известия о сильных береговых укреплениях в селе Пьяный Бор, которые нельзя было взять с реки без поддержки нашей пехоты; к тому же запас снарядов совершенно истощился, на кораблях и барже оставалось по восемнадцать — пятьдесят выстрелов. В ожидании пехоты, которая всегда сильно опаздывала, моторные катера пошли на разведку, и матросы с удовольствием издали наблюдали неуловимо быстрые, стремительные тела, едва заметные в облаке пены, по которым белые открыли совершенно бесполезный ураганный огонь.

В высоких столбах воды, поднятых снарядами, играла огнистая дуга, и на реке ежеминутно вздымались и

таяли пушистые, белоснежные и радужные фонтаны. С отмели поднялась стая испуганных лебедей, мимо нее разбежался и прогудел гидроплан, и воздух наполнился лебединым криком, трепетом белых крыльев и пчелиным гудением винта.

И Маркин * не выдержал. Маркин, командовавший лучшим пароходом «Ваня-Коммунист», привыкший к опасности, влюбленный в нее как мальчик, не мог со стороны наблюдать воинственную игру этого утра. Его дразнил и привлекал высокий песчаный обрыв, и Пьяный Бор, таинственно-молчаливый, и притаившаяся опушка, и эта батарея на берегу, где-то спрятанная, терпеливо ожидающая.

Как выбрали якорь, как скользнули вдоль запретного берега, как успели отойти далеко от своей стоянки, никто хорошо не помнит. И вдруг недалеко, почти перед собой, заметил Маркин прикрытие и за ним неподвижные, на него направленные дула.

Один корабль не может сражаться с береговой батареей, но это утро после победы было так хмельно, так безрассудно, что «Коммунист» не отступил, не скрылся, но вызывающе приблизился к берегу, пулеметом отгоняя прислугу от орудий. Безумству храбрых поем мы славу. Но на этот раз гибель Маркина была предрешена.

На помощь «Коммунисту», ушедшему далеко вперед, подошел миноносец «Прыткий». Можно не верить в предчувствия, но каким томительным волнением были охвачены все бывшие тогда на мостике «Прыткого». Это не страх — этой гнусной болезни никто не был подвержен,— но особое, единственное, какое-то щемящее ожидание, которое я лично тоже испытала, когда миноносец, ничего не подозревая, приближался к «Коммунисту».

Краткий разговор с корабля на корабль был последним для Маркина. Комфлот спросил по мегафону:

— Маркин, в кого вы стреляете?

— Мы стреляем по батарее.

---

* Маркин Николай Григорьевич (1893—1918) — активный участник Октябрьской революции и гражданской войны. Член ЦСДРП с 1916 года. В 1916—1918 годах — секретарь Наркомата иностранных дел. По заданию В. И. Ленина организовал издание секретных документов царского и Временного правительства. В 1918 году — комиссар и помощник командующего Волжской военной флотилией. Погиб в бою.

— По какой батарее?

— Вон за дровами, видите, блестит дуло.

— Немедленно дайте полный ход назад.

Но было уже поздно. Едва машина миноносца сделала бешеный скачок назад, едва «Коммунист» последовал за ним, белые на берегу, чувствуя, что добыча от них ускользает, открыли истребительный огонь. Снаряды валились градом. За кормой, по бортам, перед носом — кругом. Через мостик они проносились с «сосущим» воем, как кегельные шары катясь и разрывая воздух. И через несколько минут «Коммунист» окутался облаком пара, из которого, танцуя, прыгал золотой язык, и заметался от берега к берегу со сломанным рулем. Тогда сирена закричала о помощи.

Несмотря на страшный артиллерийский огонь, мы вернулись к погибающему, надеясь его взять на буксир, как было под Казанью при гибели «Ташкента», который удалось взять на буксир и вывести из огня.

Но бывают условия, при которых самое высокое мужество бессильно: у «Вани-Коммуниста» первым же снарядом разбило штуртрос и телеграф. Судно, ничем не управляемое, закружилось на месте, и миноносцу, с величайшим риском подошедшему к нему, не удалось принять на буксир умирающий корабль.

«Прыткий», сделав крутой оборот, должен был отойти.

Как белые нас тогда упустили, просто непонятно. Стреляли в упор. Только поразительная скорость миноносца и огонь его орудий вывели его из западни. И странно, две большие чайки, не боясь огня, долго летели перед самым его носом, исчезая ежеминутно за всплесками упавших в воду снарядов.

Среди тех, кого удалось спасти, был и товарищ Поплевин, помощник Маркина. Человек молчаливый, необычайно скромный и мужественный, один из лучших на флотилии, он надолго сохранил синеватую бледность лица: и особенно ясно выступали на нем следы смерти, когда безоблачно сияло осеннее небо и невозмутимо журчала вода под золотистым камским берегом.

Он отплатил за своего друга и за гибель своего корабля. Ночью, когда самые сильные уставали, Поплевин бесшумно подымался на мостик и один под темным звездным небом смотрел, прислушивался, угадывал ма-

лейшее движение ночи, и никогда не уставала и не ослабевала его священная месть.

Маркина ждали всю ночь, — Маркин не вернулся, и о нем грустили, стоя у руля, молчаливые штурвальные, и наводчики у орудий, и наблюдатели у своих стекол, которые вдруг казались мутно-водянистыми от непролитых слез.

Погиб Маркин с его огненным темпераментом, нервным, почти звериным угадыванием врага, с его жестокой волей и гордостью, синими глазами, крепкой руганью, добротой и героизмом.

Погиб «Ваня-Коммунист»; на миноносцах расстрелянные пушки остались почти без снарядов, а обещанный десант все не приходил. Тогда в сумерки на моторном катере сняли брезент с четырех темных продолговатых предметов, сложенных рядами.

Минеры, флагманский штурман и командующий долго совещались, склоненные над картой, и, когда выходили из кабинета, были молчаливы и пожали руки уходящих особенно крепко. Комфлот проводил четырех матросов и офицера на палубу, и через несколько минут истребитель, груженный минами типа «рыбка», скрылся за островом.

Вернулся он под утро, на корме уже не видно было черных, длинных, похожих на усатые ведра, мин. Теперь оставалось одно: спокойно ждать. И действительно, на второй день белые, отпраздновав всеобщим пьянством гибель «Коммуниста», перешли в наступление.

Шли в кильватерной колонне, торжественно, как на парад. Сам адмирал Старк, командующий белогвардейской флотилией, впервые лично принял участие в походе. Его флаг был поднят на «Орле». Но, едва поравнявшись с «Зеленым островом», торжественное шествие должно было остановиться. Пароход «Труд», шедший головным, вдруг стал, и нос его буквально оторвало от корпуса: мины сделали свое дело.

Теперь на обледенелых берегах Камы, почти рядом, лежат разрушенные и обгорелые остовы двух кораблей: «Вани-Коммуниста» и белогвардейского «Труда». И кто знает, быть может, под непроницаемой поверхностью реки, на темном дне, прибило течением друг к другу Маркина и тех презренных, которые из пулеметов добивали его утопающую команду.

Покидая Каму, быть может, навсегда, моряки долго и неохотно прощались. Ничто не сближает людей так прочно, как вместе пережитые опасности, бессонные ночи на мостике и те долгие, со стороны незаметные, но мучительнейшие усилия воли и духа, которые подготовляют и делают возможной победу.

Никакая история не сумеет заметить и по достоинству оценить большие и малые подвиги, ежедневно совершавшиеся моряками Волжской военной флотилии; вряд ли даже известны имена тех, кто своей добровольной дисциплиной, своей неустрашимостью и скромностью помогли созданию нового флота.

Конечно, отдельные лица не делают истории, но у нас в России вообще так мало было лиц и характеров и с таким трудом они выбивались сквозь толщу старого и нового чиновничества, так редко находили себя в настоящей, трудной, а не словесной и бумажной борьбе. И раз у революции оказались такие люди, люди в высоком смысле этого слова, значит, Россия выздоравливает и собирается.

И их немало. В среде, которую пришлось мне наблюдать, их было много. В решительные минуты они сами собой выступали из общей массы, и вес их оказывался полным, неподдельным весом, они знали свое геройское ремесло и подымали до себя колеблющуюся и податливую массу.

Вот спокойный, немногословный Елисеев, чудесный наводчик, подбивавший лодчонку на двенадцативерстной дистанции из дальнобойного орудия, со своими синими, без ресниц, глазами, опаленными при разрыве орудия, всегда устремленными куда-то далеко вперед.

Вот Бабкин, больной, всегда в жару и с пьяными глазами, которому осталось недолго жить и который по-царски расточает сокровища своего беззаботного, доброго и непостижимо стойкого духа.

Это он приготовил белым минное поле, на котором подорвался их сильнейший пароход «Труд».

Вот Николай Николаевич Струйский, флагманский штурман и наопер * флотилии во вторую половину Камского похода. Один из лучших специалистов и образо-

---

* Наопер — сокращенное «начальник оперативного управления». *(Примеч. авт.)*

ванных моряков, служивших безукоризненно Советской власти в течение всей гражданской войны. Между тем его вместе с несколькими младшими офицерами насильно мобилизовали и чуть не под конвоем привезли на фронт. На «Межень» они прибыли, ненавидя революцию, искренне считая большевиков немецкими шпионами, честно веря каждому слову «Речи» или «Биржевки».

На следующее же утро по прибытии они участвовали в бою. Сперва сумрачное недоверие, холодная корректность людей, по принуждению вовлеченных в чужое, неправое, ненавистное дело. Но под первыми выстрелами все изменилось: нельзя делать наполовину, когда от одного слова команды зависит жизнь десятков людей, слепо исполняющих всякое приказание, и жизнь миноносца, этой прекраснейшей боевой машины. От каждого матроса — стальная нить к капитанскому мостику, к голосу, повелевающему машиной, скоростью, огнем и колесом штурвала, вращающегося в дрожащих руках рулевого. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь, будет упорно нападать и сопротивляться, блестяще и невозмутимо исполнять свой профессиональный долг. А потом, конечно, он уже не свободен. Его связывает с комиссаром, с командой, с красным флагом на мачте гордость победителя, самолюбивое сознание своей нужности, той абсолютной власти, которой именно его, офицера, интеллигента, облекают в минуту опасности.

После десяти дней походной жизни, которая вообще очень сближает, после первой победы, после первой торжественной встречи, во время которой рабочие какого-нибудь освобожденного от белых городка с музыкой выходят на пристань и одинаково крепко пожимают и руку матроса, первым соскочившего на берег, и избалованные, аристократические пальцы «красного офицера», который сходит на «чужой» берег, нерешительно озираясь, не смея еще поверить, что он тоже товарищ, тоже член «единой армии труда», о которой так взволнованно, неуклюже и радостно трубит хриплая труба провинциального «Интернационала».

И вдруг этот спец, этот императорской службы капитан первого ранга, с ужасом чувствует, что у него глаза на мокром месте, что вокруг него не «шайка немецких шпионов», а вся Россия, которой бесконечно нужен его

опыт, его академические знания, его годами усидчивого труда воспитанный мозг. Кто-то произносит речь — ах, эту речь, задиристую, малограмотную, грубую речь, которая еще неделю тому назад не вызвала бы ничего, кроме кривой усмешки, — а капитан первого ранга слушает ее с сердцебиением, с трясущимися руками, боясь себе сознаться в том, что Россия этих баб, дезертиров и мальчишек, агитатора товарища Абрама, мужиков и Советов — его Россия, за которую он дрался и до конца будет драться, не стыдясь ее вшей, голода и ошибок, еще не зная, но чувствуя, что только за ней право, жизнь и будущее.

Еще через неделю, одев чистый воротничок, смыв с головы и лица угольную и пороховую копоть, застегнув на все золотые, с орлами, пуговицы китель, на котором не успели выгореть темные следы эполет и нашивок, товарищ Струйский идет объясняться со своим большевистским начальством. Он говорит и крепко, обеими руками, держится за ручки кресла, как во время большой качки.

— Во первых, я не верю, что вы, и Ленин, и остальные из запломбированного вагона брали деньги от немцев.

Раз — передышка, как после залпа. Где-то вдали, где морской корпус, обеды на «Штандарте» и золотое оружие за мировую войну, — взрывы и крушение. Запоздалый Октябрь.

— Второе, с вами Россия, и мы тоже с вами. Всем младшим товарищам, которые пожелают узнать мое мнение, я скажу то же самое. И третье, вчера мы взяли Елабугу. На берегу, как вы знаете, найдено до ста крестьянских шапок. Весь яр обрызган был мозгами. Вы сами видели — лапти, обмотки, кровь. Мы опоздали на полчаса. Больше это не должно повториться. Можно идти ночью. Конечно, опасный фарватер, возможна засада в виде батареи... но...

Из кармана достается залистанный томик «Действия речных флотилий во время войны Северных и Южных штатов».

1924

ВОЖДИ

Ближе к монастырской ограде — сторона купеческая. Мироновы, Кожемятниковы, Левонтовы, Шумилины лежат здесь в накатанных под землей прочных дубовых срубах, одно поколение на другом. Чугунные надгробья ржавы, как двери уездных лабазов, сырых и темных, где мальчик в полдень поливает из чайника шершавый коростяной пол. Над затейливыми памятниками летят щекастые ангелы, подобие сусальных и дебелых купеческих дочек. Тяжелая копьевая резьба оград увековечила косность и коряжистую силу сословия. За узорчатыми железными воротами, на самом дворе женской обители (ныне сельхозкоммуны) — уездная знать. На мраморных свитках точно обозначены чины и годы. В нарочитой опрощенности прямых, почти католических крестов подчеркнута высокомерная изысканность барского вкуса. Могилы еще от тех лет, когда кругом, через косогоры, овраги и пади медвяного глухого края, сквозило во все стороны помещичье изобилие и довольство — белокаменными усадьбами, садами, березовыми аллеями, черепичными крышами экономий. Среди прочих — оброшенная, мшавая, полувросшая в землю плита. Истлевший под ней кирпич точится оранжевой гнилью. Бурьян, крапива, лопухи в сизой паутине...

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕНО ТЕЛО
КОЛЛЕЖСКОГО АСЕССОРА
Василия Матвеевича Андеева
Род. в 1734 г., убиен в...
Мир праху твоему!

А в самую глубь погоста пойдет гущина, рослая путаная трава, столетние ветлы, выросшие из безыменных крестов — тут напластованы несчитанные тысячи поколений, целые города, ушедшие в безликую неза-

писанную историю, стоит вечная пасмурь от плодовитой, тесно толпящейся листвы, паутинника, вечный гул деревьев, который в конце концов перестает слышать ухо. На закате прилетают ордами грачи, орут сокрушительно и нагло. Трава — а может быть, это жирная разбухшая от могил земля — источает по ветру смрадный слащавый медок. В листвяных мечущихся просветах, высоко на солнце, золото огромных куполов горит погребально.

Городок на горе, в трех верстах от кладбища, мал, беден и древен. Еще сохранились четырехугольные земляные очертания былого кремля, где резидентствовал в свое время чиновник царицын, Андеев, одутлый, пучеглазый, в регалиях и камзоле прозеленевшем. Гулял тут и Пугач. От аракчеевщины — острог, бывшая полиция со следами рыжего орла на фронтоне, и каланча. Каменные стены, окружающие эти здания, крыты ржавым железом, утолщены внизу, наподобие осадного вала, и подпираются каменными же упорами; от них тянет солдатчиной, каторгой, бесправьем... В низинах, в конных и пеших слободах, в бутырках, испокон веков ковали людишки, несли тягло. Это из них лесом столетним разрослись на кладбище безыменные ветляные кресты...

Осенью дуют над краем раздольные оглушительные ветры. Море облаков над землей огромно, оно пасмурно кипит и крутится над вихряво-соломенными и деревянными крышами, над острожной крепостью, над тонкими садиками и скворешнями. Белые колокольни, безумным видением встающие в бурю над этой нищетой и сиротством, мчатся в высоте стремительно и уныло. Деревья на кладбище падают к земле исступленным бураном.

...Падают по краям — у-у-ухх! — падают, седеют, свищут, поднимаются опять. В пещерных сумерках кладбище шумит и шумит, безыменно ропщет....

Так же падали и шумели ветлы в августе восемнадцатого года, когда пришли отбирать хлеб у монастыря...

Ветром пригнало с большой дороги невиданных в обители людей. Брякнули винтовки в сводчатых воротах, слетая с бродяжьих отчаянных плеч. Впереди, как хозяин, весело шла рыжая рослая девка в стеганой сол-

датской кацавейке и солдатских же сапогах, вела отряд.

И ахнуло по всему монастырю. Затискалось глазами по сенным щелям, по парадным, по окнам высоких иноческих корпусов, запричитало, зашелестело шепотом едким. Небо гналось над куполами яростно и низко.

— Последнии-те дни пришли, истинно...

— Бесстыжу девку на обитель наслали!..

Сухая старица-экономша иголкой шныряла в тесноте, *наушничала:*

— Етта Сергеичев-председатель, сестрицы, он, враг, подослал! Теперича он что хотит, то и сделает. В городе все лабазы поломал, а из кирпича ему *на лесах* — *на* прудах дворец строют. Да что же етта за власть? Самодержца спихнули, а каменщику, фулюгану дворец строют? Благодетелев-то, Мироновых, заликвизировали, а белье-то корзинами, и все ему да ему! Такая ваша новая правда? А теперича у сирот последний кусок отнимать, войску на обитель навел, окаянный!

Старухи с клюками выбредали из келий темных, смотрели дряхло из-под ладони.

— Чего это дураки-мужики-то терпют? Мужики-то?...

Было у обители пять хуторов, водяная мельница, были древние, от благодетелей, наделы. Хозяйствовала изобильно и славно. В престольные солнечные дни колокола гудели тугим недряным гудом за десятки верст — будто перли из-под земли тысячепудовые, темным золотым зерном нагрузшие закрома. Рыдваны, кареты, шестерики, брички, колокольцы исправничьи, пеший чужедальний люд — все это ярмаркой кишело у расписных ворот, везло и несло. Было — а много ли осталось на лихие эти небывалые годы?..

Знал председатель уездный Сергеичев...

И все, что знал, рассказал губпродработнице, товарищу Будай, и командиру отряда Иващенко, когда объяснял в исполкоме маршрут по уезду.

— Кадилам этим вы не верьте! А вот туда загляните...

...И вышел товарищ Иващенко на широкий двор, весело задымив цыгаркой.

— Ну, мамаши, нагляделись, давай дело добром решать. Постановленье исполкома знаете. Говори, в которую церковь хлеб упрятали! Все равно сами найдем.

А если какие прения поднимете, то так и знай: весь ваш кочкарник кверху ногами поставлю!

Товарищ Будай рванулась:

— Товарищ Иващенко, — не так!

Монашки выкинулись из всех дверей, завопили, заплясали остервенело, старица-экономша впереди всех. Ветер рвал седые надмогильные космы.

— Ты нам его давал, хлеб-от?

— Грабить только вам, грабители!

— Нет у нас ничего! Сгиньте, откуда пришли!..

И, будто почуяв что-то, хлынули через двор, с гомоном добежали до деревянной ветхой церковки, в проулке, в бузине потонувшей за собором, закрыли толпой всю паперть.

— Не дадим храма божьего на поругание!

— Нас сначала бей! Все одно околевать!

— Его ведь за Христа ради наподавали, кусок-то!

С кладбища, за церковкой, листье упало тучей до самой земли, засвистало, теменью бурной погнало по двору.

— ...бог-то... бог-то...

Товарищ Будай остановила отряд, подошла одна. Враз тишиной окатило, насупилось, сдвинулось вплотную живым злым телом. Слышала, как ненавистью нетерпеливой дышало в упор.

— Товарищи!

Надо было кричать, чтобы пересилить этот буранный, несмолкаемый ветвяной гул. Пересилит ли? Как солома в ветер — взвивались, уносились слова. Услыхал ли кто? О братской бедноте, о великой правде дней, о детях, о голоде осажденных, казнимых городов... Из-за монашек вылез бородатый юродивый звонарь, раскрыв рот, слушал дико и равнодушно. Камень храмов поднимался со всех сторон угрюмо, прочно, казематной стеной. На этих догнивающих ступеньках, в праздник, гнусаво кричали и корчились бесноватые, слепцы с кровавыми бельмами, юродивые, тянула коростяные руки с чашкой смрадная рабья Русь. И здесь в золотом блистательном облачении шествовал архиерей, народ падал в ужасе и слепоте, губами собирал истоптанную пыль...

Вдруг снесло плотину, рванулось стоголосо, пальцами закрючилось к лицу.

— Не дадим храм божий поганить!

— Каки мы тебе товарищи, бесстыжей!

— Сгинь, сгинь!

— Мужиков крикнем, разорвут в клочья!

Выскочила полоумная, косматая старуха, с пятнистыми щеками, заплакала и харкнула ей в лицо.

— Изыди, ди-я-вол!..

Взмыли над головой костлявые кулаки...

Тогда товарищ Иващенко жестоко засмеялся.

— А-а!.. курвы!..

Громыхнул выстрел в самую гущу. Гниль бешено посыпалась с ветхой застрехи. Сорвалось над кладбищем испуганное воронье, заметалось, кричало пронзительно и скандально. Монашки брызнули по двору, как куры, вперевалку, придерживая подолы. Продотрядники засвистали вслед.

Женщина хмуро смотрела.

— Товарищ, это было бестактно. Вы подали повод для темной агитации... Я вам заявляю, товарищ Иващенко...

Он закатывался вместе с братвой, присев на ступеньки, *бритый наголо, грязношей, распахнутый* настежь всей дубовой волосатой грудью.

И крякнули приклады, сбивая замок со ржавых окованных дверей. Ударило густым прелым духом земли, прохлады, лежалого зерна. Вошедший продотрядник загруз ногами в сыпучей зерновой россыпи, запутался, упал.

— Добра-то!..

...В тот час в покоях полутемных, против собора, вели к окну высокую прямую старуху. Тонкий костяной нос, фарфорово-синие впалости глаз говорили о покое мертвых в утреннем тумане церкви... Род Мироновых воздвиг попечением своим этот каменный город-монастырь, украсил его благолепием, положил начало обильному монастырскому хозяйству и сам лег подле, в купцовском своем дубовом срубе — ее род. Тусклоглазая девчонка-послушница, с толстыми вялыми губами идиота, поддерживала игуменью под локоть старательно и грустно. Внизу хозяйничали незнаемые люди, волокли котлы из трапезной, раскладывали костер, сеном, пометом конским гатили по чистому, как горница, двору. Старческие глаза взяли все потухло и равнодушно...

И вошла, крадучись, старица-экономша. Опасливо заперев за собой дверь, наклонилась к самому уху, шептала долго, подобострастно, слезно... Старуха сидела в кресле недвижная, неживая в мути лампадной.

— Повремени, мать, — сказала она. Голос ее был трубен и хрипл. — Помолюсь.

Ее подхватили, опустили бережно на колени. От лампад осветились железные повелительные глаза. Они впились в золотое сияние алчно. Пальцы, прижатые ко лбу, костенели... Старица, пресмыкаясь, подползла сзади, сунула под колени атласную подушку...

Рука нашарила, отбросила ее прочь, гневно...

В ту ночь ночевал озорной отряд в пустой трапезной, среди вымерших, с заката обезмолвевших корпусов.

Теперь в мезонине ветхой деревянной трапезной не сыщешь глохлой душной каморки, с половичками чистыми, фикусами на окнах и деревянным диваном — жестким ложем какой-то престарелой и благочестивой девственницы, — на котором спала тогда товарищ Будай. На недолгом закате галки садились и срывались с крестов, крича о всемирной пустоте.

...Где это, куда занесло ее, шалую безотцовщину, недоучившуюся курсистку, Нюрку Будай?..

Будто нет в мире больше ничего: одна во все стороны глухомань полевая, где стонут столбы и тьма бежит по дорогам, зверем крадким стелясь по земле. Еще скачет, что ли, кто, убить намахиваясь из темноты?.. Крик гаснет, дымит им ветер, как соломой, в поле глухое, тысячеверстное... Ночь.

И долго бродил по пустому двору товарищ Иващенко, не зная, куда деваться от бездельной тоски. Нигде ни души, только продотрядники храпели яростно, высыпаясь в запас на дорогу. Полез на мшавую крепостную стену, кругом обступившую монастырь. Наверху сшибало ветром, ржавое железо скрежетало под шагами. Открылись мутные большаки, пажити в осеннем вечернем дыму, кое-где беловатые набок сгорбившиеся березы. Бесновато обсвистывало кресты в высоте...

Саженный, понурый стоял, глядел в низы эти мутные, как в жизнь. Там ветры дули, вставали дороги перевальные и низинные. Кипели и мчались огненные вок-

залы. Широка земля бездомному человеку. Не все ли равно, где расколет пуля шальную, распутную башку!..

Ночью зашел на огонек, к товарищу Будай. Но о чем говорить обоим?

— Не мешало бы, товарищ Будай, с маршрутом получше ознакомиться. У вас карта есть...

Карту разостлали на столе, огромную, как луг, с грязными рубцами от бродяжьих вещевых сумок. Возникли очертания пространств, поглощенных ночью и сквозь ночь — невероятных.

Оба они лежали на локтях, впервые за весь путь — тесно плечом к плечу. Ее теплота сочилась через коросту одежды, как неуловимое сияние. Но она не была женщиной для товарища Иващенко — даже в этот соединяющий час безлюдья, бури и тоски. Не могло быть женщиной все это: напутанные нескладно по щекам рыжие космы, слишком мощное тело, втиснутое кое-как в солдатскую кацавейку, этот норовистый размашистый шаг вожака, готового всегда на резкий окрик. И женщины никогда не смотрят в спину такими холодными стерегущими глазами... О чем говорить обоим?

— Выйдем, товарищ, завтра с рассветом. Имейте в виду, в Лебяжьих Врагах будет серьезно. Село под кулацким влиянием.

Сказал Иващенко:

— По совести говоря, товарищ Будай, хотя отряд наш и пролетарская публика, но насчет военного дела они, извините, как заяц на гитаре.

И сугрюмился.

— Это я считаю долгом...

Будай промолчала, встала, ушла к окну.

Где-то в недрах кладбища яростно рвалось с корней, шатая ограду, готовясь рухнуть на мир всеми воинствами тьмы. Но дыханье ночи было свежо и будяще.

...Почему в этот час почудилось какое-то счастье, дружеское присутствие там — в шуме, в тумане, за рубежами?..

Тут лежали дороги — на эти самые Лебяжьи Враги, на Валяевки, на Дикие Селитьбы, их концы завершались не в бумажном унылом поле, а терялись куда-то в бурю, в безвестье, в жизнь. Она почувствовала их гигантскую живую карту — с холодной травой, мглистыми оврагами, прудами, деревеньками на перевале.

Пустоты не было, мир жил наполненно, почти вот тут, за спиной — гудели, разметывались борьбой и огнями бессонные города. Бледным заревом стоял в горизонтах их далекий свет. Она увидела себя в этом закинутом поле, несущей нерасплеснуто их дыхание, воздух их улиц, гнева, песен. Жизнь почуялась вся, почуялась остро и пьяновато, как ветер. В шуме, в тумане, за рубежами.

А дика, бездонна была ночь!..

Поднял голову товарищ Иващенко. Глаза его были мутны. Свечи сияли пронзительно. Он взглянул на женщину, он ее увидел впервые: эти стемневшие драгоценные глаза, удлиненный изгиб щеки; голос, которым она сказала бы, мог быть теперь бесконечно нежным. Дуновение потерянного где-то праздника, музыки донеслось щемяще из-за стены лет, галицийских походов, гайдаматчины, скитаний...

— Спать!.. — сказал он резко, встал, пронес согнутую огромную тень свою по стене, как гонимый.

Ночь была.

...Ночью поздней подняли с пола игуменью, повлекли к креслу. Осела, дышала тяжело. Старица безмолвно ждала, торжественная, согбенная. Игуменья отдышалась, притянула ее за рукав.

— Иди, мать... — через силу, хриплым шепотом произнесла она. — Иди, помоги тебе царица небесная! К петухам пройти тебе Лебяжьи Враги...

— Матушка... — припала к ней старуха, всхлипнула.

— А мне пошли... мать Пелагею... Пусть посидит здесь до твоего часу...

Закрыла впалые, глубокие глаза. Спала. Может быть, не спала, а видела сквозь стены, как захлесталась и двинулась из-за ограды темь, как по межам черным, по проселку падает, задыхается, гонится в ветер неведомый человек...

В полночь подняло всех.

Иващенко встал первый, хищно прислушался. Это была уже не буря, вой шел на самом дворе, переходил в дикий гром, от которого дребезжали стены и стекла. Это бил набат.

— В ружье! — гаркнул он.

Продотрядники вскочили, метались, пихали ноги в

сапоги, гремели винтовками... С револьвером стоял у дверей, ждал.

— ...Выходи по одному!

Свистнуло ветром в ушах, в темень закутало с головой. Наверху бесновалось, бесновалось, звоном полыхало от края и до края...

Рычал в темноте, командуя.

Люди пропали, рассыпались — у ворот, у собора. Железо звякало по камням. Это ползли. Озирались в глухую глубь, к оградам. Набат оборвался, гинул за дороги. От колокольни волокли.

— Кто? — налетел Иващенко.

— Дурачок этот... хахаль монашеский!

От ворот притопал отрядник, задыхался.

— Никого не видать, до самой дороги ходили. Если кто есть, так не иначе с кладбища пойдут.

— Знаю...

Перебежал двор там же, где и вечером, нашел стену. Посыпался щебень из-под упористых ног. На гребне сторожко привстал. Ничего не видно, только пропасть без берегов внизу, где гуляют моря ветра и мрака.

Кликал кто-то через гул.

— ...Это я!.. Будай!

Иващенко нащупал мягкую горячую руку, втащил к себе.

— Контрреволюция поднимает голову! — звонко сказала она. Это было все, что не заглушил ветер.

Рвались огненные брызги из папироски.

— Какого черта вы... с огнем! — прошипел Иващенко, вывернул папироску из пальцев, швырнул во двор. — Чего вас... принесло?

Грохало железо — буря ли...

Стала над краем в упор ветру. Ночь продолжалась из снов. Не ветер — будто вся она — Анна Будай мчится в воздуховой океан, разрезая пространства. Темень сказочна, пьяна от борьбы. Снящиеся рубежи за ней...

Другой пополз вниз, пал в глушь травяную, проволок тело свое на дорогу. Слушал.

Сквозь тучевой гул листвы, сквозь шелест шершавого бурьяна и репьев придорожных — еще, еще колыхалось, горело звоном где-то в диком поле.

...Там, от Лебяжьих Врагов, вышел к околице чело-

век, покатился в темь, в ветер, в дальние проселки. Полыхал набат за человеком, в Лебяжьих Врагах...

Лег ухом к траве товарищ Иващенко. Нет, дует только один ветер, гудит шум лиственной, шипит придорожный бурьян... И вот — пал свист человечий, дальний — по гулкому где-то заречью гульнул дикий свист и погас. Свой ли, чужой ли...

Или ветром — воем кладбищенским путало в ушах.

В городе, что на горе, за пустырью полевою заколодо опять к полночи в боку у председателя Сергеичева. Было это в боковушке бобыльей, в бывшем доме купца Левонтова, в совнархозе. Одно знал средство: повернуться на другую сторону, в воздух лицом, и закурить папиросу пачечную «Мечта». Днем жрал только махорку — и жрал ее Сергеичев в неимоверном количестве, одолевая, с теменью в глазах, очередную мудреную бумагу из губисполкома. Папироски же изредка, на отдыхе, в душевную минуту (выдали немного — на съезде). После махорки дымок их легок и сладок и носит запах отдаленных приятнейших цветов. Так почему-то пахли ему и новые дни.

Разве нет запаха у дней и времен?..

Когда-то работал по каменной Сергеичев. Дворовые людишки, оставленные по уезду без земли, сбивались каждую весну в артели, шли в большие города строить церкви и каменные этажи. Лето короткое, работали от зари до зари. Месил во дворах известку Сергеичев, таскал кирпичи на леса. Помнит белый ядовитый ветерок, помнит гиблую крутизну под нажиленными ногами, помнит тот час — еще не последний во дню — когда скрипит и деревенеет отдавленная, скрюченная пополам спина. Помнит смрадный бездонный колодец двора, где свалился его мальчонка в отхожее, захлебнулся. С тех пор болезнь, духота колючая в боку. От тех времен — запах нежилой, подвальный, как от застарелых лабазов, в сыром и глубоком зиянии которых даже солнце тускнеет лихоманно и тошно. И лабазы на базаре, когда настали новые дни, сломал Сергеичев, беспортошный председатель, со злобой и наслаждением. А кирпичи подвезли в казенный лес, на пруды, строить детский дом от Совета для чахлых городских ребятишек.

Своих же детей — знал Сергеичев — не будет больше никогда...

...Повернулся на другой бок, закурил. Потянуло дымком — из леса прохладного, с синих прудов, кирпичи грудой в росе, в траве. Артели идут босые, с песнями, по колена в цветах. Сергеичев сам покажет, как строить. Он знает, какие должны быть там огромные до потолка окна, подобные озерам, полным воздуха и синевы. Он знает даже, какие будут коридоры за дверями этих белых, веселых покоев, коридоры, выходящие в небо своей стеклянной стеной; в них всегда — будто только что дул ветер, травный медвяный дух. И еще видел Сергеичев — мечтой видел, стыдно, про себя (разве есть человек без *своей* мечты?) — видел на фронтоне белом, под золотой вывеской «Детский дом» еще строчку одну, еще одну тончайше выведенную вязь золоченого алебастра:

...ИМЕНИ ТОВАРИЩА СЕРГЕИЧЕВА

В полночь всполохнуло всего на постели неведомо что. Зажег коптилку, одевался наскоро, длинный, костлявый, с белыми, словно известкой помазанными чахоточными щеками. На балконе, за бывшими горницами левонтовскими, кинуло в уши шурхом кустяным, звоном. Бил набат у Рождества на горе.

— Где бы это пожару быть? — спросил он себя, выглянув по перилам за угол: нет, насквозь черной буревой стеной стояла ночь...

И вдруг, захлебываясь, часто, гнусаво побежало с низов, из-за увала: от Архангела. Теперь били вперебой злобно, исступленно, кликали вперебой из ночи беду...

— Эге... — сказал Сергеичев, и в спину будто льдом задышал кто-то. — Вон оно что...

...Темные годы высачивались из колоколов, неслись из мертвого щемящего бездонья, на свои места становились по черным проулкам, по площади. Горницы купца Левонтова населялись, живели, откашливались чугунно и хрипло. На базаре мутно поднялись сундуками каменными лабазы, источили сырой, подвальный, столетний дух. С церквей падала в ночь, в бурю черная гиблая крутизна. Воем погостным бесновалась...

Нашарил винтовку, сгинул задами...

Тогда ударили в соборе — торжественно, стопудово, царствами, громадами, мирами. Тогда заколотило у

Миколы радостно, юродиво. Тогда дрынькало уныло на *холерной, Александра Третьего, часовне, где не звонили* никогда с девяносто второго года, с того самого года, когда полными телегами свозили холерных с улиц в часовню, отпевали...

Бил набат на всех церквах...

(...Была когда-то ночь, тогда церкви звонили другим звоном. Из губернии, спалив воеводский дом вместе с воеводой и его семейством, шел Пугач. Ночью, встречая, бил набат у Рождества, над слободами. На закраине полей пылали риги господ Загоскиных. Каланча и собор в кремле стояли, как в крови. Людишки поднялись с низов, вел их беглый человек господ Загоскиных и гулящая девка со слободы. В ту ночь ворвались, сожгли съезжую избу и повесили чиновника царицына, Андеева, в кремле...)

На взлобье, около бывшего полицейского двора, вынырнул Сергеичев из ночи, под окошком тусклым нашарил глазами человека.

— Прохорыч, — ты? — узнал он секретаря. — Слышь, что делают! Партийные все здесь?

— Здеся, — ответил секретарь, подошел, волоча винтовку. — Одного сволоча чуть не поймали, с соборуто веревка наземь была от языков протянута. Прибежали, веревка-то болтается, горяченькая!.. Партейные все здесь, площадь по дорогам караулят...

Сергеичев прислушался.

— Обожди... Ступай, покличь кого, слышишь, из-за валу шумят. Беги, я пока покараулю...

Теперь только на двух церквах названивало — медно, надтреснуто, ржаво. На колени припал, чтобы лучше слышать чужих за ветром, за угол, на валу примостился...

Вдруг вывалило криком под самыми ногами, из овражной тропинки, затопало, закарабкалось по травяной мякоти.

Не вытерпел, дрожно в муть черную сорвался. Крик резанул хрипотно, убийством, тоской...

— А-а... Кто, мать такую?

Бахнуло дико, огонь выкинуло, гул на все поле.

Снизу вопили.

— Да стой там, черти! Кто это? Мы здесь бедный

комитет, бутырски! Чуть не побил всех, оштоломел, что ль!..

— Видать, что *оштоломел*, — виновато пробормотал Сергеичев.

Отмякал. Снизу гурьбой валили.

— ...Слышим, зачухвостили везде, а пылу нет. Сметили тут, в чем оно. Ну, думаем, вот она когда вся буржуазная гадина поднялась! Пойдем, братцы, Сергеичева выручать. Тут еще сзади из конной ребяты идут...

...Сидели в лепной зале, за глыбой зеленого стола. Металлический, в мускулистых блесках, человек, из коллекции господ Загоскиных, нес торжественный, сияющий керосиновый шар перед этими бородами, сонными лохмами, чапанами, солдатскими кацавейками. Винтовки еще торчали между колен настороженно. Сергеичев наглотался махорки, надумался, встал в ядучем ее, скрутившем все внутренности огне, погладил степенно чахлые свои усы.

— Как вы знаете, товарищи, контра подняла нонче свою черную голову и пожарным звоном хотела зажечь панику в рядах товарищев. Эта самая лавочка ей, товарищи, не прошла, но все ж таки мы должны стоять на страже, и потому во внеочередном порядке предлагаю выбрать ревком...

...За кладбищем полевой край земли вознесен, как океанская волна. Летом кипит и золотым маревом ходит рожь, на косогоре — дубравы и небо, небо. На косогор летит по колосьям эта золотая, неоглядная, прекрасная волна...

За рвом кладбищенским, тут же, на поляне, общая коммунистическая могила. Сюда носят из города не через монастырь, а по большой дороге, лугами, по колено в траве. Там пронесли и Сергеичева, председателя уисполкома, в восемнадцатом году умершего от чахотки.

Летом деревянные створки над могилой кем-то подняты. Гробы стоят наполовину в воде (рядом река); за эти шесть лет только сошла красная материя, она висит клочьями на их серых заматерелых ребрах. Самые дальние — гробы товарища Сергеичева и товарища Будай, губпродработницы, убитой во время восстания в

селе Дикая Селитьба. Всего их пять. Товарища Иващенко здесь нет, он зарыт у Ростова, под курганом.

Некоторые обыватели из города обходят эту могилу с пренебрежением и боязнью. Она напоминает им пустой осенний и первый этот жуткий красный гроб — первый без ладана, без свечей, и песню за гробом, и яростную пальбу продотрядников — вверх, по лопающимся проводам, яростную, как проклятье, и всю страшную поступь того буревого, многое сломавшего года.

Никто, конечно, не знает, что товарищ Сергеичев любил папиросы пачечные «Мечта», а товарищ Будай в одну бурную давнюю ночь узнала, что такое счастье. Детский дом на прудах достроен, и надпись уже выведена на фронтоне, но, правда, имени Сергеичева нет, есть другое, которое знают и за пределами уезда и губернии, даже за пределами России, во всем мире. Над могилой тишина, трава.

Но когда ветер и ветлы падают и шумят гулкими космами, тогда — в видимом движении эта могила, эти пятеро, вышедшие за вековой ров. Они ведут за собой это воинство кустов в ветер стремительно и упрямо. Кладбище двигается с ужасающим гулом, тысячами тысяч безыменных крестов. Они восходят в упор ветру, рядом с неоглядной золотой волной — в дубраву, в небо, распахнутое там всей своей сияющей огромностью, в бездонные дороги.

Там гудят столбы — откликом кипучих, работающих городов, борьбы, бессонного, вечного, блаженного движения жизни.

Жизни!

1925

А. Веселый

В СТЕПИ

Партизанский отряд матроса Рогачева замирил восставших казаков Ейского отдела и возвращался ко дворам. Дотошные разведчики пронюхали, будто в недалекой станице в старой казенке хранятся запасы водки.

Весть мигом облетела ночевавший в степи отряд.

Самовольно собрался митинг.

Рогачев, гарцуя на коне в гуще партизан, кричал:

— Ребята, контрики подсовывают нам отраву! Долой белокопытых! Напьемся — быть нам перебитыми! Не напьемся — завтра будем дома! Кто за бутылку готов продать совесть и свою драгоценную жизнь? Долой прихлебателей царизма! Я, ваш выборный командир, приказываю не поддаваться на провокацию! Казенку надо сжечь, водку выпустить в речку!

— Правильно, — подпрыгнул корноухий вихрастый мальчишка и завертелся на одной ноге.

— Неправильно, — отозвался другой партизан, — чего же ее жечь, не керосин.

— Спалить таку-сяку мать! — взвизгнул пулеметчик Титька.

— Жалко, братцы.

— Яд, — убежденно сказал подслеповатый старичишка Евсей. — Сорок лет пью и чувствую — яд.

— Комиссары сами пьянствуют, а нас одерживают. Суки!

— Верно. Ты, Рогач, на себя оглянись.

Рогачев, происходивший из крестьян станицы Старо-Щербиновской, действительно прославился по Тамани не только незаурядной храбростью, но и разгулом.

— Братцы, — обрадовавшись догадке, заговорил рассудительный печник Нестеренко, — как мы с победой и как мы сознательные, то должны ее, эту треклятую зелью, разбавить водой, чтоб не так в голову ударяла, и с криком «ура» выпить всю до капли.

— Совесть ваша, дядечка, серая, — с сожалением глядя на Нестеренко, сказал вихрастый мальчишка.

Приподнятый над кучкой хуторян рябоватый матрос Васька Галаган махнул бескозыркой:

— Уважаемые, и чего такое вы раскудахтались? Дело яснее плеши. Забрать водку — раз, выдать по бутылке на рыло — два, остатки продать и разделить деньги поровну... Тут и всей нашей смуте крышка.

Командиру удалось настоять лишь на том, чтобы не ходить в станицу всем табуном. Были поданы подводы. Выбранные от рот делегаты, возглавляемые каптенармусом, двинулись в поход.

В томительном ожидании прошел и час и два — посылы не возвращались. На выручку была послана конная разведка. Разведчики, божась страшными божбами, ускакали и тоже пропали.

Солнце покатилось за полдень.

Партизаны загалдели:

— Делегаты называются... Выглохтят все сами.

— Известно, темный народ.

— Товарищи, а не пахнет ли тут изменой? Может, их там перебили давно, а мы тут ворожим?

К возу Рогачева подходили все новые и новые партии партизан, требуя отправки.

Трубач проиграл сбор.

Отряд построился и, выставив охранение, в полном боевом порядке двинулся на станицу.

В станице перед казенкой гудела тысячная толпа. В помещении перепившиеся делегаты горланили песни и плясали гопака. Из распахнутых на улицу окон производилась дешевая распродажа водки. Партизаны всю дорогу уговаривались бить своих выборных, но, дорвавшись до цели, забыли уговор и, сшибая друг друга, кинулись к ящикам.

Гульнули на славу.

Горе подружило Максима с Васькой Галаганом.

Проснулся Максим первым — его испугала тишина, — схватился за пояс: кобуры с наганом не было. Он огляделся... Просторная горница, в окнах зелень и солнце, на столе острыми огнями искрился пустой графин. Рядом, локоть в локоть, спал матрос.

— Э, слышь-ка, — принялся он его расталкивать, — слышь-ка, морячок!

— А! — открыл тот затекшие мутные глаза и сел. — Ты чего?

— Где мы?

— Где ж нам быть, как не у попа?

— У меня наган сперли.

— А? Наган? — Матрос цоп: кольта не было. — О, курвы, срезали!

Дверь скрипнула. В горницу заглянул поп.

— Самоварчик прикажете?

— Где наши? — грозно спросил моряк, спрыгнув с постели и став в боевую позу.

— Ушли.

— Почему не доложил, лярва?

— Будил, не добудился.

— Давно выступили?

— На заре.

— Куда затырил наши самопалы?

— Не ведаю.

— Врешь, лохмач! Вынь да выложь. — Васька уцепил его за бороду. — А также где мой карабин?

— Не ведаю, — еще смиреннее ответил поп, стараясь высвободить бороду. — Вы вчера пришли ко мне пеши и безоружны, из карманов одни бутылки торчали.

— Это хуторские хапнули, больше некому, — сказал Максим. — Они тут свой партизанский отряд собирают, а оружия нехваток... Беда, с голыми руками пропадем ни за понюх табаку.

Васька выдернул из-за голенища бомбу:

— Есть одна.

— Мало.

— Мало? — Матрос свистнул. — Да я тебе с этой самой штукой любой кубанский город завоюю. Лошади есть? — повернулся он к попу. — За лошадей мы заплатим.

— И рад бы услужить, да нету. Жена с работником на хутор за рассадой уехала.

Босая девка внесла кипящий самовар.

— Долой! — приказал матрос. — Некогда чайничать. Прощай, батя, молись угодникам за доброту нашу.

Безоружные партизаны прошли из конца в конец всю улицу в поисках подводы, но подводы им никто не дал. Изрыгая складную, как псалмы, ругань, они поку-

рили за околицей, переобулись и бодро зашагали по пыльной дороге.

Под солнцем курилась степь, свистали суслики, дремали курганы, омываемые полынными ветрами.

— Переложил, — поморщился моряк, — брюхо крутит и крутит.

— С перепою, — знающе сказал Максим. — На кружку кипятку намешай горсть золы и выпей, первое средство.

— Надо попробовать, а то несет меня, как волка. Вскакиваю ночью, сортир не знаю где, забегаю в чулан, вижу, на гвозде поповы праздничные сапоги висят... Ну, в один я напорол с верхом, а в другой не хватило.

Оба заржали так, что пахавший за версту мужик остановил лошадь и перекрестился.

Подошли, поздоровались.

— Будь добрым человеком, дай воды.

— Угорели? Пойдемте на стан, угощу.

На стану, спрятавшись от жары под телегу, пуская сладкую слюну, спала дряхлая репьястая собака.

— Што за люди будете и далече ль путь держите? — спросил мужик, оглядывая гостей.

— От полка отстали, — сказал Максим. — Не видал, не проезжали?

— Какой, дозвольте узнать, партии будете? По разговору, похоже, свои, кубанцы?

— Мы свои в доску, — ответил матрос. — У меня отец кубанец, дед кубанец, и сам я тут в окрестностях безвыездно сорок лет живу.

— Та-ак... Полка не видал, а банда у нас гуляет.

— Где?

— Вон, хуторок. Вторую неделю стоят.

— Чья банда?

— Шут их разберет. Какие-то полтавские... И с белыми дерутся, и красным спуску не дают.

Васька, скроив престрашную рожу, пропел с пригнуской:

Ох ты, яблочко
Ананасное,
К ногтю белого,
К ногтю красного...

— Так, что ли? — спросил он.

— Во, во! — обрадованно просветлел мужик. — В станице потребиловку расчудесили... Сахар, мыло, свечи, керосин — все народу даром роздали, себе только топоры и хомуты забрали. Хорошая банда, народ ублаготворяет.

Распрощались с мужиком и по распаханному полю напрямик поперли к маячившим вдали тополям. За разговорами и не заметили, как вышли к полотну железной дороги. Совсем рядом, около будки, увидали лакированный с желто-голубым флажком автомобиль.

— Стоп! — зашипел матрос. — Ложись... Штаб ихний или разведка.

Залегли и после короткого совещания, прикрываясь насыпью, поползли вперед.

В Максиме кровь стыла, ноги путались, в груди билось большое — в пуд! — сердце.

— Вася.

— Чшш...

— Вася, погибель наша.

— Отдала родная? — обернул матрос перекошенное злобой лицо. — Замри.

Подлезли ближе.

Васька осмотрел бомбу, вскочил и, подбежав к будке, метнул бомбу в окошко.

Взрыв

треск

пламя

из окна клубами повалил густой дым.

Матрос кинулся к радиатору.

Застучал мотор.

— Вались! — крикнул он Максиму, сам вскочил за руль.

Машина рванула, понеслась в горячем вихре, в кипящей пыли.

Максим от страху и удивления долго не мог ничего выговорить, потом нахлобучил шапку, откинулся на мягком сиденье и захохотал.

— Почихают... Друг, угостил. Почихают!

Галаган, припав к рулю, зорко смотрел на летящую встречь бешеную дорогу. Автомобиль шел ходко, виляя со стороны на сторону.

— Разобъемся?
— Никогда сроду.
— Чего она вихляется? Приструнь ты ее.
— Машина с капризами... Гоночная, фиат.
— Жми.
— Торопимся, как черти на свадьбу. Почихают, говоришь?
— Шарахнул, до горячего, поди, достало.

Догнали старуху. Она сбежала с дороги и нырнула было в канаву. Матрос затормозил, лихо остановил своего трепещущего катуна.

— Бабка, сюда.

Старуха подошла кланяясь.

— Куда, бабуня, божий цветочек, топаешь?
— Молочка зятю на пашню несу.
— Молоко? — спросил Максим. — Давай.

Он отпил, сколько хотел, матрос докончил и, прищурив лукавый глаз, с напускной строгостью спросил старуху:

— Сколько тебе?
— Да ничего, сынок, кушай на здоровье.
— Ну, на́ горшок.

Начали расспрашивать ее про дорогу. Она, заплетаясь с перепугу, принялась растолковывать:

— Дорожка ваша, родимые, прямым-прямешенька. Будет вам мост, а за мостом Левченков юрт, то бишь не юрт, а греческа плантация... Мост, сыночки, в позапрошлом году от грозы сгорел, нету там никакого моста... Стоит при дороге хата казака нашего Петра Кошкина, сам он еще в холерный год помер, а сыны, толсты лбы, казакуют... Будет вам колодец при дороге...

— Вижу, бабуха, ты врать здорова, — перебил Галаган. — Садись с нами, будешь дорогу показывать.

— Помилосердствуй, касатик. Мати пречистая, зять на пашне дожидается.

— Брось сопеть. — Он сгреб старуху в охапку и подал ее Максиму. — Держи!

Машина, прыгая по ухабам, помчалась. Моряк подкачивал, развивая скорость. Ветер плющил ноздрю, шумел в ушах. По сторонам, подобна играющей реке, стлалась степь. Пыль буйствовала за ними, как дым пожара.

Далеко впереди оба увидали чумацкий обоз и не

успели еще ничего сообразить, как испуганные, взвившиеся на дыбы лошади промелькнули рядом и скрылись в крутящейся пыли.

За бугром блеснул церковный крест.

— *Станица...*

Хаты,

улица,

куры и утки — в стороны.

Максим крепко держался за борта. Старуха сползла с сиденья на дно кузова и беспрестанно крестилась. Так, на удивленье жителям, прокатили они через станицу.

Машина стлалась, как птица в стремительном лете.

— Стой, дура-голова, — взмолился сомлевший от страха Максим. — Лучше пешком пойдем!

— Ты не беспокойся.

Дорога вильнула...

Машина, мотнувшись, чиркнула лакированным крылом о столб и покатилась мимо дороги прямо по степи.

Моряк к рулю — руль отказал.

— Останови, пожалуйста.

— Черт ее остановит, не кобыла! — Выказывая полную невозмутимость духа, Галаган выпустил руль, закурил и повернулся лицом к Максиму. — Горючее выкачается, сама встанет.

Машину валяло с боку на бок, из-под колес выметывались комья черствой земли.

Пересекли распаханное поле. На меже, упустив лошадей, стоял босой старик. От удивления он не в силах был поднять руки, чтоб перекреститься.

С большого разгона, ухнув, в широком веере брызг перелетели мелкую речушку.

Донесся разорванный собачий лай. Впереди качнулся курган, за курганом шарахнулась потревоженная отара, и навстречу, вырастая в угрозу, начала быстро надвигаться новая станица.

Машина, сбочившись, промызнула по косогору.

Невдалеке, раскинув сухие руки, проплыли кладбищенские кресты.

Под напором силы прущей рушились жердяные изгороди. Плетень был повален с сухим треском.

В передних шинах спустили камеры.

Автомобиль, оставляя рубчатый след на глубоких

грядах огорода, замедлил ход и уткнулся мордой в глиняную стену хаты. От резкого толчка из навесной рамы вылетело зеркальное стекло, с Васьки слетела фуражка.

Выпрыгнули оба враз.

Нахлыстанные ветром лица их были черны, а глаза полны дикого блеска.

— Номер! — скрипуче засмеялся матрос.

Из двора в огород заглянула девчонка и, взвизгнув, пропала. Потом появился нечесаный мужик с винтовкой в руках. Увидев автомобиль, он стал в оцепенении.

— Здравствуй, дядя, — миролюбиво сказал Васька.

— Вы, товарищи, или как вас... чего тута?

— Извиняюсь, — сказал Васька и пошел было к хозяину.

— Я тебе, туды-т твою, пальну вот в бритый лоб, сразу всю дурь выбью. — Он принял на изготовку и передернул затвор.

— Не смей, — крикнул Максим и вытянул перед собой руки, точно защищаясь. — Мы не с худом...

— Пошто хату тревожите?

— Извиняюсь, — повторил матрос тоном, полным сожаления. — Я сам своей голове не рад. Приключился с нами полный оборот хаоса. Ты и сам виноват: зачем хату близко к дороге поставил? За нас, между прочим, ты можешь жестоко ответить. Завтра придут полчане и поставят тебя к стенке, а шкурой твоей, ежели догадаются, обтянут барабан.

Максим, видя, что перебранка грозит им бедою, отодвинул речистого друга и, стараясь придать словам мягкость, обратился к хозяину:

— Почтенный, какое вашей станице название будет?

— А вы сами откуда? — попятился тот.

— Мы из города Кокуя, — сказал матрос и разразился похабной приговоркой, такой кудреватой да складной, что по угрюмой роже мужика скользнуло подобие усмешки. Только сейчас он заметил, что гости безоружны, и опустил винтовку.

— Какая у вас, позвольте, в станице власть будет, кадетская или большевицкая?

— Мы сами по себе.

— А все-таки?

— Я из-под Эрзерума недавно вернулся и порядков здешних знать не знаю.

— Какой части?

Фронтовик затверженно назвал номер корпуса, дивизии и своего полка.

— Сто тридцать второго Стрелкового? — обрадовался Максим. — Дак, боже ж ты мой, я сам солдат турецких фронтов... Под Мамахутуном полк ваш, ежели помните, резервом к нашему стоял, потом к левому флангу примкнул... Да я ж и комитетского председателя вашего, ну его к черту, давай бог памяти... Серомаха знавал.

Мужик перехватил винтовку в левую руку, а правую — жесткую и корявую, как скребница, — протянул сперва Максиму, потом Ваське:

— Честь имею... Лука Варенюк.

Тем временем на огород со всего курмыша набежали люди. Первыми прискакали востроглазые мальчишки, за ними — лускающие подсолнушки бабы, приплелся поглазеть на диво и старый казак Дыркач. Прибежали и бесштанные казаки в рубашонках с замаранными подолами.

Васька отжал хозяина в сторону и, играя карим, с веселой искрой глазом, сказал:

— Купи.

— Кого?

— Автомобиль.

— Шутишь?

— Никак нет.

— На што он мне?

— На базар ездить будешь, в гости к своякам, а когда вздумаешь, и бабу покатаешь.

— Ей, эдакой чертовиной, править надо уметь! — усмехнулся Варенюк и почесал поясницу.

— А мы, ты думаешь, умеем? Да ведь доехали! Плохо ли, хорошо ли, а доехали!.. — Увлекшись своей мимолетной выдумкой, матрос подвел его к машине. — Хитрости тут мало. Гляди, вот эту штуковину подвернуть, этот рычажок поддернуть — и пошла-поехала.

На моряка во все глаза, не мигая, смотрели бабы и понимающе качали головами.

Дыркач подогом поколотил по шине и сказал:

— Колеса одни чего стоят, чистая резина... Эдаки колеса да под бричку, картина...

— Картина первый сорт, — подтвердил матрос.

— А чего же вы, товарищи, или как вас там, не по дороге ехали?

— Мы-то? Мы, милый человек, сами с злого похмелья. Нас тетка везла, она и напутала. Э, мать, жива?

Из-под сиденья раком выползла и, озираясь, поднялась старуха.

Мальчишки запрыгали от удовольствия, бабы ахнули и теснее обступили машину.

— Господи Исусе, — закрестилась старуха. — Где я?

— Купи, — рассмеялся Васька, — со всем и со старухой. Задешево отдам!

— Ратуйте, православные! — завопила та и, задрав юбки, полезла через борт. — Продает, как кобылу!

— Кобыла не кобыла, а полкобылы стоишь.

— Штоб у тебя, у беса, язык отсох... Православные, далеко ль до станицы Деревянковской?

Толпа развеселилась:

— Слыхом не слыхали. Куда это тебя занесло, матушка?

— До Деревянковской, — усмехнулся в бороду Дыркач, — до Деревянковской, баба, верстов сто с гаком наберется.

— Батюшки, царица небесная, завезли, окаянные... Зять-то меня на пашне заждался.

— Не кричи, — строго сказал Васька, — куда тебе торопиться? Дойдешь потихоньку.

— Кобель полосатый, — наступала она, распустив когти. — Зенки твои бесстыжие выдеру.

Оробевший Васька пятился... Потом он протянул старухе пучагу мятых керенок:

— Получай за храбрость. Купи себе козу, садись на нее верхом и скачи домой.

Восхищенные матросским острословием, завизжали мальчишки; закатывая под лоб глаза, довольным смехом рассмеялись бабы; и старый Дыркач залился кудахтающим смешком, точно мучительной икотой...

Варенюк обошел машину, пощупал кожаные подушки сиденья, поковырял ногтем шину и пригласил гостей в хату.

— Сколько хотите взять? — спросил Варенюк, останавливаясь посредине двора.

— А сколько тебе, односум, не жалко? — в свою очередь, спросил Максим, принимавший весь торг за шутку.

— Нет, — шагнул хозяин через порог, — вы скажите свою цену.

Оставшись ненадолго наедине, Максим с Васькой схлестнулись спорить. Максим настаивал поскорее пробираться в город, заявить об автомобиле совету, разыскать свой отряд. Васька настаивал на том, чтобы задержаться в станице на несколько дней, — ему хотелось отдохнуть, погулять и вволю выспаться.

Варенюк возвратился с самогонкой. За столом, уставленным закусками, он долго еще рядился с моряком и наконец срядился. За автомобиль хозяин брался поить обоих гостей допьяна и кормить до отвала десять дней, после чего обещался отвезти их на ближайшую станцию, до которой было верст сорок.

Ударили по рукам.

Хозяин заколол поросенка, засадил в баню за самогонный аппарат дочь Парасю, сыну Паньку приказал подтаскивать сестре ржаную муку, жена растопила печь и занялась стряпней.

В задушевной беседе они скоротали остаток дня, а когда наступил вечер, ярко запылала лампа-«молния», на столе появилось жареное и вареное; по настоянию Васьки, хозяин пригласил двух вдовушек, закрыл уличные ставни на железные болты, запер ворота, и веселье началось.

Васька краснословил без умолку. Шутки-прибаутки сыпались из него, как искры из пышущего горна. Максим с Варенюком пустились в воспоминания фронтовой жизни. Вдовушки на приволье разошлись вовсю. Подперев разгасившиеся щеки могучими руками, пронзительными голосами они распевали песни о радостях и горестях любви. Моряк, не переносивший бабьего визга, затыкал певуньям рты то кусками жареной поросятины, то поцелуями. В танцах он завертел, умаял вдовушек до упаду, потом вручил одной гребешок, другой — сковороду:

— Играй, бабы! Сыпь, молодки! Без музыки в меня пища не лезет.

Давно спала задавленная ночью станица; давно хозяйка, выметав из печи все до последнего коржа, за-

брала ребятишек и ушла в чулан спать; давно угоревшую от самогонного чада Параську сменила сестра Ганка; давно заморился таскать мешки Панько; и давно уже, сунув шапку под голову, спал на лавке Максим; а Васька все еще пожирал поросятину, бросая кости грызущимся у порога собакам, все еще плясал, выкомаривая замысловатые коленца, все еще глохтил, расплескивая по волосатой груди, самогонку — аппарат не поспевал за ним: за ночь хозяин, проклиная белый свет, два раза разматывал гаманок и посылал Панька в шинок. Бабы осипли от смеху — матрос или лапал их за самые нежные места, или рассказывал что-нибудь потешное. И только под утро, высосав досуха последнюю бутылку, изжевав и расплевав последнюю ногу полупудового поросенка, Васька в последний раз на выплясе топнул с такой удалью, что из лопнувшего штиблета выщелкнулись сразу все пять обросших грязными ногтями пальцев...

— Баста! Спать, старухи.

Пьяненькие вдовушки набросили на головы ковровые полушалки...

— Куда? — спросил матрос, сыто рыгнув.

— Спасибо за компанию, пора и честь знать.

— Ах, оставьте. Ети песни соловьиные слыхал я однажды в тихую зимнюю ночь.

— Нет, уж мы, пожалуй, лучше пойдем, — сказала одна, оглядывая себя через плечо в зеркало.

— Пойдем, Груняшка, — как эхо отозвалась другая. — Все мужчины подлецы.

— Птички, — нежно глядя на них, сказал Васька. — Серый волк вас там сгребет, и достанутся мне одни косточки, хрящики...

Он привернул в лампе свет, втолкнул за перегородку в комнатушку сперва одну, потом другую, вошел за ними сам и, прихлопнув жиденькую дверку, защелкнул крючок.

...Солнце через окно так нагрело Максиму голову, что ему начал сниться какой-то путаный дурной сон. Бежал будто он по горячей земле, под ногами с жарким треском лопались раскаленные камни. Он поднялся на лавке и, стряхнув сонную одурь, стал прислушиваться... Далеко и близко на разные голоса пересмеивались петухи, заливисто лаяли собаки, над неприбран-

ным столом жужжали мухи. Полон смутной тревоги, он накинул шинель и вышел во двор.

В вышине разорвалась шрапнель. Бродившие по двору куры, распластав крылья, кинулись под сени. На улице послышался многий топот. Невдалеке кто-то закричал благим матом. Железным боем заклекотал пулемет.

Максим выглянул за ворота.

По улице, точно бурей гонимые, бежали, скакали люди в одном нижнем белье. У иного в руках была винтовка, у иного — седло, за иным волочилась шинель, надетая в один рукав.

Страх сорвал Максима с места.

Он ударился вдоль плетней с такой резвостью, что вскоре начал обгонять других.

Два офицера выкатили из-за угла каменного дома пулемет и, припав за щиток, начали засыпать бегущих смертью.

Улицу вмиг будто выдуло.

На дороге остались лишь подстреленные.

Максим плечом высадил калитку... Пометавшись по пустынному двору, нырнул в конюшню и зарылся под сено, в колоду.

Скоро послышались резкие, ровно лающие голоса и звяканье шпор.

Максим чихнул от попавшей в ноздрю сенины; его выволокли из конюшни.

Сизым острым огнем переблеснули штыки.

— Я нездешний! — крикнул Максим, хватаясь за штыки.

Прапорщик Сагайдаров саданул его прикладом в грудь и сказал:

— Сволочь, я тебе покажу...

Максим упал. Это и спасло его — колоть лежачего было и неудобно и неприятно.

Пленных набрали большую партию и повели расстреливать.

По улице в исключительно беспомощных, присущих только мертвым, позах валялись убитые. Раненые расползались под заборы.

В станицу вступал обоз.

На рессорной бричке, вольно распахнув светло-се-

рую шинель, сидел, ссутулившись, седой полковник, пепельное лицо которого показалось Максиму знакомым... Еще не припомнив, где его мог видеть, он разорвал кольцо конвоя и кинулся к старику.

— Ваше... заступитесь!

Неожиданность испугала полковника. Он откинулся на сиденье и крякнул, как селезень:

— Ак?

— Ваше высоко...

Кучер остановил.

— Что такое? — Старик запрокинул голову и оглядел солдата. — Откуда ты меня, это самое, знаешь?

— Так точно, признаю, ваше высоко...

— Кто такой?

— К Тифлису в одном поезде и в одном вагоне ехали... Я еще вашему высокоблагородию чулки шерстяные подарил.

Старик опустил голову и задумался.

Максим стоял, вцепившись в передок брички. Штык справа и штык слева касались его ребер.

Полковник так долго думал, что Сагайдаров осмелился и нетерпеливо кашлянул:

— Прикажете вести?

— Ак?.. Вспомнил, вспомнил каналью... Старший по конвою! Оставьте солдата мне, я его, это самое, лично допрошу. Захвачен с оружием? Нет? Отлично.

Кучер хлестнул по лошадям. Максим, держась одной рукой за крыло брички, побежал рядом.

Остановились перед зданием школы.

Максим с большой расторопностью принялся распрягать лошадей, причем каждую из них награждал такими ласковыми именами, которые не часто доводилось слышать от него и жене Марфе. Потом он поставил лошадей под навес, навалил им сена, перетаскал с возов в дом чемоданы и, покончив все дела, явился к полковнику, который сидел в классной комнате за партой и разбирал бумаги.

— Большевик, сукин сын? С нами, это самое, воюешь?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, я нездешний.

— Как же сюда попал? Большевик, каналья?

— Никак нет, ваше-ство, корову приехал покупать.

Полковник наклонил голову так низко, что нос его

почти касался исписанных лиловыми чернилами ведомостей. Он вздохнул, пожевал серыми и тонкими, как бечева, губами:

— Помню твою услугу, помню... Солдатики, суконные рыла, насолили мне тогда крепко... Пожалуй, они меня и укокошили бы? А?

— Так точно, ваше высокоблагородие, разбалованный народ.

— Как пить дать, укокошили бы, мерзавцы. — Он смахнул слезинку и строго взглянул солдату в глаза. — Ты, братец, желаешь, это самое, послужить родине?

— Рад стараться, ваше-ство, службу люблю.

— Отлично. С сегодняшнего дня зачисляю тебя на довольствие и прикомандировываю ездовым в обоз второго разряда. Разыщи на дворе подхорунжего Трофимова и, с моего разрешения, попроси у него шинель с погонами и ефрейторские нашивки.

— Слушаю, ваше...

— Да, это самое, раздобудь-ка мне кислого молока... Здесь покушать, и с собой в дорогу возьмем.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие, доставлю!

Старик дал ему на молоко керенку и отпустил, оставшись весьма довольным молодцеватой выправкой старого солдата.

Максим нашел во дворе подхорунжего, наскоро переоделся и со всех ног бросился по улице, держа направление к знакомой хате.

В воротах его встретила плачущая хозяйка и ахнула:

— Батюшки, в погонах?

— У нас это просто, — весело отозвался он и покосился на окна. — Я тут знакомого генерала встретил. А к вам заехал кто-нибудь?

— Бог миловал.

Максим смело вошел во двор.

Варенюк под сараем забрасывал автомобиль соломой. Увидав гостя, он бросил вилы и подошел:

— Беда... Не дай бог... Комиссар, скажут, спалят.

— Ты бы заступился, милостивец, — зашептала баба. — Куда ее девать, под подол не спрячешь...

— Будьте спокойны, — ответил Максим. — Скоро выступаем. Где мой товарищ?

— Забери ты его, матерщинника, христа ради. — Баба вошла в хату и остановилась перед печью. — Найдут его кадеты и нас на дым пустят.

— Где он? — спросил Максим, в недоумении оглядывая пустую хату.

— В трубу, сердешный, забился.

— Куда?

— Вона куда, — показала хозяйка.

Максим, изогнувшись, заглянул под чело печки, но ничего не увидел.

— Вася, — зашипел он. — Где ты, друг?

— Братишка... (Матюк.) Отогнали белокопытых? (Матюк.) — глухо, как из могилы, отозвался Васька, и в густом потоке сажи на шесток опустились его босые ноги.

— Лезь назад, — сказал Максим. — Я в плен попался и бегаю вот, ищу кислого молока, но ты, Вася, во мне не сомневайся.

— Какого молока? (Матюк.)

— Лезь выше, Христом-богом прошу, лезь выше. Скоро выступаем. До свиданья... — Он потряс друга за пятку и выбежал из хаты.

Строевые части, передохнув и закусив, уходили за станицу, в просторы степей. В полдень выступил обоз. Максим сидел на возу на горячих хлебах, во всю глотку орал на лошадей и нещадно нахлестывал их кнутом.

Через два дня, улучив удобный момент, он перебежал к красным, угнав пару коней и повозку с патронами.

1928

И.Бабель

ИЗМЕНА

«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин не отворотил озверелый мой штык и не указал ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N-ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не ненападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он над-

смехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз... И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калеченными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарищей за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки, и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть, и на горизонте полно туч.

Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как овечий помет от полкового барабана, и заместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры

подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки... Не однажды примерялись они к нам ради одежды сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И, отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани... И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые, всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой каруселе пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только, отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразуменья со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предуревкома,

мы обратили внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть... Гражданин Бойдерман кидает глазами то туда то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты... Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете Советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового, потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она, мигает нам из окошка, вот она, насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела...

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому...»

1926

С. Подъячев

ПОНЯЛ

Старик Илья Васильевич Неробков был на собрании, куда силком затащил его сосед, кум Иван Звонарев, ездивший недавно в Москву на выставку и возвратившийся оттуда другим, непохожим на прежнего кума Ивана, человеком, с каким-то особенным азартом рассказывающим встречному и поперечному про то, что он там видел, и как его принимали, и как он был на заводе, где видел и понял, что рабочие не даром «жрут» хлеб, как до своей поездки, с чужих слов, орал он, а что они работают, и ихняя работа «куда тяжелее нашей».

— Пойдем, кум, — тащил он упиравшегося Илью Васильевича, — послушаем, что человек говорить будет. Не для себя он из городу приехал, а для нас. Неловко не идти, совестно. Диви бы у тебя дела какие, а то на печке лежишь да со снохой ругаешься. Идем. Слышал я, про германцев будет говорить, какая у них там сейчас заварошка идет.

— На кой рожон мне твои ерманцы? Знаю я их, — говорил Илья Васильевич, — спасибо! Сына у меня в войну убили, а я иди слушай про них! Не пойду!

Но все-таки в конце концов кум уломал его, и он пошел с ним.

Собрание происходило в помещении исполкома. Народу собралось человек сорок. Ждали еще, но больше никто не пришел, и приехавший из уезда докладчик приступил, сделав предварительно небольшое предисловие, к своему докладу. Докладчик, как оказалось, приехал дельный. Умело, толково и просто, не пересыпая свою речь чужими, непонятными для слушателей словами, нарисовал он картину того, что теперь творится в Германии, и еще лучше и проще показал, «разжевал и в рот положил» то, почему мы должны и обя-

заны внимательно следить за работой германского трудового люда — рабочих.

Забившись позади всех в угол, Илья Васильевич внимательно слушал его, и чем больше слушал простую, понятную и горячую речь, тем все больше и больше, выше и выше поднималась перед его глазами какая-то темная занавеска, и за этой занавеской, когда наконец она поднялась совсем, он, к удивлению своему, увидал то, чего раньше до этого не видал и не хотел видеть.

А увидал он и понял, что сына его убили не те «ерманцы», такие же простые подневольные солдаты, как и его сын, а те, о ком говорил докладчик, те, которые сейчас стараются задушить и принизить таких же, как и его сын, для того, чтобы делать с ними, что им хочется, и гнать их, как «круговых овец», на убой, в огонь и в воду.

«Так вот оно в чем дело-то, — думал он, — вот им чего надо-то! А я-то, дурак, думал... Где же я прежде-то был?»

Ушел он с собрания встревоженный и пораженный тем новым, что закопошилось в его душе, и теми новыми, неожиданно увиденными им картинами, которые показал ему докладчик, открыв темную, постоянно висевшую перед его глазами занавеску.

А занавеска эта действительно висела перед ним постоянно.

Как только он, без малого шестьдесят лет тому назад, родился, так сейчас же первый повесил ее перед ним поп, после того, как выкупал зимой в какой-то лоханке, называемой купелью, наполненной холодной водой. С тех пор эта занавеска тьмы перед ним не отдергивалась, а, напротив, около нее приставлены были слуги, которые, как хорошие цепные псы, откормленные и жирные, стерегли ее, и если случалось, что находились люди, которые хотели и старались поднять эту занавеску, для того чтобы показать ему, что за ней, — на этих людей псы, караулившие ее, бросались и разносили в клочья.

Так он и жил за этой занавеской и дожил до старости, не делая самостоятельно ничего, а делая только то, что приказывали люди, караулившие занавеску.

Грамоте его не учили. «Баловство одно. На кой она

нам! Жили без нее и проживем без нее», — говорили ему, когда он был молодой, и то же самое твердил он, когда стал «тятя детям».

«Ходи в церковь, молись за царя с царицей, исправляй праздники Миколу и Ягорья, слушай и бойся начальства, начиная с урядника, живи в грязи, жри хлеб да картошку, ворочай, как лошадь, плати оброки» — вот все, что он усвоил в своей жизни, и никогда ему в голову не приходила мысль, проходя мимо барского имения, мимо барской кухни, где с утра до ночи шла стряпня и повар с поваренком, одетые в какие-то белые балахоны, стучали ножами по столу, рубя мясо, и откуда всегда шел в открытые окна завлекательный дух, заставлявший невольно глотать слюни, — никогда не приходила мысль о том, почему же это так, за какие особенные достоинства люди, которых он называл «господами», живущие рядом с этой кухней, в роскошном доме, нарядные и красивые, постоянно, изо дня в день, жрут приготовленные для них на этой кухне различные блюда, а он, Илья Васильевич, боится пройти мимо этой кухни и жрет у себя дома, в вонючей и грязной избе, какую-то мурцовку или полугнилую картошку, от которой только пучит живот.

Почему это так? Об этом он не думал и не мог думать, ибо те, которые закрыли перед его глазами занавеску, все силы употребляли на то, чтобы он, Илья Васильевич, знал, что для него так самим господом поставлено жрать картошку, а для них — все лучшее, ибо они «белая кость», а он «черная», они «благородные», а он и ему подобные — «чернять», «хамы», «подлые людишки».

И никогда также не приходило ему в голову и не казалось странным, что он почему-то быстро стаскивал со своей головы картуз или шапку, издали, еще за версту, увидя идущего барина, и отвешивал ему поклоны, на которые тот едва кивал головой и проходил мимо него, кланяющегося, так же равнодушно-презрительно, как мимо какой-нибудь паршивой собачонки.

Не удивлялся он и тому, что, например, рядом с его деревней начинались владения какой-то старой, выжившей из ума княгини, тянувшиеся и лесами, и полями, и всякими угодьями на пол-уезда, не знаемые ею, а

охраняемые и управляющими, и приказчиками, и сторожами...

Как так она владеет всеми этими ненужными ей угодьями, по какому праву, почему — он не знал, а думал, что так надо и что все от господа бога, которым его пугали и попы и все: «бог накажет», или «терпи, бог терпел и нам велел», «здесь перетерпишь, зато там, на том свете, хорошо тебе будет»... И он действительно терпел и молился каким-то своим богам, нарисованным в разных видах на досках: то бородатым, то без бороды, то изображению женщины с тремя руками, то какому-то скачущему на белой лошади всаднику с длинным копьем в руке, поражающему этим копьем в открытую пасть страшного хвостатого змея.

День за днем, год за годом тянулась жизнь его по эту сторону занавески, где все было темно, убого, приниженно, забито, и когда наконец нашлись люди, которым ценою неимоверных усилий и борьбы удалось побороть слуг, стерегущих занавеску, он, жизнь которого была сплошная тьма, ничего уже не мог и упрямо не хотел видеть, а, как выведенный из темницы на яркий солнечный свет узник, закрывался и отворачивался от этого света.

Придя к себе домой, в избу, он застал сноху свою, жену другого (первого убили в германскую войну) сына, высокую, худую, чахоточную бабу, ругавшую сынишку Ваньку, только что возвратившегося из школы, за то, что он сел за стол есть, не помолившись предварительно богу, «не перекрестя лба», как она выражалась, в угол над столом, где висело несколько штук разного калибра икон в ризах и без них.

— Чему вас учат тама, оглашенных? — визгливо кричала она так, что звенело в ушах. — «Богородицу деву радуйся» и тае до сей поры, третья зима пошла, бегаешь, не знаешь!

— Да нас этому не учат, — говорил сынишка. — Чего ты пристала ко мне? Поди сама к учителю да и скажи ему!

— А что же ты, чертенок, грубиян, думаешь, не схожу? Ища как схожу-то! Ишь ты, нахватался там! Да нешто матери-то так отвечают? Бить-то вас некому. Вон, — обернулась она к пришедшему Илье Василь-

евичу, — спроси у дедушки, что он тебе скажет про ученье-то про ваше!

— Дедушка сам читать и то не умеет, чего у него спрашивать-то? Он сам ничего не знает!

И, к удивлению снохи, дедушка, постоянно, каждый раз ругавший внука по этому поводу пуще ее, на этот раз угрюмо, точно про себя, ответил:

— И правда твоя, сынок, ничего не знаю.

Ответив так, он молча, с каким-то особенным, таинственно-угрюмым видом разделся и полез на печку.

— Что это ты? Аль тама, на собранье-то, вышло что? — удивившись, спросила сноха.

Илья Васильевич промолчал.

— Чего молчишь-то? — крикнула она. — Аль, говорю, вышло что?

— Ничего не вышло, — уже забравшись с кряхтеньем на печку, ответил оттуда Илья Васильевич.

— Аль не здоровится?

Илья Васильевич опять промолчал.

— Что это на тебя наехало? — не унималась сноха. — Подшивал бы сапоги, ничем по собраниям-то на старости лет шляться! Какого рожна там услышишь, чему научишься? Постыдился бы, диви молоденькай!

— А здесь чему у тебя научишься? — буркнул Илья Васильевич.

Сноха еще больше удивилась и, помолчав, не зная, что сказать, крикнула:

— Белены, что ли, объелся?.. Тьфу! Есть-то хочешь?

— Не хочу, — ответил Илья Васильевич и, повернувшись на бок, лицом в угол, замолчал.

Сноха поговорила, поворчала что-то и, видя, что он упрямо молчит, все еще продолжая удивляться, ушла из избы убирать скотину, сказав перед уходом сынишке:

— Сиди дома, неслух! Никуда у меня не ходи. Ишь назябся — посинел весь. Ходишь, только обувь треплешь. Шут вас возьми и с ученьем-то с вашим! Бери книжку, садись, читай, а уйдешь ежели — голову, ужо приду, проколочу до мозгов!

Она ушла. Ванька, чувствуя, что у него озябли ноги, обутые в несколько раз чиненные, с заплатками, сапожонки, быстро разулся и, боясь своего сердитого,

постоянно пробиравшего и ругавшего его «вольницей проклятой» деда, крикнул в направлении к печке:

— Дедушк, а дедушк!

— Ну что тебе? — отозвался с печки Илья Васильевич.

— У мня ноги иззябли страсть как! Я к тебе на печку полезу. Не заругаешься?

— Полезай, — опять отозвался Илья Васильевич.

Ванюшка быстро вскочил на приступку, а с нее, как кошка, вскарабкался на печку.

— Полезай к стенке, — сказал Илья Васильевич, поворачиваясь навзничь. — Лезь на меня.

Ванька перелез через него и улегся, поставив ноги подошвами на теплое место.

— Шибко, знать, озябли ноги-то? — помолчав спросил Илья Васильевич, и Ванюшка с большим удовольствием услыхал, что дедушка спросил это не так, как прежде, а каким-то другим, точно не его, ласковым голосом.

— Не особенно, дедушк!

Помолчали... Илья Васильевич покряхтел, зевнул и сказал:

— А я вот на собрание ходил. Никогда не был, а тут вот вздумал: дай, мол, схожу, послушаю.

Ванюшка молчал, не зная, что сказать на это.

— Долго слушал, — продолжал Илья Васильевич. — Дельно человек приезжий говорил. Н-да. Хорошо! Думал я, признаться, пустое дело там, языком трепать приехал, трепло, очки втирать нашему брату, ан дело-то вон какое! Лежу вот все да и думаю: правду говорил человек. Н-да! Эх, ушли мои годы, Ванюшка!

— А уж тебе небось много, дедушк, годов? — спросил Ванюшка, радуясь, что он так с ним говорит.

— Мне-то? — переспросил Илья Васильевич. — Много! Много, — повторил он с ударением. — А что толку-то? Эх-ма!

Он молчал, и долго молчал, что-то думал. Молчал и Ванюшка, слыша, как дедушка сопит носом и как у него что-то булькает в горле.

— Чему в училище-то нонче вас учили? — после молчания начал опять Илья Васильевич.

— Ничему не учили.

— Как так?

— Мы, дедушка, к празднику готовимся. Училище убираем.

— Это к какому же празднику? Словно никаких праздников нету! Егорий наш ежели — не скоро. Веденье — то же самое.

— Чудак ты, дедушка! — воскликнул Ванюшка. — Да разве это праздники? Неужели ты не знаешь — наш праздник!

— Какой такой «наш»?

— Какой, какой! Наш! День Октябрьской революции. Эва, неужли забыл? В прошедшем году гуляли. Опять теперь будем... Стихи учили. И я говорить буду. Спектакль. С флагом ходить будем. Из города гостинцев привезут. Петь будем. Приходи и ты смотреть.

— Куда уж мне! — усмехнувшись, ответил Илья Васильевич и, помолчав, добавил: — Где уж нам! Мы свое отжили. Допрежь этого не было.

— А что же было? — спросил Ванюшка.

— Что было-то, говоришь? — переспросил Илья Васильевич. — Что было-то? А вот что было. Теперь вот только, на краю могилы, я, сынок, понял, что было. Да вот он, локоть-то, близок, возьми его, а не укусишь!

И вдруг, очевидно отвечая на свои собственные мысли, заговорил каким-то странным, дрожащим, волнуясь и торопясь, голосом, от которого Ванюшке стало страшно, про то, что было. И чем больше говорил он, тем все больше и больше Ванюшке становилось страшно, а когда под конец услыхал он, что дедушка вдруг, точно побитая собачонка, жалобно затявкал, парнишка заплакал, закричал, обхватив его в потемках руками:

— Дедушка, не надо! Золотой мой, не надо! Дедушка, не плачь! Дедушка, не надо!

1923

СЫР

Моя жена очень сыр любит. «Вот, — подумал я, — где-нибудь бы фунтик достать», — но задумался: не до сыру было, когда ели мякину. И вижу, на пороге у меня стоит ходя, китаец, и в руке у него целая голова красного голландского сыру.

Поторговались немного, и сыр, такая редкость в то время, стал моим.

Весь последний месяц я обдумывал, как запаковать свои вещи, чтобы возможно было пудов шесть нести самому: извозчиков в то время, конечно, не было. Необдуманно я купил теперь еще сыр, уложить его невозможно, и так, круглый, занимает обе руки.

— Нет, — сказал я ходе, — так вещи мне на вокзал не донесть.

Спокойно ответил ходя — чудные они:

— Я помогу.

Верно, ему по дороге было. Я согласился, и мы пошли.

Вагон, конечно, красный, телячий, пришлось брать с боя. В нашей партии были винтовки, мы победили, залезли и закатили за собой тяжелую дверь — кончено! Пусть там на платформе ревет партия неудачников, нам хорошо.

— Сподобил господь, — к чему-то сказал старичок, сидящий у меня на коленях.

И только мало-мальски успел я себе пот с лица стереть и передохнуть после жестокого боя за место, как вдруг — т-р-р-р... Откатилась дверь, показались люди с винтовками. Мы было подумали — это вторая партия вооружилась, что еще, быть может, отобьемся, но их предводитель кратко и бесповоротно сказал:

— Вылезай, женский вагон.

Поняли: это власть.

— Граждане, — взревел какой-то герой, — не под-

чинимся, стой крепко на своем, все, как один, не пойдем — и крышка!

Сотни уст согласно прогремели:

— Не пойдем!

Но кто-то ближайший к предводителю, верно, узнав у него, что в составе есть пустой вагон, быстро соскочил и пустился бежать по платформе, за ним другой, третий, все, и я, конечно, со всеми под шестипудовой тяжестью вещей бежал, падал, меня подхватывали, помогали, да, помогали, все-таки это было немного человечней атаки. Итак, мы взяли второй вагон и разместились там, конечно, тесно, на полу, вплотную. Мой сосед старичок опять был возле меня и опять сказал свою поговорку:

— Сподобил господь!

И вот, чуть бы еще немного, и поехали бы — нет! Слышим — опять бегут, слышим — ревут. Глянули в щелку: вся та партия расчухала и мчится к нашему вагону. Узнав сразу нас, крикнули:

— Мости!

Показались длинные доски, и над самыми нашими головами стали мостить второй ярус.

Расселись над нашими головами, поливали сверху, посыпали подсолнухами. Новая партия прибыла с досками, и опять был голос:

— Мости!

Расселись на третий ярус, остальные полезли на крышу, и она затрещала под тяжестью четвертого яруса.

Я сидел в самой гуще посередине пола, и, когда намостили третий ярус, темно стало, хоть выколи глаз. Мне было, будто повесил я петельку сердца своего на гвоздик, а все остальное — ученость свою, идеи, тело, вещи, — все это брошено как-нибудь. В сердце же моем была жена, ребятишки и с ними такой покой, такое блаженство, и будто бы я им прежде всего по приезде показываю сыр. Так было в сердце, но мысль, как разделенная часть змеи, сама шевелилась, в той отдельной части было:

«Если ты вместе с китайцем едва мог дотащить свои вещи, то как же теперь их один дотащил?»

Взыгралось мое сердце и соскочило с гвоздика:

«Ты сыр забыл в том вагоне!»

Я вздрогнул, но у меня счастливая натура, потерянное всегда открывает во мне новую цельную почву, я посмеялся над пустяками и сказал соседу моему, старичку:

— А сыр-то я забыл в том вагоне.

Эти слова меня погубили: мой сыр, круглый, красный, был очень заметен, сыр, целая голова в такое время, — какое счастье! Кто его не видал, кто им не любовался! Не успел я сказать «забыл», кругом меня ахнули, по всему темному подполью побежало «сыр забыл», и ко мне вернулось решение — приговор, бесповоротное, неизменное:

«Бежи!»

Будь у меня вторая голова сыра, я охотно отдал бы ее, чтобы вернуть назад вылетевшие у меня о забытом сыре слова, только бы не двигаться, только бы сидеть.

Я пробормотал какую-то нелепость, что теперь уж поздно, теперь мне не пролезть, и на эти слова весь муравейник закопошился, открылось свободное место передо мной.

— Бежи! — повелительно крикнул кто-то сзади и с силой толкнул меня вперед, и там тоже пропихнули, и если бы я теперь пожелал вернуться назад, мне пришлось бы бороться с силой всего вагона или бы истеричным голосом крикнуть: «Не в сыре дело!» — и получить прощение, как дурачок или сумасшедший. Я предпочел отдаться воле народа, полез, давя женщин, детей, дверь сама откатилась, и, как бомба, я вылетел на свет, на платформу.

Все было так на платформе, как бывает в последний момент отхода поезда. Но я сразу узнал тот женский вагон, схватился за ручку, и мужской голос изнутри мне крикнул:

— Нельзя! Вагон женский.

— Сыр, — крикнул я, — сыр забыл!

Дверца откатилась.

— Сыр здесь, товарищ, — сказал военный человек, — ваш ли он?

— Его, его! — крикнули из вагона.

Все знали по сыру меня.

И я видел, как там, внутри вагона, быстро запрыгало круглое, красное, понеслось над головами; военный у двери ловко его подхватил, поддал вверх, как

лаптой, и я бы, конечно, схватил сыр, но как раз в этот момент свистнул паровоз, рука моя дрогнула, и сыр, упав с платформы под колеса, весело покатился внизу под рельсами.

Я сделал движение бежать к своему вагону, но это мгновенно заметили, и опять, как тогда стало, будто сыр был не мой, а государственная или общественная собственность, порученная мне на хранение, мне крикнули неумолимо и строго.

— Куда, куда, лезь, успеешь!

Десятки людей стояли у двери, и, брось я сыр, как хотел, все бы эти десять ринулись под колеса...

— Успеешь, успеешь, — очень спокойно, со знанием дела, как-то хорошо, почти по-родственному говорили мне сверху.

Все это было, конечно, одно мгновение, сыр еще двигался, когда я схватил его правой рукой и, прижимая к груди, левой подперся о каменный выступ платформы и выскочил.

Отечески спокойный голос был сверху:

— Вот видишь, успел.

Из глубины вагона были голоса:

— Поймал?

Отеческий голос ответил:

— Выбрался.

И поезд тронулся.

О, как страшно было наяву исполнение моего повторного через всю жизнь кошмарного сна.

Будто бы загорается край неба, начинается светопреставление, архангел трубит в последний раз последнему поезду, праведники, ликуя, глядят в окошки, а я чемодан-то свой сунул, чемодан мой на поезд приняли, а меня не пускают. Я бы согласился с радостью гореть на земле вместе со своими бумагами, но так, чтобы праведники мои бумаги читали на небе, а я один без дел своих, без дум, голый горел на земле, — нет, нет...

Ужасный сон исполнялся, поезд двигался, я рядом бежал, прижимая к груди дурацкую голову голландского сыра.

Был один момент, дверь вагона была у самого конца платформы, после которого начиналась земля, и тогда бы там, снизу, уже невозможно было бы вскочить в очень высоко поднятую дверцу товарного вагона, но де-

сятки рук меня отдельно и сыр отдельно подхватили, и потом в темноте, как самодвижущийся танк по трупам, я полез и остановился на своем месте. Сыр двигался отдельно, и, когда я прибыл, старик держал его на руках, как ребенка, и ласково говорил мне:

— Вот и сподобил господь!

Нет, я не завидую тому, кто в том году не испытал этих ужасных путешествий и избежал слепой пропасти жизни. На верхней полке яруса умирал, хрипя, человек, в углу на среднем — рожала женщина, в щелки сверху лилось и сыпались подсолнухи. Двадцать восемь часов в полной тьме я лежал, задавленный чужими вещами, и одна радость была — зажечь спичку и покурить. Один раз при вспышке света я видел, как задремавший старик держал мой сыр. И что меня поразило, в лице его была совершенно материнская улыбка. Я не пытался взять у него сыр, для меня сыр перестал существовать как моя собственность, не я спасал его, сыр в моем кошмарном сознании принадлежал всему народу. Другой раз, помню, какой-то человек наклонился к старику, взял у него сыр, поднес к уху и стал нажимать, как арбуз.

— Хлюпает, — сказал он.

И передал другому любопытному, и тот тоже, выслушав, сказал:

— Здорово хлюпает.

После того сыр не возвращался в нашу сторону, и я, решив, что его съели голодные, забыл о нем совершенно.

После двадцати восьми часов полной тьмы, корчей и страшной вони — как было радостно выйти на волю: каждый листик на дереве мне казался живым существом и все дерево — большим государством зеленых жителей, я шел под солнцем в большой толпе, и шестипудовая ноша моя в то время была мне легче. Вдруг кто-то крикнул:

— Эй, ты, в шляпе, стой!

— Стой, стой! — кричала масса голосов.

Я оглянулся и увидел: над черной толпой под солнцем, как огненный пал по суходолу, летит прямо ко мне от руки к руке мучитель — мой сыр.

1924

Н.Ляшко

ЖЕЛЕЗНАЯ ТИШИНА

1

В черной короне заводской трубы торчит шест с паутинными останками красного флага. Водружали его весною, после свержения царя, под радостные крики и песни. Он дерзко бурлил комочком ликующей крови, видный полям, лесу, деревушкам и городу. Ветер издырявил его, рассек, разорвал на ленты и унес в просторы.

С тех пор воронье садится на трубу, чистит о шест клювы, каркает и заглядывает в зев, откуда десятки лет вдаль и ввысь косяками неслись клубы дыма. Рабочие ушли воевать, и завод сковало молчание.

Стеклянные крыши уже дырявы. Через дыры, из протемей, глядят в небо недвижные трансмиссии. Дождь и снег изранили серебряные от объятий ремней шкивы. Суппорты станков прилипли к сухим станинам. Суставчатая рука электрического крана заломлена и беспомощно свешивается на разметочную плиту. На постели большого строгального станка развалившимся костяком сереют ржаво-пыльные болты, угольник, планки и гаечный ключ.

В гитарах самоточек дрожат запорошенные снегом тенета пауков. На валах короста застоя заволокла следы резцов. Со сверкающих граней винтовой резьбы немота слизала масло и закруглила их ядом ржавчины.

Со стены тускло глядит давняя побуревшая надпись: «Хоть шторы повесьте, душно!» Стены не изменяют. Снаружи их изранили пулями и снарядами. Сколько веры, болей, радости и гнева взрывалось в них!

Эй, каменные, помните?!

Вон там, в углу, среди револьверных станков и американок, под свист ремней и журчанье шестерен украд-

кой шелестело прокламациями и книжками целое поколение. Налетевшая буря, как семена пахарь, разбросала его по земле. Чует ли оно тоску застуженных колес и рычагов по бегу и теплу мускулов? Постель шершавого теперь строгального станка не раз служила ему трибуной. С суппорта, словно с ворот, не раз свешивалось знамя с золотыми, молнией зовущими в бой, бессмертными словами...

2

У котельной мастерской под ветром гудят недоделанные котлы. В оскал разбитой рамы зияет исполосованная столбами света полутьма. Среди прессов поюще свистит ветер. Ржавый пол в алмазах изморози. Из снежных наметов выглядывают козлы, гнутое железо, ручные горны...

На стене, под буро-красным валом трансмиссии, чернеют пятна. Это — кровь слесаря. Муфта болтов схватила его сзади за куртку, и он распято кружился на валу, бил ногами по острию винта гидравлического пресса и кропил кровью и клочьями мяса стену, пресс и пол. В сумерки его снимали с железного креста. На сколоченном наспех столе блестели икона, евангелие. В пустоте котлов рыдающе билось заупокойное пение. Свечи дрожали в окрашенных железом руках...

3

Со стены заколоченной кузницы сквозь узор мороза на котельную мастерскую глядит седой мирликийский Николай-чудотворец. В честь его 9 мая, каждый год стены кузницы украшали ветками кленов, берез и осин, а пол устилали травой с красными каплями клевера. Голосили блистающие парчой попы и дьяконы, пели певчие. Сгибались исполосованные 1 Мая нагайками спины. На головы и наковальни, на печи, паровые молоты и горны с кропила летели хрустальные брызги свяченой воды.

После молебна толпа, вытянувшись, шла от заводских ворот к городу. На ходу от нее отделялись те, кто не верил в молитвы. Двойками, тройками они шли через поля и в лесу справляли свой молебен. Из зелени

взмывала к небу и катилась по просторам пламенная песня.

Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Вставай на врага, люд голодный...

4

Среди двора ворохом желтеют из-под снега ржавые бандажи и еще не дрожавшие под паром цилиндры.

Электрическая станция — заснувшее сердце завода — приплюснулась в снега. Сирены — голоса, что сзывал на труд и бой, что плакал вместе с рабочими от ярости и боли, — нет, — снята и бог весть где.

Барьеры у ворот сломаны. В проходной конторе передняя завалена изрубленными стропилами и козлами, — как искрошенные кости, глядят они на огонь в печи и ждут... своей участи.

Дремлют сторожа. Снаружи доносится звон выдуваемых ветром стекол. Проходная глядит заледенелыми окнами на сугробистый двор и бредит днями, когда она дрожала от ударов паровых молотов, от грохота кувалд, гуда, лязга и свиста. Порою голоса железа обрывались в неурочный час. Из мастерских потоками выплескивались синие блузы и преображенные лица. Дребезжали звонки, скрипели ворота, въезжали казаки, ротами проходили солдаты, поблескивая штыками. Звучала команда, свистели нагайки. На казачьи головы от мастерских летели гайки, болты. Лошади шарахались и испуганно ржали. А в потолки мастерских билась тысячеголосая песня...

5

Против завода торчат остовы бывших лавчонок, а дальше ютятся вереницы мазанок, домишек. В них остались старики, вдовы, калеки да те, кому своя убогая мазанка милее городских домов. Они на салазках возят из леса дрова, скорбно сносят насмешки над немым заводом и хмурятся, когда крестьяне сворачивают к проходной конторе и на зерно, на мясо выменивают у сторожей вынутые из окон стекла, куски железа и жести...

В сумерки жены сторожей на салазках привозят еду, а обратно везут выменянное и куски распиленных балок, стропил. Вслед им от домишек несется брань...

6

Ночь слизывает со снегов голубые сумерки, и тогда от ближних деревень, от города к заводу подкрадываются тени. В одиночку и стаями они ломают заборы, будки, навесы и рвут остатки проводов. Сторожа кричат, стреляют, — тени прячутся и ждут... Обессилев, сторожа машут руками и, увязая в снегу, бредут в тепло.

Завод глядит в зернящееся звездами небо и стонет, охает. Трещат выламываемые доски, падают столбы и с шорканьем уползают к дороге.

Ветер гонит в пролом снег, через выбитые и вынутые стекла вдувает в мастерские поземку и стонет там, пока не разобьет о железо...

Ржавчина, тление и тени точат завод...

7

Иногда со стороны города появляется автомобиль с красным флажком. Он пролетает мимо домишек и останавливается у ворот завода. Люди в шинелях и кожаных куртках идут со сторожами по протоптанным тропам в мастерские. Шаги звучат твердо, по-хозяйски, но тишина стылого железа будто каменит их. Прибывшие вслушиваются в нее, дивятся проломам в заборах, через которые на завод наступают поля, слушают жалобы сторожей на ночные тревоги, идут в проходную, а оттуда за ворота...

Сторожа взглядами провожают автомобиль с дрожащей на ветру крапинкой крови и разводят руками:

— Чудаки, право... И чего ездят? Чего пишут?.. Ведь заводу конец, что с ним теперь сделаешь? Хм...

8

Но порою давящая завод тишина испуганно вздрагивает и шарахается на поля. Мастерские играют гулкими переливами голосов железа. Отдыхающее на ко-

роне завода воронье вздрагивает и с карканьем летит прочь.

Сторожа бегут к мастерским и через окно видят в котельной человека в коротеньком тулупчике, в обшитых кожей валенках. Он бьет кувалдой в старый котел:

— Бум!! Бум!! Бум!!!

Это бывший молотобоец Степа. Он вкось загадочно глядит на сторожа и едко спрашивает:

— Что, испугались?

— Брось, Степа! Только беспокойство делаешь...

— Беспокойство-о... — передразнивает Степа. — Вам бы, тихеньким, обобрать завод... ловкачи!

Сторожа пробираются к нему и норовят отнять кувалду. Он убегает за прессы, за котлы, через окно выбирается наружу и ехидно кричит:

— И мою кувалду на пшено променять хотите?.. Ого-о-о-о, воровское семя!

Котлы обрадованно хором повторяют его смех, а через минуту железо вскрикивает под кувалдой за кузницей. Звуки крепнут, разбегаются окрест, настораживают поля. Из домишек обрадованно выходят люди:

— Опять Степушка глушит...

— Ого, вроде настоящая работа началась...

Но никнет кувалда, и завод вновь сковывает тишина. Степа идет по проложенной тропе на дорогу и оттуда вслушивается. Машины, станки, котлы с новой силой гнетет тишина.

— Не убережешься... Эва, как растащили...

Тоска немого железа идет за Степкой в домишко, но и там не дает ему покоя. Он вновь бежит к заводу, бранится со сторожами, грозит им страшной карой, распалившись, шагает в город, врывается к председателю Совета, кричит о заводе и выходит наружу. Кивает знакомым, радостно говорит, что мастерские скоро оживут, загудят, с улыбкой возвращается к заводу и даже во сне размахивает тоскующими по работе руками и кричит:

— Эй-эй, заклепки сжег! Держи оправку! Бей, бей!!!

1919

Вс. Иванов

ЛИТЕРА Ъ

Иван Семеныч Панкратов любил беззаботно повторять, что и умрет-то он, стоя за реалом, и что труп его вынесут из типографии, как букву вынимают из набора: лбом к стенам, а не к потолку... Приятели по работе уважали его за эту беззаботность, бодрую тучность, веселую седину и за те пять морщин, которые, как шрамы, пересекали его розовое лицо и говорили, что человек с такими морщинами видел много ветров и много солнца. А солнце в Туркестане тяжелое, едкое — давно уже Иван Семеныч стал замечать, что зрение его слабнет, мир тускнеет: исчезают веселые облака, рано наступает серый вечер. С табличного набора его перевели на афиши, но и тут он делал много ошибок, — перед ним извинились, поручили ему раздавать оригиналы и разбирать. Но и тут Иван Семеныч не упал духом, он только заявил, что, видно, от старости руки трясутся, а про глаза умолчал. В жизни он, казалось, о многом молчал (хотя думать под такой жарой об этом некогда, да никто особенно и не думал о характере Ивана Семеныча). Говорил он хвастливо, например, что жена его, покойная Елена Александровна, была хозяйственная женщина, домоседка; а Елена Александровна от водки сгорела: померла возле Амударьи у рыбачьего баркаса. Дочка, Машенька, уродилась в мать: и выпить и погулять мастерица, хроменькая, несчастненькая, будто лицо как-то вбок, рост и характер козлиный, — и почти со всеми парнями городишка П. спала и пьянствовала! Машеньку Иван Семеныч тоже уважал безмерно, тоже добродетелями ее хвастался!

За такую беззаботность его, за душевную, так сказать, красоту приятели жалеючи (перед тем как Иван Семеныч начинал разбор) подкладывали в клеточки

касс темные бумажки. Иван Семеныч разберет заданный урок, а приятели утром велят выгрести буквы, бумажки возьмут — и снова переберут его работу, потому что, по слепоте своей, Иван Семеныч буквы путал и кидал не в те клеточки, где им надлежит бывать: кинет литеру «к» в свою клеточку, а она рядом упадет — в «л». Вновь поступающих рабочих Иван Семеныч не терпел: к лицу привыкнуть трудно, лицо как бы в синей мгле, а по голосам... Голоса, по правде сказать, на эту дикую окраину, перед самой Хивой и пустыней Кызылкумы, попадали худейшие, хриплые, пропившиеся, без всякого уважения к сединам. В молодости Иван Семеныч и сам мало уважал седины, а теперь думал иное, так как чувствовал себя человеком, работником, полезным для земли и для дочери своей.

В день, когда начинается рассказ, на работу первый раз вышел наладчик Мишка Благовещенский. Паренек это был молодой, лет шестнадцати, дошлый, с гнилым дыханием и весь как бы прогорклый. За свою короткую жизнь он успел уже объехать всю Россию, побывал и в столицах, лихо пил пиво, таскался с бульварными девчонками. Он сразу познакомился с Машенькой, сводил ее гулять в городской сад, пощупал в темной аллее и очень обиделся: она отказалась с ним спать, она почему-то решила, что Мишка болел дурной болезнью, и Мишка догадался об ее мыслях. Мишка обиделся на нее, на Ивана Семеныча, работать явился злым, к тому же в городе поговаривали, что со стороны пустыни ведут наступление басмачи с атамановцами и что руководит наступлением атаман Кашимиров (офицер, даже в Туркестане прославившийся своей жестокостью), — а Мишка был трус, хвастался трусостью, и поэтому никто его трусости не верил. Пришел он в типографию рано утром, мальчишка-подручный уже сбирал перепутанный разбор Ивана Семеныча; мальчишка пожаловался на свою унизительную участь. Мишка встретил Ивана Семеныча язвительным воем. У Ивана Семеныча была легкая, уверенная походка, он остановился на пороге — белое крыло седины поднялось выше косяка дверей.

Тогда метранпаж Ершов отозвал Мишку за машину, поднес к его носу пропитанный скипидаром кулак и свел коротенькие сердитые брови. Мишка смолк. Иван

Семеныч понял, что Мишке не дали говорить: он боялся и желал того, что ему могли выкрикнуть.

Был пасмурный, низкий день. Две недели уже шли дожди. Из-под почвы сквозь песок выступили глины с отвратительным затхлым запахом. Медленно по течению Амударьи к городишку П. спускался пароход «Волна революции». Пароход наполняли две роты красноармейцев, полевые орудия и снаряды. Пароход шел на помощь, потому что действительно из пустыни на городок шли басмачи. Спускался же он медленно оттого, что река Амударья, текущая среди песчаной пустыни, часто меняет русло, на ней много перекатов, мелей, течение ее стремительное, опасное, к тому же бандиты уничтожили на перекатах бакены, да и бакенщиков давно не осталось на свете. Ночью пароход бросал якорь, и каждую ночь поднималась брань: солдаты требовали, чтоб пароход все-таки шел!.. Да и верно, спать было более опасно, чем идти. Каюки басмачей не слышны: в камышах шелестит ветер... Пароход тушил огни и проверял затворы. Наконец солдатам сообщили, что до городка остается каких-нибудь верст десять-пятнадцать. Но начался крупный дождь, небо потемнело. Буро-желтые песчаные холмы окружали стремительные воды Амударьи.

На одном из холмов виднелось огромное голое дерево, украшенное вороньим гнездом. Матросы высадились на берег, взобрались на холм. Ворон не пускал матросов на дерево, налетал несколько раз (подле дерева валялись щиты молодых черепах; воронята, видимо, питались ими), сверкнула молния — и тогда осторожный матрос выстрелил в ворона — и гром заглушил выстрел. Бесконечная голубовато-бурая равнина, покрытая гравием, расстилалась перед ними. Еще дальше виднелись фиолетовые холмы: ничто не напоминало им о городе. На душе у команды было смутно. Долго спорили они тихими голосами — и все же решили кинуть якорь. И тогда гнилые запахи подпочв, словно вдруг всплыли тысячи трупов, дохнули на них с берега. Туго натянувшаяся якорная цепь дрожала на мелких и злых волнах. Река, мутно-желтая, тяжелая и холодная, стремительно неслась мимо!..

В городке ревком уже давно ожидал парохода, уже второй день пристань была украшена мелкими крас-

ными флажками (они уже успели полинять, и свирепый дождь частью оборвал их). Половину городка населяли казаки, и ревком опасался, что они могут перейти на сторону басмачей, и (в то время как остальное население было мобилизовано) боялись призывать казаков к защите. Казаки, несмотря на дождь и слякоть, ходили увешанные оружием, с песнями и гармониками, привезенными с фронта, — и все это еще более увеличивало беспокойство. И сидящие в окопах, за городом, перед лицом пустыни, больше всего смотрели на город, тоскливо слушая его тишину. В пустыне было темно, сыро, она походила на огромный грязный вагон.

Дальше, десятка за два верст, среди холмов, связав вершины нескольких кустарников, укрыв их попонами и чепраками, спали басмачи; атаман и генерал Кашимиров был среди них. Вот они прошли почти через Кызылкумы, город уже был неподалеку, а за ним Амударья и за нею благословенная, благоуханная Хива! Все ж и басмачи и атаман Кашимиров думали, что веру, как пух, поднять можно, а через голову перекинуть нельзя. Они верили в силу города! Наконец они поймали киргиза, бродячего певца уянчи, пробиравшегося из Хивы в Бухару, и певец, склонный к преувеличению, сказал им, что русские третий день уже отводят Амударью в сторону, что у русских непередаваемая даже в песне сила, что это великие богатыри; здесь атаман Кашимиров выстрелил певцу в рот. И тогда басмачи решили, что певец-уянчи подослан, шпион; сверкнули мокрые уключины; седла звякнули стременами. Басмачи понеслись на город.

А город действительно, под дождем, в грязи и слякоти, третий день рыл канал. Пароход «Волна революции», кинувший якорь в пятнадцати верстах от города, вдруг ночью пошатнуло, команда спросонья открыла было огонь. Плеск вод прекратился, и дождливым утром солдаты увидали, что река отошла в сторону на сто саженей. Пароход неуклюже торчал в тине. Увязая по колено в грязи, матросы стащили лодку в реку. Коряги, тинистые и черные, торчали округ. Громадные рыбы, не успевшие скрыться, тускло трепетали под дождем в крошечных лужах. И это было все, что осталось от реки! Матросы с матерками гребли к городу.

И вот тогда ревком объявил добавочную мобилизацию, конфисковал лопаты и кирки. И все ж, даже теперь, ревком не решался мобилизовать казаков. Неумело выстроившиеся отряды направились рыть канал, дабы пропустить воду к пароходу. Моросил дождь, и было такое низкое серенькое небо, словно небо это было не над блистательным и ярким Туркестаном, а над тусклыми российскими болотами. В типографии было холодно, шрифты слиплись, потому что смывать краску было нечем: ни скипидара, ни керосину. Краска застыла; валики машины прыгали по шрифту, не прилипая. Рабочих увели рыть канал, остались только Иван Семеныч да Мишка.

И по-прежнему Иван Семеныч бодро ходил среди реалов, заложив за спину руки, покашливая и жалея, что некому рассказать пришедшие ему в голову занятные истории. Мишка, дабы его не мобилизовали, расковырял гвоздем ногу на взъеме, хромал, злился и резал узкие ленточки бумаги, чтобы ими переклеить крест-накрест окна: стекла тогда от бомбардировки не лопаются. Иван Семеныч побродил-побродил (Машенька, несшая картошку к обеду, долго что-то не являлась), — он посмотрел на стекла и сказал, что давно пора б вымыть — больно уж тусклы! Мишка огрызнулся: стекла мыли только утром, да и дождь их плохо моет, что ли! И он вдруг кинул полоски бумаги на пол, завизжал — вся ругань, накопленная за годы великих войн и революции, вывалилась у него изо рта. Он вытер губы; ладонь была мокрая, длинная. А старик все беззаботно смотрел в сторону, в окна, которых почти не видал: он ждал дочери. И тогда Мишка закричал ему правду об его дочери и, закричав, сам понял, что если еще можно было уязвить старика слепотой, то теперь-то совсем не поверит Мишке. И он, точно, сказал, что Мишка зря клевещет на дочь; девка верная, честная. Откуда Мишке вдруг знать о том, что неизвестно всему городу? Откуда у него такие сведения? Старик даже возвысил веселый свой голос. Мишка собрался крикнуть что-то необычайно обидное, но здесь в дверях типографии показался военком города Тулумбаев.

Тулумбаев, сутулый и решительный человек, страдавший некоторым излишком красноречия, на пороге

попросил слова. И просьбу его Мишка принял как насмешку. Он обиженно ушел за машину. Военком, держа в руках аккуратно переписанный лист бумаги, сказал, что, по полученным сведениям, басмачи и атамановцы под предводительством генерала Кашимирова наступают на город со стороны пустыни и будут у окопов не позднее как через полтора-два часа. Ревком заявляет рабочим типографии: в их руках судьба города. В казачьем клубе объявлен митинг, но казаки не придут, если по городу не расклеить воззваний, в которых приводится текст телеграммы из центра, уравнивающей в правах на луга и покосы казаков и туркмен (такой телеграммы ревком не получал: он сам сочинил ее!). К пароходу за рабочими не успеть, да и некому ехать, — надо говорить, действовать! Казаки боятся обмана, они боятся, что на митинге их могут перearестовать. Тулумбаев взглянул на часы: он говорил пять минут, ему показалось, что этого довольно, он передал оригинал воззвания старику.

— Когда явиться за напечатанными воззваниями? — спросил он.

И старик ответил ему:

— Через сорок минут!

Военком пожал ему руку, дотронулся до козырька и, щеголяя решительностью своих движений, быстро вышел. В окна все еще сыпал мелкий дождь, было тихо, но в городе уже началась ерунда: пулеметами не знали кого защищать: то ли исполком, то ли их утащить в окопы, за город. Поперек улиц протягивали проволоку. Хроменькая Машенька спала с солдатом в будке, недалеко от местного музея географического общества. Из музея тащили старинную пушку. Машенька вспомнила и предложила зарядить ее упраздненными буквами (на упразднение «ѣ» и «ъ» утром сетовал отец: он требовал завитков в жизни), никто не понял ее: зарядили гвоздями. На улицах засверкало битое бутылочное стекло, появились стулья, раскиданные — все наивные устрашения для конницы.

Иван Семеныч стоял с оригиналом в руках и видел перед собой твердое серое полотно с ровными строчками. Шея непонятно ныла и остро кололо в вис-

ках, так остро, что трудно было повернуться. Мишка, дыша гнилью, мотался перед ним и жалобно и злобно (уже сам страшась своих выкриков) стучал каблуками. Он кричал, что не хочет из-за такого старого черта, всегда притворявшегося наборщиком, из-за побирушки и сволочи, — он не хочет быть расстрелянным! Ему жаль, он страдает оттого, что не вздумал вовремя хоть сколько-нибудь подучиться набирать, хоть бы кассу немного знал! Мишка, задыхаясь от злости, схватил Ивана Семеныча за руку: кисть была длинная и неимоверно тяжелая. Мишка подвел старика к кассе, обежал кругом реала напротив, — облокотился на выпачканное краской дерево — упал на него грудью и опять завопил:

— Расстреляют, прирежут из-за тебя, сука! Свои же расстреляют. Набирай!

Бумага сухо свертывалась. Строки стыли, исчезали. И тогда Иван Семеныч вдруг вспомнил, что ему очень нравится уха из окуней, пирог с калиной, печенная в золе картошка и когда-то давно он любил французские булки. Вспомнил, как недавно умершая старуха, уже перед самой кончиной, глядя на него жалобно, сказала, что «ты вот, Иван Семеныч, как овод: летишь по-птичью, кричишь по-бычью», — а что дальше... слезы показались у нее на глазах. Тогда эти слезы сильно удивили Ивана Семеныча, и он их понял так, что старухе не хочется помирать, жалко расставаться с жизнью. И вот теперь, держа в руках оригинал, текста которого он не видел, он понял, как долгие годы он обманывал себя и как его обманывали и жалели. Понял многие разговоры, понял, почему так мало всегда было разбору и почему наборщики говорили, что мало работы и что он, Иван Семеныч, может отдохнуть, может идти. Иван Семеныч уходил, гулял по городу и думал: какая у него легкая и достойная старость. И еще он понял, какая была скучная и грязная жизнь, если его, старого болтуна и хвастуна, держали неизвестно за что в типографии, работали за него, кормили его и его дочь... А теперь из-за его беспомощности, из-за его... Здесь он вспомнил свою дочь, вспомнил, как часто пахнет от нее водкой... сердце его устало рванулось.

Мишка все еще орал:

— Набирай, набирай!.. — Ругательства его были неистощимы.

Иван Семеныч неистово дернул кассу: третью по счету сверху. Реал пошатнулся. Он выключил верстатку на десять квадратов: выбросил кассу на реал (несколько квадратов выпало). Он сразу схватил букву «Т», — так начинались все воззвания, и ему показалось, что взял он не букву «ты», а другую, перед ней или рядом с ней. Он взглянул на литеру. Литера была холодная, тяжелая и тусклая, как бы совершенно сбитая, стертая. Он беспомощно взглянул на окно, и окно было стертое, в розовой мерцающей паутине. Он совсем близко к глазам поднес литеру. Он видел: неясный овал блестел в его гладких, туманных и как бы помолодевших пальцах. Литера упала к нему на ладонь. Ничего! Верстатка затряслась в руке! И тогда он почувствовал легкий озноб в пальцах ног. Озноб этот все увеличивался, сначала он походил на то чувство, которое испытываешь, когда отсидишь ногу, затем нога совсем омертвела, и только дрожала в ней какая-то тугая и необычайно горячая жила. Дальше озноб кинулся в икры, охватил всю ногу. Живот обдало волнистым и тяжелым пламенем. Горло у него пересохло; губы далеко ушли в рот, тогда мозг его запылал, необычайная радость, такая, какой он не испытывал с детства, да и то воспоминания об этой детской радости были и по сие время неясны и необъяснимы, — эта радость вдруг выпрямила его. Слезы покатились у него из глаз! Литера из ладони опять вернулась в пальцы, в упругие пальцы, и он увидел теперь, и он вспомнил только теперь, как давно он не видал морщин на своих пальцах... Как давно!.. Но ему некогда было вспоминать, потому что он явственно разглядел, что из кассы он взял не литеру «Т», а литеру «С», лежащую рядом. «Ошибка», — сказал он вслух, кинув букву обратно, и твердыми пальцами, описывая полукруг перед верстаткой, принес литеру «Т», за ней «О», за ней «В» и так далее...

Тогда наладчик Мишка медленно отошел от реала, боязливо оглянулся, попробовал подумать о старике что-то обидное, получилось только ругательство; он не осмелился выругаться. Мишка зачем-то пригладил волосы и начал приготовлять марзаны для заключки на-

бора в раму. Рама вставляется вместе с набором в машину — и можно печатать. Раму он сначала выбрал самую новую, а затем осмелел, ехидно подмигнул самому себе, — дескать, знаю — старик-то лодырь: как ловко всех обводил!

И взял раму самую грязную и заржавленную. Иван Семеныч, все еще чувствуя необычайную свою радость и даже мучаясь от этого (грудь слегка покалывало, и болели виски), поспешно выставлял одну верстатку за другой. Ему показалось, что он пропустил слово, он проверил, перечел — все было в порядке. Он опять стал набирать, и опять казалось, что слово, теперь уже какое-то необычайно важное слово, пропущено. Он сплюнул, досадливо завязал шнурком набор, кинул его на талер и схватился за рукоятку, чтобы повернуть машину и чтобы валики накатали на буквы краску. Руки его были мокры от пота; пар шел от лица.

— Крути! — закричал Мишка, кладя на барабан под зубцы лист обойной бумаги (воззвания печатались на обоях). Иван Семеныч увидел оттиск набора. Сколько лет он не видел оттисков своего набора? Ему некогда было вспоминать. Мишка визжал:

— Читай корректуру, дядя!

И он увидел опечатку: вместо слова «смертельная» стояло «смиртельная», он схватил шило, дабы выдернуть букву из набора, заменить ее другой, но здесь острие шила исчезло из его глаз, затем он потерял рукоятку, пальцы его пошли в туман, рука исчезла. Он выронил шило и, крепко схватившись за рукоятку машины, огляделся. Типография скрылась. Мутно-багровый туман был его миром. Он сказал:

— Накладывай, Мишка.

Мишка свистнул, приказал ему крутить. Вскоре прибежал за воззваньями солдат, их отдали все — семьдесят штук, себе забыли оставить. А через полчаса казаки наполнили окопы. Пулеметы обратили жерла свои к пустыне. Басмачи отступили. А еще через пять часов пароход вышел прорытым каналом в Амударью. Весь город встречал пароход. Вывели встречать и Ивана Семеныча, под руки (он и сам не заметил: как и зачем). Казаки стройно и, должно быть, с неко-

торой хвастливостью кричали пароходу «ура!». Все еще шел дождь, и мелкие капли падали на лицо Ивана Семеныча. Кто-то спросил его: «Видишь, пароходище-то какой агромадный!» И он ответил «вижу», хотя перед ним стлалась бесконечная туманная пелена и посреди нее блестящий крошечный кружок — солнце.

1926

С. Колбасьев

ПОХОД «РЕВОЛЮЦИИ»

1

— Военных действий я не люблю. Они всегда сопряжены с неудобствами, а иногда с неприятностями. — Шурка Сейберт тряхнул беловолосой головой и сморщился. — Я люблю черный кофе, только его теперь нет. Люблю петь, сидя в ванне. — И, рванув струны гитары, вдруг запел:

Если хочешь рай земной,
Непременно будь со мной!
Со мной, моя родна-а-я
И дорога-ая.

Припев подхватили баритон флагманского минера, мальчишеский альт его жены Клавочки и честный пьяный хрип командира «Костромы» Васильева.

В слоеном дыму четырьмя языками огня качалась бензиновая горелка, и от нее по белым переборкам ползли многоголовые синие тени.

У Клавочки были тугие золотые кудри, а под ними на висках тоненькие жилки. Она любила свой профиль. Она догадывалась о причине Шуркиного красноречия и, конечно, была довольна.

Глеб Пестовский, ее муж, тоже был доволен: мягкостью своего голоса, прекрасной должностью флагманского минера, крутой теплотой пахнущего мылом чая, женой и вообще жизнью.

Жизнь была великолепна. На «Костроме» эвакуировались семьи комсостава флотилии. Тихо визжала во сне свинья, а в другом конце кают-компании непрерывно гудел примус. Дети спали, привычные к бомбардировке с аэропланов и Шуркиной гитаре.

Если хочешь, обниму,
Приходи на «Кострому»,

Ко мне, моя родна-а-я
И дорога-а-я, —

пел Сейберт.

— Нет, — вдруг заревел командир, — не позволю! Это *мой корабль*.

— Паршивый корабль! А впрочем, выпьем за всякие корабли, — быстро подхватил Сейберт. — Они способны передвигаться по водной поверхности, и без них нам пришлось бы на животе плыть из Мариуполя, прямо через минные поля. Выпьем! — и взмахнул стаканом чая.

— Минные поля? — Флагманский минер улыбнулся. Это его поля, он их возделывал заградителями и полол тральщиками. На них выращивал гигантский круглый овощ — неизбежную подводную смерть.

— Минные поля — это только моральный эффект, рвутся на них редко, а на животе можно их переплыть запросто, — сказал он.

— Я, кажется, начну ревновать Глеба к его минам, — капризным голосом, но со смехом в глазах протянула Клавочка. — Чем они ему нравятся? Круглые, толстые, вот такие. — И для большей убедительности Клавочка надула щеки.

— Толстые, но добродушные, — подхватил флагманский минер, и Клавочка радостно вспыхнула. Такое отношение к опасности ей нравилось. Ей было приятно, что она его разделяет.

— Мины — сплошная мерзость! Вредоносное изобретение! Я люблю изобретать полезные вещи. Вот! — Сейберт схватил горелку и очертил в дыму огненную дугу.

— Ставь на место, молодой! Пароход сожжешь, — прохрипел командир «Костромы».

— Она состоит из срезанной сорокасемимиллиметровой гильзы с впаянной медной крышкой, трубки с фитилем и колпачка с четырьмя отверстиями, изготовленного из никелевой оболочки пули. Бензин всасывается фитилем и поступает в разогретый на спичке колпачок.

— Внизу! — перебил его новый голос. Он шел сверху, из светлого люка, где в облаках, похожих на иконописные, обрисовалась чернобородая голова вахтенного.

— Есть внизу, — пропел Сейберт.

— Товарища флагманского минера и начальника с истребителей товарища Сейберта — в штаб.

Флагманский минер вздрогнул. Вставать с мягкого тюка и идти в штаб очень не хотелось. Там опять что-нибудь придумали.

— Надо двигаться, — решительно сказал он. — Служба. — И с трудом встал.

— Служба, — так же твердо сказал начальник дивизиона истребителей и вздохнул еще более шумно. — Спокойной ночи, дорогие граждане! Как совершенно правильно заметил мой старший товарищ, двигаться нам необходимо. Итак, храните мою гитару, пока я на поверхности, а когда я уйду на дно, насыпьте ее песком и киньте в мою жидкую могилу.

— Ползи, ползи, не разговаривай, — озабоченно пробормотал флагманский минер.

— Я не ползу — я лечу. Что передать высшему начальству, граждане?

— Скажи, чтобы больше не эвакуировались! — отозвалась мать комиссара штаба. — Все белье из-за них мокрым везу! Некогда им думать. Постирала, а посушить не дали.

— Так и скажу, мамаша. — И начальник дивизиона одним прыжком вскочил на середину трапа. Этому начальнику было двадцать четыре года.

2

Колесные пароходы стояли рядом. Первый от стенки — «Кострома». На втором — в салоне красного дерева и красного бархата — штаб. На столах стаканы холодного чая, корки хлеба и развернутые исчерченные карандашной прокладкой карты. Под столами окурки; самая большая и аккуратная кучка у ног командующего.

— По нашим сведениям... Садитесь, товарищи, — тихо проговорил он. — По нашим сведениям, неприятель выставил мины у Кривой косы. Как раз в том районе, где мы полагаем принять бой, — и ногтем очертил на карте овал. — Для маневрирования необходимо протралить фарватер. А тральщиков нет... Что предложите делать?

— Тральщики, — коротко ответил начальник дивизиона истребителей.

— Я затрудняюсь... — начал флагманский минер.

— А ты не затрудняйся. Возьми с моего дивизиона катерные тралы. Их у меня четыре штуки, и мне они ни к чему. Поставь их на любую посудину и траль.

— По нашим сведениям, — продолжал тихий голос, — неприятельские мины поставлены на четыре фута. Мелкосидящих судов во флотилии нет. Кроме истребителей, конечно, но они траления не выдержат.

— Значит, поставим тралы на «Коцебу» и «Революцию», — сказал Сейберт. — Их не жалко.

— Осадка футов восемь, — вслух подумал командующий. — Верная смерть. — И от недокуренной папиросы прикурил новую.

Громко шипела труба парового отопления. В соседней каюте писарь в нос диктовал телефонограмму штабу базы. Диктовал медленно и долго.

— Все равно, — очнулся командующий. — Другого выхода нет. Товарищ Пестовский?

«Трал на восемь футов, днище тоже на восемь, а мины на четыре. Столько же шансов взять тралом, как и днищем. А Клавочка? — В глазах потемнело. — На четыре фута от поверхности. Уйти и не вернуться. Оставить ее одну. Нет, невозможно». И кажется, что даже взрыв легче этой тишины — в ней нельзя дышать. Неужели это страх?

— Другого выхода нет, — где-то вдали звучит голос Сейберта. Да, это страх, даже больше: это предчувствие неизбежной смерти.

— Истребители, конечно, не годны, пусть отдохнут, — глухо говорил Сейберт. — Но сам я, может быть, годен. Если разрешите, пойду.

— Товарищ Пестовский?

— Я приму меры к срочной установке тралов! — как мог быстрее выговорил и медленно стал краснеть.

— Хорошо, Сейберт. Пойдете вы. Вы годны. — И еще тише: — Жаль, что вы не мой сын.

Наверху была темнота. Огни на судах и в городе были закрыты. Могли налететь неприятельские аэропланы. Наверху была совершенная тишина. В такой тишине слышно, как бьется сердце.

— Ты дурак, — вдруг сказал Пестовский. — Это

верная смерть. Пойди откажись. — Сказал, и на минуту полегчало. Но сразу же ожгла мысль: «Отказаться он не может, и ты это знаешь. Ты — трус».

— Что ж, дуракам бывает счастье!.. Привет Клавдии Васильевне. — Сейберт улыбнулся. — Кстати, пришли мне двух минеров, Глеб.

3

Перед рассветом вдруг темнеет. Гаснут звезды, расплываются предметы и стираются расстояния. Медленно поднимает и крепит палубу невидимая волна. От всего этого становится нехорошо, и тогда следует заглянуть в компас.

Картушка тускло освещена электрической лампочкой и вполне реальна. Она сообщает уверенность. Действительно, против носовой черты качается цифра 223 — курс верен.

— Люди становятся красными, а потом белыми. И снова красными. Я не про махновцев. Я недавно видел одно лицо старшего комсостава, быстро менявшее окраску.

Никита Веткин промолчал. Он слишком долго был комиссаром при Сейберте, чтобы удивляться. Он стоял спиной к рубке, расставив ноги и глубоко заправив рукава бушлата в карманы, и, не мигая, смотрел вперед.

— Жаль, что люди никогда не становятся зелеными. Или хоть желтыми.

— Бывает желтуха, — сказал Веткин.

— И не то чтобы он был трусом. Наоборот, — не слушая, продолжал Сейберт. — Кстати, команда «Коцебу» со страху икру мечет. Пойду я тралить с ними, а ты оставайся, так сказать, на страже «Революции».

Место комиссара — при начальнике. Или нет: место комиссара там, где он нужен. Сейберт надежен, а команда водников — черт ее знает! Своих только трое.

— Ладно, начальник!

Когда рассвело, впереди увидели голубой полосой Кривую косу. Опробовали болты на тральных лебедках и приготовились спускать тралы.

4

— Оснований для паники нет! — Сейберт оглядел команду «Коцебу» и улыбнулся. Все признаки налицо: не дышат, избегают смотреть в глаза и жмутся к борту. — Мин мы не ищем. Наше дело проверить, что все чисто, и обставить фарватер вешками. Ничего сверхъестественного. Прошу развеселиться.

— А если наткнемся? — спросил сзади высокий голос.

— Когда наткнемся, скажешь. Я что-нибудь придумаю.

Два тонких стальных троса, дрожа, тянулись от лебедки. На них пернатые буйки — слева желтый и справа красный — идут, зарываясь в волну и выбрасываясь вверх. Между буйками трал.

Курс — чистый вест. Если буйки начнут сходиться — значит трал забрал. А если заберет не трал, а корпус?

У Клавочки чудесные глаза. Такие веселые, когда Глеб фамильярничает со взрывчатыми веществами. Добродушные мины — неплохо придумано. А вот говорят еще: он скорчил кислую мину. Кислая мина — это совсем смешно.

— Лево руля. Курс 210. Семафор на «Революцию»: на повороте не выходить из-под прикрытия моего трала!

— Есть на румбе!

— Вешку!

— Есть вешка. — И красный шест с крестовиной гулко шлепнулся в воду.

Буйки прочертили дугу и снова пошли прямо, звеня стальными тросами и фыркая пеной. Где-то под ними напряженный тонкий трал режет толщу воды. Может быть, он что-нибудь встретит. Кстати, о взрывчатых веществах: в мине восемь пудов тротила, и все восемь рвутся сразу.

Клавочка — великолепный товарищ. Иначе думать о ней нельзя, она — жена Глеба... Буйки сходятся!

— Малый ход. «Революции» застопорить машины. — Сейберт оттолкнул серого, как брезент, капитана и медленно сошел с трапа. У толстяков нежная кожа. Когда они дрожат, по ней идет рябь, как от шквала.

Надо его успокоить. — Капитан, распорядись чайком!

И капитан сразу вздохнул, а у боцмана, схватившего леер, разжались пальцы.

Левый буек вдруг зарылся и сверкающей желтой грушей выскочил далеко в стороне. Значит, трал с него отдался и теперь пересучивается по минрепу. Когда подведет к нему патрон — мину срежет. Все в порядке.

В порядке? Мины никогда не ставят по одной на квадратную милю. Где соседняя? Все равно, надо идти вперед, потому что разворачиваться еще хуже.

От большой тяжести скрипит на барабане мокрый трос, но мины нет, и патрон не рвется. Почему? Сейберт перегнулся через поручень и вдруг увидел: на трале широким треугольником встает сеть, и в ней бьется рыба. Здорово!

— Панику отставить! Будет уха! — точно скомандовал Сейберт. — Подняли рыбачью сеть. Никаких мин не наблюдается.

И люди сразу заметили, что могут говорить полным голосом.

Рыба, сверкая, летела из сети на палубу, и солнце светило по-новому. Казалось, что именно затем сюда и пришли. Что это новейший, самый веселый и простой способ рыбной ловли.

Но лучший осетр был туго замотан сетью. Он тихо вздрагивал, и в его животе торчал согнутый палец патрона.

— Великолепный зверь, — вздохнул Сейберт.

— Чека срезана, товарищ начальник, — озабоченно проговорил минер. Ему тоже жаль было упускать осетра, но, если срезана предохранительная чека, патрон может рвануть.

— Боишься, Пинчук?

Минер улыбнулся и показал зубы величиной с ногти. Он не боялся. Сейберт почесал переносицу. Фунт пироксилину — не фунт дыму. Можно сильно попортиться... Но где достать такого осетра!

— Ножницы и напильник. Какие ножницы? Все равно какие, а лучше всего маникюрные. — Несмотря на холод, Сейберт снял бушлат и засучил рукава тужурки. — Лишние, в нос! Любуйтесь издалека!

Пинчук медленно пилил трал трехгранным напиль-

ником, а Сейберт ножницами простригал брюхо осетра — рискованная хирургия рядом с патроном. Только б не дернулся осетр! Но умная рыба понимала и терпела. Через три минуты патрон полетел за борт и громко разорвался об воду.

5

— Арестовать тебя *следовало бы*, начальник, за недопустимое обращение со взрывчатым веществом, — с полным ртом промычал комиссар Веткин за ужином на «Революции», — однако осетр хорош!

6

На западе над черной косой замигал огонь. Второй ответил с юга, быстро отсверкал короткую фразу и пропал. На его месте остался еле заметный красный отсвет, а если взглянуть в бинокль — четыре снопа искр.

— Миноносец, — сказал Сейберт, опуская бинокль. — Больше никто таких факелов *не даст*. Четырехтрубный, значит, типа «Жаркий», а факелы оттого, что торопится или плохие кочегары.

Красных миноносцев на Азовском море нет. Никита Веткин из записной книжки вынул листок папиросной бумаги и при свете компасной лампочки осторожно стал насыпать табак. Скрутив, нагнулся — надо спрятать вспышку спички за брезентовым обвесом мостика. Закурил и выпрямился.

— Пустяки, уйдем, — сказал Сейберт. — Он нас *не* видел, а зря сюда не сунется. Должен думать, что здесь наши заграждения. — И снова поднял бинокль: в круглом поле черпота, красный отблеск на воде, четыре факела миноносца — и вдруг вспышка. Серия точек, три точки, тире — вызов, ноль добро, ноль добро, потом какая-то шифрованная бессмыслица. Потом снова темнота.

В темноте висит сосредоточенное, полуосвещенное лицо рулевого. Он не думает ни о чем, кроме своей картушки. Сейчас столько же шансов напороться, как и днем, но команда не видит тралов и забыла о минах. Тем лучше — и Никита Веткин затянулся горьким дымом.

— Когда дотралим, начальник?

— Своевременно или несколько позже, — ответил Сейберт. — Лучше скажи, почему ты не женат?

Комиссар промолчал. Разве можно об этом говорить? Об этом и думать некогда.

Миноносец ходит двадцать пять узлов против их пяти. Две трехдюймовки против двух револьверов.

— Слушай, — с другого крыла мостика заговорил Сейберт. — Жена командира «Смелого» на истребителе родила двойню. Это когда эвакуировались. Ее за пять минут до ухода флота вытащили из больницы и всунули в каюту «Смелого». Знаешь, какая там каюта? Гроб средней величины. И ничего, разрешилась благополучно.

Сейберт снова подошел к Веткину и, прижав бинокль к глазам, закончил:

— Мальчики. Должны вырасти хорошими ребятами... Жаль, что вы не мой сын... Так он сказал?..

— Кто?

Но Сейберт не ответил.

7

Размеренно шлепают широкие колеса, и медленно плывет навстречу густая вода. В ней могут быть большие круглые предметы. Они стоят на якорях и ждут. А вода черная и неподвижная, как то, что будет после взрыва.

Нет, не страшно, только немного трудно. И почему-то жаль Клавочку. Теперь можно думать о ней по-настоящему, потому что каждая минута может стать последней. Потому что минута и мина — слова одного корня. Имена мгновенной смерти.

Снизу толчок и глухой удар. И сразу яростный свист пара, смешанный с пронзительно лающим воплем. Толстый человек в одном белье вылетел за борт и белым пятном шлепнулся в воду.

— Взорвались! — заревел рулевой.

— Чудак, — сказал Сейберт. — Если б взорвались, летели бы по воздуху, а то стоим на мостике. — И, перегнувшись, крикнул вниз: — Что у вас случилось?

— Ничего не случилось, товарищ начальник, — доложил невидимый боцман, — только магистраль прорвало, и смазчика ошпарило, и капитан за бортом.

8

— Я думал — мина, — признался вытащенный из воды капитан. — Выпрыгнул прямо из койки.

Он стоял грузный и блестящий, с облепившими низкий лоб черными волосами. Дрожал от воды и хмурого взгляда комиссара и, точно огромная рыба, тяжело дышал белым животом.

Но комиссар вдруг рассмеялся и отошел к борту.

— Водник. Чуть что — в воду прыгаешь, потому так и называешься, — сказал комиссар.

Колеса замерли. «Революция» стояла, точно впаянная в гладкую темную воду. Над палубой тонкий пар, на палубе тени людей, а кругом пустота, потому что «Коцебу» исчез. Только слышно, как где-то шлепают его колеса. Он шел сзади и если не подошел к борту, то потому, что заметил аварию и струсил. Куда он теперь уйдет?

— Будет идти вслепую, пока не вылезет на берег. Море — это не тарелка, а он со страху зажмурился, — сказал Сейберт. — Вот какие дела, комиссар. Машина, как тебе известно, без пара не действует. Пар без магистрали в машину не подашь. Магистраль без завода, пожалуй, не починишь. Словом, чепуха.

— Сволочи! — отозвался Веткин.

Отдали якорь.

9

В три часа Веткин явился на мостик сменять Сейберта, собиравшегося спать в рулевой будке. Говорили о дальнейшем.

Магистраль была сильно разворочена. Настолько сильно, что механик не знал, сумеет ли ее починить. Значит, своим ходом отсюда не уйти, а уходить, пожалуй, следовало: могли появиться белые. В два сорок на западе наблюдался длинный разговор клотиковой лампой. Может быть, они поймали «Коцебу» и от него узнали, где «Революция».

На юге у Сазальника должна стоять своя дежур-

пая канонерка. С норда задул свежий ветер. Что, если рискнуть сняться с якоря и дрейфовать на юг?

Мины не хуже того, что будет на палубе белого миноносца. Вызвали команду, выбрали якорь и приспособили на мачте брезент вроде паруса. Если все сойдет благополучно, вынесет к Сазальнику. Обе головы лениво думали, склонившись над картой. Провизии только на три дня — следовательно, надо выпить чаю. Думали обо всем, кроме мин. Мины надоели.

Сигнальщик принес чай на мостик. Сахар и хлеб в ящике для карт.

Сейберт осторожно взял обжигавшую жестяную кружку, но сразу же поставил ее на ящик: с кормы в море появился длинный низкий силуэт.

— Миноносец! — ахнул сигнальщик.

Никита Веткин по привычке сунул руку в карман за табаком, но вдруг нащупал браунинг.

Миноносец бесшумно прошел вправо и расплылся в темноте. Может, показалось? Нет, высоко в небе замелькал огонь. Миноносец заговорил — значит заметил.

— «Ноль земля», — прочитал сигнальщик. — Наверно, ихний опознавательный. Что отвечать? — И взял ручной фонарь.

— Пиши: «Чай»! — быстро сказал Сейберт, и фонарь вспыхнул.

Миноносец отсверкал: «Ясно вижу», — и почему-то замолчал. Потом была темнота и тягостное ожидание. Потом Никита Веткин вынул из кармана руку. В ней были табак и бумага.

Миноносец удовлетворился ответом. Противники говорят на одном языке и почти по одному своду. А слово «чай»... Может, у них что-нибудь и значит. Вот и договорились.

— Хвала чаю, — сказал Сейберт, беря остывшую кружку.

10

Ветер свежел. Когда судно без хода, его болтает совершенно невыносимо. Садит кормой и кладет на борт, потом перекладывает на другой борт и зарывает носом в грязную пену. От такой толчеи болит голова.

Была плохая видимость, низкие тучи и пустое море.

В западной стороне горизонта дым: может, «Коцебу», а может, и белые.

— Пойду я в машину, — сказал Веткин. — Надо заштопать трубу. Здешний механик, кажется, из дураков.

— Серый, как штаны пожарного, этот механик. Ровно ничего не понимает, — согласился Сейберт. — Чему будешь его обучать, комиссар?

— Механик мне ни к чему. Сам я, думаешь, кто такой? Я вот про тебя знаю, что до революции ты ножками шаркал, а что ты про меня знаешь?

— Водопроводчик. Ватеры чинил, — не задумываясь, ответил Сейберт.

— Слесарь я. Шесть лет паровозы в Брянске строил, а ты... — Веткин не докончил, махнул рукой и ушел переодеваться в рабочее платье, которое занял у обваренного смазчика.

Мин здесь быть не должно, но могут появиться разные корабли — одному из двоих следовало оставаться наверху. Можно и в рулевой рубке: через большие стекла все видно и нехолодно. В рубке Сейберт расставил свое парусиновое кресло. Старое, дважды поломанное и починенное, с заштопанной и засаленной парусиной, купленное на Волге за коробку зефира и сопутствовавшее ему во всех его походах.

Откинувшись на спинку, он вслух читал лоцию Черного и Азовского морей. Вслух, чтобы наслаждаться своим голосом — в рубке он был один. Дочитал до конца главы, осмотрел помещение, в пактоузе обнаружил распухшую колоду карт и на полке разложил пасьянс. Пасьянс не вышел, тогда со вздохом он снова сел в кресло и стал сочинять веселые, но неприличные стишки. Постепенно темнело. В двадцать часов на зюйд-весте вспыхнул прожектор. Он светил только в вестовую четверть и не мог быть неприятельским.

— Сазальник, — сказал Сейберт. — Дальше дрейфовать не следует — берег. Отдадим якорь и ляжем спать. Аминь.

11

Утром открылся берег, слева расплывшийся в тумане, а справа срезанный мысом Сазальник. Дежурной каплодки не оказалось. Пустое море, и редкий холодный дождь.

Следовало исправить повреждение в машине, иначе не уйти. И следовало спешить. Наверху делать было нечего. Сейберт спустился к Веткину.

У Никиты Веткина были тугие мышцы, блестящие от пота и машинного масла. Он держал клещами стальное кольцо, которое механик обтачивал напильником. Крепкие тиски вышли из комиссара, кольцо висит в воздухе, а комиссар спокойно смотрит светлыми глазами и ровно дышит.

Инструмента не было — было упорство и изобретательность. Изобретал Сейберт: паяльную лампу — из примуса, набивку сальника — из рабочих брюк с суриком и много другого. Потом стягивали фланец. Оборвали и пожгли руки, но кончили ремонт за двое суток. И было пора, потому что хлеб тоже кончился.

— Слушай, — наутро сказал Сейберт. Он и Веткин пили чай, закусывая последними остатками вареной рыбы. — Я научу тебя довольствоваться малым. Это рецепт бывшей дамы, которая узнала, что счастье — понятие относительное. Надо насыпать соли в папиросную бумагу, свернуть пилюлей и проглотить. И одновременно ставить чайник на примус. Соль действует через полчаса. К этому времени даже морковный чай настоится. Нет высшего наслаждения, как пить совершенно пустой чай, когда очень хочется пить. А если много выпьешь — в животе бывает теплота и даже сытость.

— Товарищ начальник, «Коцебу»! — закричал наверху вахтенный.

«Коцебу» шел от зюйд-веста малым ходом, посеревший от усталости и долгого смертельного страха. Он, видимо, не смел без «Революции» возвращаться в Таганрог, блуждал по морю между белыми минами и теперь наконец спасся. Он даже затрубил от облегчения, но гудок вышел неуверенным кашлем.

— Лучше пусть он нас ведет. Черт его знает, наш сальник, — сказал Веткин. — Жаль, что столько копались с трубой.

— Сигнальщик! — крикнул Сейберт. — Семафор на «Коцебу»: «Стать в полкабельтове от нас на ветер. Приготовиться подать буксир».

На мостике «Коцебу» сигнальщик не спеша водил красным флажком по обвесу. Потом взмахнул им, точ-

но взлетая, — семафор принят. Прозвенел машинный телеграф, и корма медленно покатилась вправо. Потом загрохотал якорный канат — поход кончен.

Пена под колесами на заднем ходу, грязный, с потеками, корпус, тонкий дым из трубы камбуза, команда на корме у бухты буксирного конца и высокая фигура капитана на кожухе левого колеса. Все отчетливо, близко и вещественно.

И сразу другое. Столб горящей воды и черного дыма. В лицо ударила волна упругого воздуха и грома. Когда снова можно было смотреть, столб опадал, оторванная корма высоко висела в воздухе, а вода хлестала всплесками от осколков. Море выгнулось и тяжелой пеной обрушилось на «Революцию».

Больше смотреть нельзя.

12

«8.40, — написал Сейберт. — Тральщик «Коцебу» пришел с моря и, становясь на якорь, подорвался на мине. Тральщик затонул на трехсаженной глубине. Выяснить подробности его отдельного похода путем опроса единственного спасенного минера Пинчука не удалось, так как спасенный все время находился в полубессознательном состоянии и вскоре скончался от тяжелых ранений, полученных при взрыве».

— Все просил его вымыть, — тихо сказал Веткин. — «Обмой, говорит, мне наружность. Обмой, обмой, у меня жена в Таганроге. Нельзя таким показываться».

— Его убил я, — сказал Сейберт и положил ручку. У него дергалась щека. — Его и всех остальных. Это я приказал «Коцебу» становиться...

— Его убила контрреволюция! Успокойся, дурак!

В распахнувшейся двери стоял капитан. Он задыхался.

— Мы не пойдем! Товарищ комиссар, товарищ начальник, мы не пойдем! Вся команда наверху! Мы не пойдем! Надо на берег, мы спустим шлюпку.

— Отлично, — ответил Сейберт и встал.

Вся команда была наверху. Минер Грачев и сигнальщик Нексе спиной к шлюпке — они военные моря-

ки. Против них все остальные. Напирают кучей и тяжело дышат.

— Дорогие товарищи! — Голос Сейберта зазвучал негромко и почти печально. — Я предложил бы разойтись по местам. Через час будет пар, и мы снимемся. Пойдем в Таганрог. Может быть, не взорвемся.

«До чего странно! — подумал Веткин. — Ведь только что чуть не плакал. Посмотрим, что дальше». — И глубоко засунул обе руки в карманы...

— Тогда вы вернетесь домой, — продолжал Сейберт. — А если не станете по местам — не вернетесь. — И вынул кольт.

Через час снялись с якоря и легли на Таганрог. Над местом гибели «Коцебу» поставили вешку.

13

— Рапорт в письменной форме, если разрешите, представлю завтра.

— Можно, — согласился командующий. — Торопиться некуда.

Он был в том же салоне красного дерева. Тот же дымный воздух и холодный чай на столе. И те же кучи окурков.

— На первом фарватере можно принять бой. Мы его обвеховали.

Хотелось сказать что-то, но что именно, Сейберт забыл.

— Боя не будет, — сказал командующий. — Белые отошли за Мариуполь. Идите спать, Сейберт.

Боя не будет — тем лучше. Надо идти к Пестовским, там чай и гитара — от этого пройдет усталость. Хорошо, что пошел он, а не Глеб: посбил с Глеба спеси, и оба целы.

— Пойду на «Кострому».

— «Костромы» нет, — сказал кто-то, — расформирована. Семьи на берегу, а пароход отдан в дивизион тральщиков.

— Тогда к Пестовским. Где они живут? — И с трудом встал. На подбородке рыжая щетина, это неловко, но Клавочка не осудит. Даже героический вид, а увидеть Клавочку необходимо. И вдруг заметил, что все молчат, а горелка шипит, совсем как тогда, перед

походом. Только теперь болят плечи и дым плавает в глазах.

— Странно, — тихо сказал командующий.

Действительно странно, но что именно странно, Сейберт понять не мог.

— Пестовский умер от эпидемической желтухи, — сказал Григорьев, новый флагманский минер. — У нас такая болезнь. Умирают в три дня.

— А Клавдия Васильевна?

— Уехала.

— Одна? — Сейберт схватился за стул. Как могли они ее отпустить? Она совсем ребенок.

— Нет, не одна, — издалека сказал командующий. — С портовым механиком Поповым. Идите спать, Сейберт.

Кают-компания «Костромы», узкое лицо с золотыми кудрями. Горелка, гитара и примус — все так близко и отчетливо. И вдруг столб огня и воды. Оторванная рука Пинчука. «Обмой мне наружность». А тех, на «Революции», он сам расстрелял бы... Клавочка? Но разве можно думать о любовном и разве смерть одного страшней всех других смертей?

— Безразлично, — сказал он вдруг.

— Идите спать, Сейберт, — еле слышно повторил командующий.

— Есть. Иду спать. — Повернулся и на негнущихся ногах пошел к страшно далекой двери.

1930

А.Фадеев

РОЖДЕНИЕ АМГУНЬСКОГО ПОЛКА

Памяти Игоря Сибирцева

I

Настоящее название полка было 22-й Амгуньский стрелковый, а его рядовые бойцы во всех официальных приказах именовались народоармейцами *. Но человек, около года не вылезавший из сопок, вскормивший несчетное количество вшей, исходивший все таежные тропы от зейских истоков до устья Амура, привык к безвластью и безнаказанности и боялся порядка и дисциплины. В новых наименованиях и, главное, в цифрах ему чудилось кощунственное посягательство на его свободу. И бойцы 22-го Амгуньского полка продолжали называть себя партизанами, а полк свой по имени старого командира — просто Семенчуковским отрядом.

Это была упорная и жестокая борьба между старым названием и новым. За старое боролся весь полк во главе с командиром Семенчуком, за новое — комиссар полка Челноков.

Силы противостояли неравные. Не только потому, что Челноков был одинок, но и потому, что это происходило в местности, где так короток день, а ночь длинна, где густ и мрачен лес, где воздух сыр и ядовит от болотных испарений, где зверь в лесах силен и непуглив и человек как зверь.

Семенчуковский отряд оказался сильнее Амгуньского полка. Это произошло после разгрома под Кедровой речкой, хмарным и слизким утром, на левом фланге красного фронта.

Сгрудившись у гнилого, поросшего мхом и плесенью охотничьего зимовья, Семенчуковский отряд митинговал.

---

* На Дальнем Востоке наша армия называлась в 1920 году не Красной, а Народно-революционной. *(Примеч. авт.)*

— Куда нас завели? — кричал, взгромоздившись на пень, лохматый детина.

Весь — костлявая злость, от головы до пят обвешанный грязными шматками полгода не сменявшейся одежды, он походил на загнанного таежного волка.

— Нас завели на верную гибель... Нас продали... Владивосток занят, Спасск-Приморск занят, Хабаровск занят, не сегодня завтра займут Иман, — куда мы пойдем? Мы — партизаны, амурцы. Мы мерзли в сопках за наши хлеба и семьи. Пора уж и домой! Довольно покормили вшей, пойдем за Амур! Там тоже Советская власть — мы ее поставили. Пущай приморцы сами свои края защищают... Пущай Челноков сам повоюет... с рыбой со своей, с тухлой...

И из человеческого месива, где озлобленные лица, обдрипанные шинели, штыки, патронташи, подсумки и мокрые ветви загаженного людьми ельника сливались в одно оскаленное щетинистое лицо, неслось:

— За Амур! За Амур!

— Довольно!

— Ну как вы попадаете за Амур? — стараясь быть спокойным, говорил Челноков. — Через фронт вам не пройти — раз. Через Хорские болота и подавно не пройти. Остается Уссури. Как вы через нее переправитесь? Пароходов ведь нет...

— Вре-ошь! — кричали из толпы. — Омманываешь... Есть пароходы... А грузы на чем эвакулируют? Сволочь!

— Этот пароход вас не возьмет...

— Мы сами его возьмем...

— Он всегда и так перегружен...

— Разгру-узим... Вот невидаль, подумаешь!

— Так ведь не в этом суть, — не сдавался Челноков. — Ведь мы оголяем фронт. Из-за нашего ухода вся область пропадает...

— А что мы — сторожа? — надсаживался лохматый детина. — Чего вы приморцев не держали? Небось в тылу сидят, одеты и обуты... Одних штабов, как собак, расплодилось...

— Верно, Кирюха... В тылу... галифеи шириной в Амур распустили.

Масса не слушалась комиссара. Вчера, ругаясь с ним из-за продуктов, она еще чувствовала в нем силу и нехотя подчинялась ей. Это не было, как в прежние дни,

сознательное уважение к старшему товарищу, а просто последние остатки робости перед начальством. Они проявлялись тем сильней, чем независимей, храбрей и строже держался начальник. Но сегодня это уже не помогало. Сегодня масса не боялась и ненавидела комиссара. Он являлся единственным препятствием на ее пути. Вопрос ясен. К чему этот разговор?

— Дово-ольно! — кричала толпа.

— Долой комиссара! Отзвонил свое. Даешь в отставку!

На заросшей завалинке зимовья сидел Семенчук и ждал. В волнующейся толпе странно было видеть его притаившуюся, безучастную фигуру. И несколько раз, ловя на себе его хитрый, выжидающий взгляд, Челноков думал, что это единственный человек, который мог бы еще удержать полк. Но Семенчук молчал. Он сам был амурец, ему надоело воевать, а симпатии толпы так изменчивы, что не стоит рисковать своим авторитетом за чужое дело.

— За Амур! — рвался через тайгу в золотистые амурские пади стихийный тысячеголосый рев.

— Слушай, Семенчук, — сказал Челноков, наклонясь к командиру, — если они уйдут — ты будешь отвечать.

Семенчук насмешливо улыбнулся:

— При чем тут я? Мое дело маленькое.

— Врешь! — не выдержал Челноков. — Ты продаешь весь фронт за свой командирский значок...

— Что-о?

Семенчук вскочил как ужаленный. В его напряженной позе скользнуло что-то кошачье. Даже желтая шерсть его тигровой тужурки, казалось, вздыбилась, как живая.

— Товарищи!.. Вы слышали, что сказал комиссар? Вы слышали, что он сказал? — Голос Семенчука дрожал от деланного гнева. — Мы, что целый год страдали в сопках, падали под пулями, топли в болотах, кормили мошкару, мы, оказывается, предатели революции! А они, что пришли на готовенькое, надели френчи и сели на наши шеи, они — спасители... Убирайся вон! — рявкнул он злобно.

Его толстая шея вздулась багровыми жилами, и широкое скуластое лицо налилось кровью.

Челноков схватился за револьвер и шагнул к командиру.

— Если ты думаешь на этом сыграть... — сказал он со зловещей сдержанностью, но грозный рев заставил его повернуться к массе. Отовсюду, где только виднелись люди, смотрела на комиссара стальная щетина неумолимых ружейных дул.

— Уйди-и!

Челноков принял руку с кобуры и несколько мгновений изучал толпу. Из-за каждого дула впивались в него горящие угрозой и ненавистью глаза.

Челноков опустил голову и медленно сошел с завалинки.

— Красные! — крикнул Семенчук. — Я всегда был с вами, а вы со мной... Слушай мою команду. Построиться!

Винтовки опустились одна за другой. В толпе зашныряли ротные командиры.

— Первая рота, собира-айсь!

— Вторая рота!

Резкие выкрики команд казались неуместными под мохнатыми елями в распущенной массе голодных людей и тотчас же глохли где-то в заржавленном мхе карчей. Роты строились наспех, как-нибудь, и уползали в чащу по грязной дороге. Оседланная лошадь комиссара неистово ржала и металась на привязи. Под сотнями ног трещал низкорослый ельник.

— Винтовки хоть бы на плечо взяли... — неуверенно предложил кто-то.

— Во-от еще, на плечо! — гудели недовольные голоса. — Мы и на ремне донесем. Старый режим, что ли?

— Покомандовали ужо над нами, будя!

Оставшийся у зимовья комиссар слышал в удаляющихся голосах нотки радостного возбуждения и наивной, почти детской уверенности в окончании всех бед и страданий на этом свете.

Его лошадь запуталась в поводу и, вспенив губы, жалобно фыркала.

— Тише ты-ы! — сердито закричал Челноков.

Он несколько раз ударил ее хлыстом по крутому заду и выругался самыми скверными словами, какие только знал. Неизбежный вопрос — что делать? — сверлил уставшую голову. Он сел на завалинку и стал размыш-

лять. Это было не очень приятное и нелегкое занятие. Комиссар не спал уже около двух суток! В висках стучало. Он сжимал голову большими шершавыми ладонями, и его сухие и ломкие, как старая оленья шерсть, волосы топорщились на голове. Фуражка защитного цвета лежала у ног, и в ней хозяйничали рыжие болотные муравьи. Шум шагов и людские голоса давно уже замолкли вдали. Только в ольховнике у ключа робко засвистывали мелкоглазые рябчики. На левом фланге красного фронта комиссар Амгуньского полка был совершенно одинок.

Он медленно расстегнул кобуру и вытащил наган. Долго с интересом наблюдал, как ленточкой отливает смазанная вороненая сталь, и так же серьезно и вдумчиво взвел холодный курок. Однако он не выстрелил сразу, а решил еще подождать и подумать. Он привык отрезать только один раз, но зато после семикратной примерки.

И действительно, мысли его приняли другой оборот.

— Так нельзя, — сказал он, строго глядя на лошадь. Слова эти относились, однако, не к ней, а к самому комиссару. — Так нельзя, — снова повторил он вслух. — Тебя все равно расстреляют, но предупредить о случившемся ты обязан.

Придерживая курок нагана большим пальцем, Челноков опустил его на место и спрятал револьвер в кобуру. В его движениях не чувствовалось волнения или страха. Он поднял с земли фуражку и стал чистить ее мокрой еловой веткой. Ему не хотелось, чтобы даже в его одежде был намек на панику. Правда, он не сумел удержать полк, хотя и должен был сделать это. Но это еще не означает, что все остальное может идти спустя рукава.

Челноков отвязал лошадь и, вскочив в седло, выехал на дорогу. Лошадь рвалась в ту сторону, куда ушел полк, а он заставлял ее идти в другую. Несколько секунд они вертелись на одном месте, пока ей не стало ясно, что обстоятельства переменились.

Тогда она повиновалась человеку и, закусив удила, понеслась к штабу фронта, на станцию Бейцухе.

II

В очередной оперативной сводке иманская «Рабоче-крестьянская газета» писала: *«2 мая наши части, под давлением превосходных сил противника, оставив разъезд Кедровая речка, отошли на линию ст. Бейцухе. Дальнейшее продвижение противника приостановлено».* Прочитав сводку, командующий Северным фронтом невольно улыбнулся. Это была горькая, спрятанная в усы улыбка. Он лучше всяких газет знал, что поражение под Кедровой речкой являлось на самом деле разгромом красного фронта. «Превосходные силы противника» заключались в одном батальоне, разогнавшем десятитысячную армию. «Движение противника» отнюдь не было приостановлено, но он сам не пошел дальше, боясь распылить немногочисленные силы по мелким станциям и разъездам.

Перед мысленным взором командующего все время лежал громадный кусок Амурской долины, по которому уверенно перестраивались цепочки, квадратики, линии маленьких косоглазых людей, внушавших ужас защитникам кедровореченских позиций. И потом... эта неудержимая звериная паника, с оставлением орудий, винтовок и амуниции, с беспощадными драками между своими из-за каждого паровоза, вагона или двуколки, с бессмысленными, полными дикого страха, потными, измученными, уже нечеловеческими лицами. А когда штабной вагон попал наконец на станцию Бейцухе, он увидел на платформе сухого, сморщенного, с мочальной бородкой старика, грозившего скрюченным пальцем и кричавшего с пеной у рта:

— Дезертиры... Мы дали вам одежду, мы дали вам хлеб, а вы нас японцу продаете? Будьте вы прокляты!.. Вы и ваши дети!

Теперь — не только в Приморье, но и за Амуром, и в Прибайкалье, и за Байкалом — Кедровая речка стала нарицательным именем, символом панического бегства, трусости и позора.

Командующий фронтом посмотрел на карту. В этом злополучном краю даже военные карты были составлены неверно. Справа от ветки тянулись непролазные Хорские болота. Верховья реки Хор и ее притоков были помечены пунктиром. Там не ступала еще человеческая

нога. Плохонькие позиции перед Бейцухе занимал недавно сформированный коммунистический отряд. Половина его бойцов была набрана из ставших ненужными, за развалом частей и учреждений, военных и гражданских комиссаров. Все они привыкли командовать, не любили подчиняться и искали путей, как бы попасть в Советскую Россию.

На левом фланге на нескольких пунктах значился по штабной карте 22-й Амгуньский полк. Связь с ним была еще плохо налажена. Полк считался ненадежным. Во всяком случае, это был единственный неразвалившийся полк, в порядке отступивший из-под Кедровой речки.

Командующий снова взял газету, но чтение не шло на ум. Он выглянул в окно. Везде было так пустынно, так неприглядно, что не верилось, будто на этой заброшенной станции находится главный мозг фронта. Да был ли у такого фронта хоть какой-нибудь мозг?

Из станционного здания подпрыгивающей походкой шел к вагону комиссар Соболь. Он был очень маленького роста и, шагая через прогнившие дыры платформы, в своем черном обмундировании напоминал беззаботного вишневого жучка. Но командующему он казался скорее неутомимым муравьем, несущим на себе непосильную ношу.

— Хорошие вести, — сказал комиссар, заходя в вагон. — Из Владивостока пришел тайгою на Иман матросский отряд, вот телеграммы... — Он бросил на стол пачку розовых бумажек. — На Имане восстановлен порядок, ловят дезертиров. Ревштаб извещает, что кое-какие полки удастся привести в боевой вид... Ей-богу, мы сможем выправиться на этом деле!..

— Боюсь, что нам уже ничто не поможет, — сказал командующий, прочитав последнюю телеграмму и передавая ее комиссару. — Вы читали это?

Телеграмма извещала, что пароход, эвакуировавший военные и железнодорожные грузы по реке Уссури за Амур, вышел в третий рейс. Телеграфный язык не знал правил правописания — ни больших, ни малых букв, ни запятых, ни кавычек. Подпись: *«Комендант пролетарий селезнев»* — нужно было читать: *«Комендант парохода «Пролетарий» Селезнев»*.

— Что ж, молодчага! — воскликнул комиссар. —

Этого парня я знаю только по телеграммам, но он чертовски исполнительный человек. Можно было бы жить, если б все были такие.

Командующий смотрел на комиссара и, как всегда, удивлялся, откуда набирается бодрости эта маленькая, невзрачная фигурка. Сам он давно работал механически. Он был совсем одинокий человек, и с развалом фронта ему некуда было идти. Бывший офицер старой, царской армии, он провоевал большую часть своей жизни, из которой почти три года пришлись на борьбу за Советскую Россию. Теперь она маячила перед ним как последнее и единственное убежище.

— Дело не в исполнительном человеке, — сказал он сухо, — дело в эвакуации. Когда этот пароход пошел в первый рейс, я сразу понял, что дело пахнет ликвидацией. Ревштаб вывозит все, что можно. Приморье спело свою песенку. Нам тоже пора кончать. Я так думаю.

— Ну и плохо, что вы так думаете! — вспылил комиссар. Ему надоели вечные толки о ликвидации, за которыми шел неизбежный разговор о Советской России. — Наша беда и заключается в том, что так думают почти все, начиная от командующего и кончая дезертиром. Но ведь нам, черт возьми, предписано держаться, а не ликвидироваться!.. Вы думаете, мне не хочется в Советскую Россию? Вы думаете, я не устал от всей этой чертовщины? — Лицо комиссара невольно сморщилось в жалкой гримасе. — Но вы помните, я говорил, что нам надо идти против течения? Какой я, к черту, комиссар фронта? Я вам говорил, что я просто токарь военного порта. Но раз я поставлен комиссаром, я должен им быть: не спать ночей, стрелять дезертиров, ругаться с полками, реквизировать хлеб, бороться до тех пор, пока меня самого не сволокут в придорожную канаву... Я начинаю и кончаю свой день с этой мыслью. Я подвинчиваю себя каждый день невидимыми гайками до последней степени, до отказа... Я все время иду против течения и тащу за собой всех, кого только можно тащить при помощи слова или нагана... Черт возьми!.. Я буду идти и тащить, покуда хватит моих сил. Я уж вам не раз говорил об этом.

Командующему хотелось сказать: «Я тоже старый солдат и исполняю свой долг», но эта фраза показалась ему слишком напыщенной при Соболе.

— Я привык к организованным войсковым единицам, — сказал он извиняющимся тоном.

Соболь ничего не ответил.

Неловкую тишину одиноко прорезал отдаленный гудок паровоза. Оба ощутили легкое, едва заметное дрожание штабного вагона. Судя по гудку, паровоз шел с тыла.

— Это наш броневик, — сказал командующий.

— Наконец-то!

Соболь швырнул телеграмму и, жуя на ходу вытащенный из кармана хлеб, вышел на линию.

Из темного провала сопок, раскидывая по откосам клочья тяжелого дыма, неслся к штабу новенький бронепоезд.

Из бронированного паровоза, смеясь, выглядывал седенький машинист. Соболь заметил у его пояса пару английских гранат.

Поезд остановился за станцией, у стрелки. Из вагонов одна за другой выскакивали серые фигуры. Впереди шел начальник штаба фронта и его помощник. За ним виднелись еще знакомые и незнакомые лица.

— Черт возьми!.. Шептало! — воскликнул комиссар, узнав среди штабных начальника бронепоезда.

Черные, закоптелые лица обступили комиссара со всех сторон. Они радостно трясли ему руки и что-то кричали наперерыв. Двое из вновь прибывших, в одинаковых чистеньких френчах и кожаных галифе, остановились поодаль и улыбались.

— Не все сразу, — с нарочитой строгостью сказал комиссар. — Сначала о деле. Идите все на свои места, потом поболтаем. Шептало и вы, — он посмотрел на отдельно стоящую пару, — пойдемте со мной.

— Рассказывай, — обратился он к Шептало, когда они зашли в купе. — А ты все такой же, — перебил он себя, невольно переходя с официального тона на дружеский. — Ну, ну, рассказывай...

Шептало сообщил, с каким трудом удалось ему сформировать бронепоезд. Он постоянно сбивался с тона и, брызгая слюной, возбужденно передавал не относящиеся к делу подробности.

— Понимаешь, все уже было сделано! — кричал он на весь вагон. — Уж и орудия поставили, а ни один машинист не соглашается... Кстати, насчет орудий: эта трусливая никольская артиллерия никак не хотела от-

давать. Рабочие из мастерских даже депутацию к ним посылали. «Мы, — говорят, — маялись, делали, а вы удрали с фронта, да еще орудий не даете». Ни черта не помогает... Тогда уж и я разъярился. «Не дадите, — говорю, — начну садить по лагерям из пулеметов...» Все-таки отдали...

Он весело засмеялся, и, глядя на боевые искорки в его зеленовато-серых глазах, так же весело завторил ему Соболь. Двое в кожаных брюках скептически переглянулись.

— Так вот, про машиниста, — продолжал Шептало. — Я уж, брат, все службы — тяги, пути, движения и еще черт его знает какие службы облазил. Никто!.. Наконец этот старичок. «Мне, — говорит, — все равно умирать...» И поехал. Ей-богу...

Соболь смотрел на исхудавшее белобрысое лицо начальника бронепоезда и думал, что из этого парня будет толк. «Ничего, что немного звонит. Зато делает дело...»

— Ребята у тебя надежные? — спросил он вслух.

— Ребята — что надо! — восторженно воскликнул Шептало. — Большинство со Свиягинской лесопилки. Есть трое батраков из Зеньковки. Тут, брат, комедия... Один из них рассказывал, что после Кедровой речки он дезертировал домой. Так, понимаешь ли, собственная баба в избу не пустила. «Иди ты, — говорит, — ко псу, сметанник». Ей-богу, так и сказала: «Иди ты ко псу». Сам рассказывал. «Стало, — говорит, — мне соромно, я и вернулся...»

— А вы как к нему попали? — обратился Соболь к парням в кожаных брюках.

— Они не ко мне, — сказал Шептало. Его потрескавшиеся губы скривились в насмешливую улыбку. — Это так... случайные...

— У нас разрешение в Советскую Россию, — сказал один из них. Это был молодой белокурый парень с тонкими и правильными чертами лица.

— Так, — сказал комиссар. — Ну, мы еще поговорим. Шептало, можешь идти.

Он долго и пристально разглядывал оставшихся в купе. Его маленькие черные усики странно топорщились. Все трое молчали.

Соболь хорошо знал обоих по совместной работе во Владивостоке. Белокурый был матросом из музыкант-

ской команды Сибирского флотского экипажа. Его товарищ, горячий, неутомимый латыш, слесарил во временных мастерских. В те времена это были на редкость хорошие ребята.

— Как же вас выпустили из Владивостока? — спросил комиссар пытливо.

Белокурый звучно рассмеялся:

— Там сейчас такая неразбериха, что кого хочешь выпустят. Везде хозяйничают японцы. Наши прячутся по слободкам. Старик Крайзельман совсем потерял голову. Когда мы ему подсунули бумажку, он сразу подписал. Я еще сказал Артуру, что, подсунь ему его собственный смертный приговор, он бы так же подписал. Факт!

При его словах латыш нервно дернулся на койке.

— Разве у нас вожди?! — резко закричал он. — У нас сапожники! Все потеряли голову, мечутся, как угорелеватые. Мы думали, шьто хоть на фронте порьядок, а тут у вас тоже... Скорей бы уйти к черту из этого краю...

Он выразительно махнул рукой, и вся его мускулистая, чуть сгорбленная фигура, казалось, говорила о том, что он не желает больше об этом разговаривать.

— Так, — снова сказал комиссар. — И что же вы думаете делать в Советской России?

Его голос чуть заметно дрожал.

— Я проберусь в Латвию, — буркнул латыш.

— А я пойду по культурно-просветительной части. До японского выступления я уж ударял по этому делу. Хоть я и матрос, но ты знаешь, что из меня плохой вояка. А каковы твои планы на будущее?

— Я думаю всю свою дальнейшую жизнь посвятить военному делу, — насмешливо процедил Соболь. — Ну, покажите, какую вам дали бумагу...

— Ерунда, обыкновенный мандат. — Белокурый полез в бумажник. — А ты зря идешь по военной, — сказал он с сожалением. — Приморье погибло уж для Советской России, а в центре нужны люди для мирного строительства. Вот она...

Соболь взял протянутую бумажку и сунул, не читая, в карман.

— Теперь послушайте меня, — сказал он, неожиданно меняя тон. — Вы обманным путем ушли из Владивостока, забыв свой долг и бросив массы в самую тя-

желую минуту. Я отдал бы вас под суд, ежели бы они у нас не развалились. Я застрелил бы вас сам, ежели бы у нас хватало толковых людей. Я жалею, что не могу сделать ни того, ни другого... Но я предлагаю...

— Это плохие шутки, Соболь, — недоуменно перебил латыш.

— Молчать!.. — не выдержал комиссар. Он выхватил наган, и голос его звякнул, как лопнувший станционный колокол. — Сидеть смирно и слушать! Я предлагаю вам вот что: или вы пойдете в коммунистический отряд, дав мне слово, что не убежите, или я вас посажу под арест и не буду кормить до тех пор, пока вы не дадите мне этого слова и не пойдете в отряд.

— Соболь, что с тобой? Ты с ума спятил? — удивленно забормотал матрос.

— Одна минута на размышление, — сказал комиссар, выкладывая часы.

— Не пойму... — В глазах белокурого померк мягкий и теплый свет, и вся его фигура выразила удивление, беспомощность и вместе с тем сознание своей правоты.

— Я буду жалеться в областком! — вскипел латыш. — Это свинство!

— Когда будешь в Советской России, можешь пожаловаться в ЦК — там разберемся.

— Л...ладно, — сказал матрос после непродолжительного раздумья. — Мы можем, конечно, пойти и в коммунистический отряд. Но с твоей стороны это превышение власти. Ты определенно закомиссарился, ты за это ответишь. Я тебе говорю...

— Двадцать секунд осталось, — холодно обрезал комиссар.

— Да я же сказал, что мы пойдем!

— Товарищ Сикорский! — крикнул Соболь, открывая дверь. — Выдайте этим двум удостоверения в комотряд... рядовыми бойцами, — добавил он после некоторой паузы.

— Эх, Соболь, Соболь... — с грустью протянул белокурый.

— Канцелярия направо, — сухо сказал комиссар. — Я вас не задерживаю.

— Гас-тро-леры, — промычал он с непередаваемым презрением, когда оба спутника возмущенно выскочили

из купе. Ему казалось всего обиднее то, что один был слесарем временных мастерских, а другой — матросом революционного экипажа.

III

Соболь беседовал у бронепоезда с народоармейцами, когда всадник на взмыленной густогривой лошади выскочил из кустов и, быстро осмотревшись по сторонам, поскакал к штабному вагону.

«Это еще что за личность?» — подумал Соболь. Но когда всадник соскочил с седла, он сразу узнал в нем Челнокова. До этого ему не приходилось видеть его на лошади.

Приезд Челнокова был слишком необычен. Соболь оборвал свою речь на полуслове и не пошел, а побежал к штабу. Комиссар Амгуньского полка угрюмо поджидал его, прислонившись к вагону. Видно было, что он страшно устал. Его лошадь тоже понурила голову и застыла.

Соболь с силой сжал протянутую ему руку и несколько секунд не мог выговорить ни слова.

— Ну?! — прохрипел он наконец.

— Амгуньский полк ушел с позиции, — тихо проговорил Челноков.

— Тсс!.. — прошипел Соболь, до боли стиснув зубы. — Никому ни единого слова об этом. Здесь воздух полон паники. Идем в вагон.

Но когда они вошли в купе, комиссар фронта не мог больше сдерживаться. Он яростно вцепился в грязный челноковский френч и, дрожа от переполнявших его существо бешеных противоречивых чувств, закричал тонким, надорванным фальцетом:

— Как же ты допустил?.. Надо было держать з-зубами!.. Да что же у вас там... Челноков?!

— Я сделал все, что мог, — угрюмо пробормотал тот. — Но я не сумел убедить...

— Убедить?! — яростно повторил Соболь. — Комиссар! Надо было не только убеждать, надо было стрелять!

— Дело так сложилось, что не мог даже вытащить револьвера... Они направили на меня винтовки...

— Какое мне до этого дело?.. Ты должен был удер-

жать, понимаешь? До-олжен... Меня не интересует, убили бы тебя или нет!..

Соболь выпустил френч и возбужденно забегал по купе. Его маленькая растрепанная фигурка, мечущаяся в тесной и пыльной кабинке, как-то не вязалась с рослой, окаменевшей на месте фигурой Челнокова.

— Ты знаешь, что нужно сделать с тобой? — спросил вдруг Соболь, круто остановившись перед полковым комиссаром.

— Знаю, — сказал Челноков.

Соболь опустился на койку и сидел молча несколько минут. Слышно было, как в канцелярии кто-то неумело стукал на машинке.

В этой тишине слова комиссара прозвучали совсем по-иному.

— Федор, — тихо позвал он Челнокова, — ты не забыл, как мы пять лет работали у соседних станков?

Челноков вздрогнул, и странный мягкий звук сорвался с его уст. Соболь нервно хрустнул пальцами и так же тихо продолжал:

— И ты... не сумел удержать полк?

Комиссар Северного фронта не смотрел на своего подчиненного, но в его словах слышался такой же тихий, как его голос, укор.

— Я не сделаю тебе ничего, — продолжал Соболь, — потому что у нас мало таких людей, как ты, а мы милуем кой-кого и похуже. Но мы должны исправить положение. Ты понимаешь, Челноков?

Комиссар Амгуньского полка медленно поднял голову. Его смущенный взгляд встретился с серьезным и решительным взглядом Соболя, и в обоих мелькнуло нечто большее, чем простое взаимное понимание. Это была дружеская симпатия, может быть даже нежность. Но она показалась только на одно мгновение.

— Пойдем к командующему, — сказал Соболь.

Им требовался быстрый и правильный рецепт. Но что мог дать человек в старом полковничьем мундире, привыкший к организованным войсковым единицам? Он уныло посмотрел на обоих сквозь потные очки в черной, почти траурной оправе и не сказал ни слова.

— Если бы у меня было тогда с пяток надежных ребят, я бы удержал весь полк, — пояснил Челноков. — Но теперь его не возьмешь и с пятью десятками. Он

выйдет к реке и укрепится. Семенчук — старая лисица!

Он вопросительно взглянул на командующего, но тот по-прежнему молчал. Когда-то точная и исполнительная машина теперь отказывалась работать. Соболь схватил телеграфный бланк и, вырвав из рук командующего карандаш, стал быстро писать, нагнувшись над столом.

— Подпишите! — сказал он, подсовывая исписанный бланк. — Челноков, я сообщаю о происшедшем в ревштаб и прошу прислать один из матросских батальонов в твое распоряжение. Ты сейчас же сядешь на дрезину и поедешь на Вяземскую. Там встретишь эшелон и вместе с отрядом пройдешь трактом к Аргунской. Я думаю, к завтрашнему вечеру ты уже будешь там. Семенчуку больше некуда деться. Я даю тебе все права и полномочия, какие только потребуются.

— А если он успеет погрузиться на пароход?

Соболь схватил другой бланк:

«Станица Орехово. Коменданту «Пролетарий» Селезневу. Никаких частей без моего ведома не грузить.

Военком фронта Соболь».

— Орехово выше Аргунской, — пояснил он, — там тоже есть телеграф. Селезнев зайдет в Орехово за динамитом. Ну... иди, брат... ждать некогда...

Они вместе вышли на линию. На привязи у вагона все в том же положении стояла лошадь Челнокова. Из ее грустных полуоткрытых глаз сочились мутные слезы усталости и голода. Челноков ласково потрепал ее по шее.

— Ты позаботься о моей лошадке, — сказал он Соболю. — А потом... — Он на мгновение замялся и странно дрогнувшим голосом докончил: — Может, у тебя найдется кусок хлеба... для меня?

Только теперь Соболь заметил, что Челноков бледен, как песок. Кожа стянулась на его лице, резко обозначив скулы и челюсти. Под глазами выступили расплывчатые синие круги, и веки чуть заметно дрожали.

Соболь убежал в вагон и через минуту вернулся с ковригой гречишного хлеба и с большим куском нутряного сала.

— Есть сумка, куда положить? Нет? Ну, возьми мою!

Он снова сбегал в вагон и принес походную сумку японского образца.

— Носи за мое здоровье! — сказал он шутливо.

IV

Пароход «Пролетарий» имел свою историю. Когда Иманский ревштаб пришел к необходимости эвакуировать за Амур все, что поддается эвакуации, он столкнулся с рядом непредвиденных затруднений.

Прежде всего требовалось судно, на котором можно было провозить эвакуированные грузы. Нужен был твердый и исполнительный человек, способный взять на себя такое опасное и ответственное дело. И наконец, необходим был новый путь для эвакуации, так как Уссури впадала в Амур возле Хабаровска, а в последнем сидели японцы.

В течение нескольких дней штабная канцелярия занималась отыскиванием нового пути. Были извлечены из старых переселенческих архивов изъеденные мышами, пожелтевшие от времени географические карты, из которых ни одна не походила на другую, хотя все изображали одну и ту же местность.

Комендантская команда ловила на побережье загорелых рыбаков и хитрых, предприимчивых скупщиков меха, могущих дать хоть какие-нибудь сведения по указанному вопросу.

И путь был наконец найден.

Это была Центральная протока, вытекавшая из Амура в пятидесяти верстах выше Хабаровска и впадавшая в Уссури верст на сорок выше того же города. Пароход должен был спускаться по Уссури до устья протока и, свернув в нее, идти против течения до тех пор, пока не попадет в Амур. Таким образом, Хабаровск оставался в стороне. По свидетельству рыбаков, то была глубокая протока, хотя по ней не плавало еще ни одно паровое судно.

С пароходом дела обстояли хуже. В Иманском затоне находилась старая баржа в сто тонн водоизмещения и маленький поломанный пароходик, насчитывавший пятьдесят восемь лет производственного стажа. Когда-то он назывался «Казаком уссурийским», а баржа — «Казачкой», но после февральской революции его переименовали в «Гражданина», а баржу — в «Гражданку». При Колчаке на нем вылавливали в тростниковых зарослях Сунгача беглых большевиков и красногвардейцев. Пароход был заново перекрашен и перекре-

щен в «Хорунжего Былкова», а баржа — в «Свободную Россию». По мнению знающих людей, он теперь ни к чему не годился. Но председатель ревштаба осмотрел его самолично и нашел, что «можно починить». Нужен был только человек, способный взяться за это дело.

Стали искать человека. Он должен был, во-первых, хоть немного понимать в пароходном деле, во-вторых, отличаться поистине дьявольской настойчивостью, и, в-третьих, его глаза не смели косить в сторону Советской России. Иначе он мог исчезнуть в первом же рейсе, как только попадет за Амур.

Надо сознаться, таких людей на Уссурийской ветке было очень мало. И все-таки нашли. Он командовал комендантской ротой города Имана и, по имевшимся сведениям, плавал раньше на торговых и военных судах.

Председатель ревштаба занимался у себя в кабинете, когда дверь отворилась без доклада и в комнату вошел плотный чернявый человек среднего роста, в короткой гимнастерке полузащитного цвета и простых кожаных брюках, заправленных в грубые сапоги.

— Что вам угодно? — спросил председатель сухо. В эти дни у него бывало излишне много посетителей, и вошедшего он видел в первый раз.

— Я Никита Селезнев, — просто сказал вошедший. — Меня вызвали по делу эвакуации.

— Садитесь, — сказал председатель, указывая на стул. — Это очень серьезное и ответственное дело. Мы предлагаем вам отремонтировать пароход в две недели. Ни в коем случае не позже — в порядке боевого приказа.

Излагая Селезневу, в чем состояла задача, он пристально изучал его внимательное, спокойное лицо и плотную, резко очерченную фигуру. У Селезнева были сильные челюсти, прямой и крепкий нос, темные, почти черные волосы на голове и такие же подстриженные по-английски усы. Одна из его бровей поднялась чуть выше другой, и из-под обеих смотрели острые, проницательные глаза цвета полированной яшмы. На вид ему можно было дать около двадцати семи лет.

— Нам требуется строгая точность и исполнительность в этом деле, — говорил председатель. — Вы сами знаете, что теперь творится. Можно сказать заранее, что

вас толпой будут осаждать дезертиры с просьбой перевезти за Амур. Они будут угрожать вам оружием и, очень возможно, отправят вас на тот свет. Но мы все ходим под этой угрозой... Что вы предполагаете сделать на первый случай?

Селезнев несколько секунд молча теребил фуражку и, внезапно надев ее на голову быстрым, решительным движением, сказал:

— Ежели готов мандат, я приду к тебе через неделю и скажу, что я уже сделал.

Он сказал председателю «ты», как говорил всем людям, с которыми встречался хотя бы и в первый раз. В его тоне чувствовалась врожденная незлобивая грубоватость.

— Мандат сейчас заготовят, — сказал председатель. И, тоже переходя на «ты», спросил: — Ты коммунист?

— Да.

— Можно надеяться, что ты сам не сбежишь за Амур?

Он ожидал, что Селезнев обидится на этот вопрос и скажет какую-нибудь резкость. Но Селезнев просто ответил:

— Можно.

Вопрос был исчерпан. Через полчаса Селезнев ушел из штаба с длинной инструкцией, ни один пункт которой не понадобился из-за ее нежизненности, и с таким же мандатом. Последний тоже не нашел себе применения, так как оборудование парохода нужно было проводить отнюдь не мандатом, а либо уменьем убеждать, либо силой кулака и нагана.

Прежде всего Селезнев взял себе помощника — взводного командира Назарова, из комендантской роты.

Это был необычайно рослый волосатый человек, угрюмый и несуразный, как выкорчеванный пень. Когда-то он работал на Сучанских угольных копях и вынес с той поры редкие качества: никуда не смотреть, все видеть и в течение нескольких дней не произносить ни слова. Несмотря на это, а может быть, благодаря этому он имел верный глаз на людей и умел их отыскивать.

— Вот что, Назарыч, — сказал Селезнев, — ты достань мне одного писучего, другого хозяйственного человека! А потом натаскай ребятишек для пароходной комендантской команды! Работнем — куда ни шло...

Сам он пошел в типографию «Рабоче-крестьянской газеты», и на следующий день были расклеены по городу приказ и воззвание: *«Всем, служившим когда-либо на пароходе «Хорунжий Былков» и барже «Свободная Россия», явиться к коменданту указанного парохода т. Селезневу, в контору на берегу, 22 апреля, к 8 часам утра».*

Первым явился на зов маленький кривоногий старичок во главе небольшой кучки веселых загорелых парней в засаленных блузах и широких брезентовых штанах навыпуск. Он оказался судовым машинистом, а сопровождавшие его ребята — матросами с парохода.

Они произвели на Селезнева самое хорошее впечатление. У старичка были длинные, опущенные книзу хохлацкие усы и густые седоватые брови. Он, видимо, любил поговорить и после каждой фразы как-то особенно щурился. Морщины на его маленьком шершавом лице, черные от въевшейся копоти и машинного масла, делались при этом еще чернее и глубже.

— Ты видел ево... пароход-от, голова? — говорил он с добрым затаенным смехом в глазах. — Дрянь посудинка-то, ну? Ничево-о, голова! Нала-адим. Там в машине малость частей не хватает, дак в депе можно раздобыть — пойдет...

— Как же тебя записать? — спросил Селезнев. — Машинистом?

— Люди механиком звали, а хошь — пиши машинистом... Нам все едино... Мы народ негордый...

Он засмеялся мягким, беззвучным смехом, похожим на шорох дыма в пароходной трубе.

— Механиком и запишем, — серьезно сказал Селезнев. — А матросы тут все?

— Пятерых нет, — сказал «механик», — удрали.

— Босотва! — презрительно добавил нескладный чубатый парнишка. — Трусят...

— Перело-овим! — уверенно загудели остальные.

Селезнев отвел ребятам место в конторе и выписал им паек.

Работа пошла веселее.

В тот же день пришел капитан парохода — костлявый мужчина лет сорока, одетый, несмотря на стоявшую теплынь, в теплую казачью шинель и такую же папаху. Он относился к своей судьбе со странным безразличием,

и Селезнев долго не мог отгадать, каково его действительное настроение. Они вместе прошли на пароход, где уже возились маленький механик и раздобытые им неизвестно откуда слесаря и плотники. Увидев, что работа кипит, капитан несколько оживился.

— Пятьдесят восемь лет посудинке! — сказал он с неожиданными ласковыми нотками в голосе. — Отец мой сорок лет на ней плавал. На Ханку и к Николаевску ходил. Тогда тут еще маленький поселочек был, а теперь — город...

Последнее слово капитан произнес с легким оттенком неодобрения и даже досады.

— Тебя как звать? — спросил Селезнев.

— Усов, Никита Егорыч.

— Тезка, значит? Ладно. Так вот, Никита Егорыч, назначаю тебя старшим по ремонту. Понял? Все, что требуется, докладывай мне. Срок — неделя.

— Недели мало, — сказал капитан, снова переходя на безразличный тон.

— Неделя! — решительно отрезал Селезнев.

Капитан помялся, потеребил выцветшие казачьи усы и, как-то сбоку глядя на Селезнева, сказал тем же безразличным тоном:

— Попробуем. Я хочу вам сказать, что я, конечно, не интересуюсь политикой. Но японцы тоже не по мне. Я не стану тормозить дело.

— Еще бы ты стал тормозить! — с обычной грубоватой и вместе с тем незлобивой насмешкой воскликнул Селезнев.

Но он понял капитана очень хорошо. Старый речной судак действительно боялся политики и предпочел бы сидеть дома. Но раз его сволокли с нагретого места, он решил работать не за страх, а за совесть, как работал на «Хорунжем Былкове», когда тот вылавливал большевиков.

На другой день Назаров привел «хозяйственного человека».

Более странного и подозрительного типа Селезнев не видел никогда в жизни.

Его лицо, волосы, шея, кисти рук с неимоверно длинными пальцами были ярко-рыжего, огненного цвета. Веснушчатый нос чуть вздернулся кверху и совсем не вязался с горестной и немного ядовитой складкой тон-

ких обветренных губ. При всем том «хозяйственный человек» имел очень жуликоватый вид, усиливавшийся потрепанным клетчатым пиджаком с воротником, загнутым кверху, указывавшим на знакомство с последней модой амурских «налетчиков».

Неприятно поразили Селезнева уставившиеся в него немигающие белужьи глаза с длинными, почти белыми ресницами.

Фамилия «хозяйственного человека» оказалась Кныш.

Он должен был добыть весь необходимый материал по оборудованию парохода и заготовить продовольственные запасы для матросов и комендантской команды.

Однако он не выразил никакого испуга или протеста, узнав про трудности своей будущей работы.

Селезнев не решился сразу ввести его в курс и велел ему прийти на следующее утро.

— Назарыч! — недоуменно воскликнул он, когда Кныш вышел из конторы. — Ты промахнулся на этот раз, старый братишка. Ну скажи мне: ну что это за фигура?

Назаров вытащил из кармана голубенький кисет и, распустив завязку, достал из него кусок газетной бумаги и щепотку крупного коренчатого табаку. Свернув папироску, он протянул кисет Селезневу и, по обыкновению не глядя ни на кисет, ни на Селезнева, сказал спокойным и ровным тоном:

— Это жулик. За ним придется присмотреть. Только для нас... — Тут Назаров сделал маленькую паузу и тем же спокойным тоном докончил: — Это самый годящий человек.

Чувствуя, однако, что для Селезнева его слов недостаточно, он продолжал:

— Нас он не надует — факт. А других — сколько угодно. Он тебе самую последнюю гайку хоть из-под земли, а доставит моментом. В живом виде.

Селезнев решил не спорить, а посмотреть. Но он не оставил Кныша без контроля и, дав ему на другой день задачу добыть в Иманском депо необходимые для машины части, написал бумажку от себя, в которой точно указал, какие именно части были нужны.

— Сходи в ревштаб, пущай председатель наложит резолюцию — «выдать».

Кныш оказался талантливее, чем предполагалось. В первый раз он действительно сходил в ревштаб и получил требуемую резолюцию. Однако он сразу увидел, что это очень длинная, волокитная история, а главное — никому не нужная. Развалившиеся части и учреждения не обращали никакого внимания ни на бумагу, ни на резолюцию ревштаба, а всюду приходилось действовать самому. Тогда он засел за работу и в пять минут разучил подпись председателя как нельзя лучше. На всех следующих бумажках, выдаваемых Селезневым, он накладывал резолюцию собственноручно и, раздобыв требуемую вещь всякими правдами и неправдами, возвращал бумажку с надписью: *«Исполнено»*.

Если ему не удавалось перехитрить тех, от кого зависела выдача необходимого продукта или материала, он старался его украсть. У него было неисчислимое количество «друзей», способных за незначительное вознаграждение выкрасть с неба апрельскую луну.

Неизвестно, какое количество различных ценностей Кныш употребил в свою пользу, но к указанному Селезневым сроку он не только достал все, что требовалось для парохода, но и нагрузил его более чем достаточным количеством муки, сала, печеного хлеба, солонины, гнилой копченой рыбы и даже липового меда.

Приведенный Назаровым «писучий человек» оказался вихрастым синеглазым мальчуганом лет пятнадцати, служившим до этого поваренком в одном из полков. Он совсем недавно бежал из родительского дома и жаждал более авантюристических похождений.

— Переезжай ко мне со всем имуществом, — сказал ему Селезнев. — Будем друзьями.

Имущество синеглазого парнишки выразилось в маленьком вещевом мешке, в котором кроме смены белья хранилось «Руководство для кораблеводителей» издания 1848 года, сломанный детский компас и старый заржавленный пугач без единого патрона.

Как бы то ни было, но работа в затоне закипела с лихорадочной быстротой. И каждый новый человек, каждый фунт краденого сала, каждая маленькая ржавая гайка, попадая на пароход, чувствовали на себе

острый, распорядительный глаз Селезнева и его твердую, в железных мозолях, руку.

Через девять дней после начала работы Селезнев явился к председателю ревштаба и доложил ему, что «все готово». Пароход и баржа были заново отремонтированы, покрашены и в четвертый раз в своей жизни переименованы. Теперь пароход назывался «Пролетарий», а баржа — «Крестьянка».

К этому времени сформировалась комендантская команда. Это была разноликая, разношерстная «братва». Тут были рослые крепкоскулые пастухи с заимок Конрада и Янковского — задумчивые ребята в широкополых соломенных шляпах, с неизменными трубками в зубах. Были замасленные и обветренные машинисты уссурийских паровозов, с черными, глубоко запавшими глазами, похожими на дыры, прожженные углем. Были тут и разбитные парни с консервной фабрики, с острыми, ядовитыми язычками и жесткими ладонями, порезанными кислой жестью.

Они безропотно грузили все, что им прикажут, и в жгучий полдень и в слизкие, дождливые ночи, задыхаясь под тяжестью массивных станков и несчетного количества орудийных снарядов. Они несли бессменную вахту у пулеметов, с минуты на минуту ожидая выхода японских канонерок, чтобы перерезать им путь, и дрались смертным боем с бесчисленными толпами дезертиров, грозивших либо овладеть пароходом, либо «разнести в дресву паршивую посудину». Днем обстреливали их китайские посты, как только пароход приближался к китайскому берегу, а ночью леденил холодный туман, и сумрачный стлался вдоль границы Китай, суливший нежданные хунхузские налеты *.

За Амуром у каждого оказались друзья, предлагавшие не ехать назад, в «чертово пекло», обещая «устроить» на более спокойные места без всякого риска. Но, справив дела, они неизменно возвращались обратно, шли, стиснув зубы, надвинув шапки на брови, снова вверх и вверх против течения — для новых вахт и драк, за новым драгоценным грузом.

И не знавший правил правописания, бесстрастный

* Имеются в виду отряды, состоящие из деклассированных элементов.

телеграф слал по линии одну за другой деловые телеграммы со странной, непонятной надписью: *«Комендант пролетарий селезнев»*.

V

Этот день был несчастлив с самого начала.

Около трех часов ночи пароход «Пролетарий» сел на мель верстах в двенадцати выше станицы Орехово. Чувствовалась несомненная халатность, так как речной фарватер был изучен до тонкостей в прошлые рейсы.

Кривоногий машинист свел Селезнева в трюм и, приподняв половицу, показал ему, чем угрожает подобный опыт в следующий раз.

— Глянь, голова, — сказал он, добродушно щурясь в темноте, — днище-то на ладан дышит, насквозь проржавело. Еще разок сядем, и — каюк.

По счастью, мель оказалась неширокой, и баржа, шедшая с пароходом «под ручку», остановилась на глубине. Вся пароходная команда, за исключением капитана и машиниста, перебралась на баржу. Нагруженная до отказа, подталкиваемая течением, она сволокла пароходик собственной тяжестью.

Селезнев вызвал капитана в каюту и, глядя в упор в его водянистые глаза, сурово сказал:

— Мы больше никогда не сядем на мель. Понял?

Разумеется, капитан был очень понятливым человеком. Но все-таки вместо четырех часов ночи они пришли в Орехово к девяти часам утра.

Измученный бессоньем, Селезнев едва стоял рядом с Усовым на капитанском мостике. Боясь уснуть, он заставлял себя изучать то неясные очертания далеких сопок, то прибрежные зеленеющие холмы, то притулившиеся к ним разбросанные избы станицы. Они все тонули в молодых вербовых зарослях. Весенний клейкий лист играл на солнце, как олово. Из кустов возле телеграфа вился кверху белесоватый, смешанный с паром дымок. Казалось, что вместе с ним тянется оттуда жирный запах сомовьей ухи. В ту весну по Уссури то и дело сплывали книзу безвестные трупы, и от них сомы жирели, как никогда.

Наконец пароход причалил, и Селезнев пошел на телеграф. За ним на почтительном расстоянии шагал

«писучий человек» с тощей порыжевшей папкой под мышкой. Кстати сказать, в ней не имелось ни одной бумажки, и вряд ли она вообще была для чего-нибудь нужна. «Писучий человек» переоделся в ватные шаровары и просторную солдатскую гимнастерку. Ему пришлось подвернуть рукава, а похожая на блин фуражка покоилась не столько на его голове, сколько на ушах. Тем не менее он чувствовал всю важность и ответственность своего положения.

В конторе Селезневу передали телеграмму Соболя. Она удивила его и заставила насторожиться.

— Чудасия, — сказал он «писучему человеку», — кажись, мы ничего не делаем без приказу. Что-нибудь тут неспроста.

Около кустов, из которых тянулся заманчивый кухонный дымок, их остановил полный человек в коричневом пиджаке и жесткой соломенной шляпе.

— Товарищ Селезнев, здравствуйте! — сказал он с виноватой, несколько заискивающей улыбкой.

Селезнев узнал председателя партийного района, в котором он состоял во Владивостоке.

— Здорово. Ты как сюда попал?

— Да вот... попал... — неопределенно пробормотал тот.

— Что делаешь?

— Да ничего. Так вот — туда, сюда. Неразбериха.

— Будет врать-то, — раздался из кустов хриплый насмешливый голос. — Скажи: младший гарнизонный повар. Потому, мол, ни к чему другому способностей не оказал.

Селезнев посмотрел на руки председателя района и заметил, что его пальцы порезаны и желты от картофеля.

— Что ж, и это дело, — сказал он, зевая.

Председатель покраснел и спрятал руки в карман.

— Товарищ Селезнев, — начал он, нервно мигая глазами, — не перевезете ли вы меня... за Амур?

— Разрешение есть?

— Разрешения нет, но... что ж я тут... верчусь — так, зря?..

«А ведь казался хорошим партийцем...» — в недоумении подумал Селезнев.

— Без разрешения не перевезу, — сказал он сухо.

— Товарищ Селезнев... — В дрожащем голосе председателя послышались умоляющие нотки. — Я вас прошу... в память нашей совместной работы... Я... измучился, я не могу больше работать здесь.

— Слушай, брось ныть, — устало перебил Селезнев. — Я не возьму без приказу. Прощай.

Он круто повернулся и пошел к пароходу. «Писучий человек» с любопытством наблюдал за обоими.

— Не берет, — сказал председатель со смущенной улыбкой.

Губы «писучего человека» задрожали мелкой смешливой дрожью, но он удержался от смеха. Кинув на председателя истинно комиссарский взгляд, он небрежно произнес:

— Подайте заявление и анкету в двух экземплярах. А впрочем, я вам не советую ехать. На нашем пароходе оч-чень опасно.

Комендантская команда грузила динамит. Из продолговатых ящиков тянулся легкий дурманящий запах, от которого кружилась голова. Несмотря на усталость, Селезнев присоединился к работе. Глядя на него, примкнули и матросы, хотя погрузка не входила в их обязанности.

Потом, лежа в каюте, Селезнев думал о странной телеграмме с фронта, и, даже когда совсем засыпал, ему казалось, что неугомонная пароходная машина выстукивает те же слова: *«Никаких... частей... не грузите...»*

VI

Он проснулся оттого, что кто-то настойчиво тормошил его за плечо.

— Товарищ комендант! Товарищ комендант!

Он вскочил на ноги и протер глаза.

Перед ним стоял «писучий человек» с беспокойным, несколько растерянным выражением лица.

— В Аргунской стоит какая-то часть...

Селезнев надел фуражку и стремительно побежал наверх.

Извиваясь меж холмов, стлалась вниз сверкающей лентой река. Впереди, на голом безлесном мысике, лепилась маленькая станичка, необычно кишевшая наро-

дом. Вся комендантская команда высыпала на палубу. Многие, чтоб лучше видеть, забрались на снарядные ящики, не уместившиеся в баржевом трюме и аккуратно уложенные наверху.

Селезнев посмотрел в бинокль и без труда различил на людях вооружение и походную амуницию. Он сразу почувствовал какую-то связь между ней и полученной им вчера телеграммой.

— Товарищ Усов, — сказал он, быстро оборачиваясь к капитану, — на этот раз мы не зайдем в Аргунскую.

— Нельзя не зайти: дрова на исходе.

Селезнев послал Назарова проверить. Дров действительно оказалось мало. Он знал, что на всем остальном пути их негде будет достать, а следовательно, вопрос решался сам собою.

— Команда... в ружье! — крикнул он жестким, отвердевшим голосом. — Пулеметчики, на места! Живо!

Не глядя на побледневшее лицо капитана, он перешел на баржу и, отозвав Назарова в сторону, велел занять ему место у сходен.

— Как сходни перебросим, ухо держи востро. Никого не пущай. Полезут силой — стреляй.

— Кныш, иди-ка сюда, — позвал он «хозяйственного человека». — Сегодня тебе будет большая работа. Ты, говорят, мастер заговаривать зубы. Как только причалим, слезай на берег и начинай тереться промеж братвы. Разговор заводи посурьезней: что-де, мол, пароходишко-то чуть жив, того и гляди на дно пойдет, в протоке, мол, обстреливают каждый раз из орудий, прошлый раз, мол, сорок человек из строя выбыло... Да что тебя учить — сам грамотный! Одним словом, прикинься хорошим дружком, а сам пугай.

Кныш тотчас же выразил свое согласие, как соглашался и раньше на все, что ему предлагали.

— Только смотри, — предупредил Селезнев, — если какая дурь взбредет в голову...

Тут он выразительно хлопнул по карману с револьвером, и его лицо приняло черствое, почти жестокое выражение.

— Не взбре-дет, — засмеялся Кныш, — дело знакомое.

Пароход подходил все ближе и ближе, но на берегу

не чувствовалось никакого волнения. Теперь простым глазом можно было различить в толпе не только оружие, но даже выражение лиц. Они смотрели с любопытством и ожиданием, но без всякой враждебности.

Пароход медленно повернулся против течения почти у самого берега.

— Отдай якорь! — хриплым, не своим голосом скомандовал Усов.

— Здорово, ребя-аты! С приездом! — кричали на берегу.

Селезнев снял фуражку, помахал ею в виде приветствия. Выражение его лица было приветливо и беззаботно.

Покачиваясь на собственных волнах, пароход подошел к пристаньке. Тотчас же двое ребят соскочили на берег и закрепили концы. Чьи-то сильные загорелые руки перебросили сходни, и по ним врезалась в толпу частая матросская цепь. Двое с винтовками впереди расчищали дорогу к дровяным штабелям, а за ними несколько смущенно и неуверенно тянулись остальные.

Впрочем, никто не оказал им никакого сопротивления.

Стоявший наготове Кныш незаметно юркнул в толпу.

— Что за часть? — спросил Селезнев, спускаясь на берег.

— Мы семенчуковцы... — раздалось несколько голосов.

— Слыхал, слыхал... Молодцы, — похвалил Селезнев, — боевых сразу видно...

Широкоплечий скуластый мужчина в тигровой тужурке выдвинулся из толпы и подошел к нему.

— Я командир отряда, — сказал он, протягивая руку.

— А я комендант парохода, — отрекомендовался Селезнев.

«Ну и ряшка», — беспокойно подумал он, изучая наклонившееся к нему лицо.

— Мне тебя и надобно, — продолжал Семенчук, — насчет нашей погрузки.

— Идем на пароход.

Когда они проходили мимо окаменевшего у сходен Назарова, Селезнев пропустил Семенчука вперед и, незаметно тронув взводного за рукав, шепнул:

— Пошли одного парня к моей каюте. Пущай станет у дверей и ждет, пока позову.

Он с удовлетворением отметил, что погрузка дров идет полным ходом, и, подхватив Семенчука под руку, вместе с ним спустился в каюту. «Главный выигрыш — время», — подумал он, шагая по шатким ступенькам.

На берегу мирно дымились бивачные костры. Кныш быстро втерся в одну из компаний, отыскивая земляков.

— Так, так, — говорил он, хитро прищуривая глаза. — Амурцы, значит? Стало быть, землячки?.. Так, так... Каких уездов?

Оказалось, что тут имеются люди со всех концов Амурской области. Кныш знал ее вдоль и поперек и, таким образом, с первых же слов обнаружил себя вполне своим человеком.

— И давно вас сюда передвинули?

— Сами пришли. Нешто кто передвинет? Ка-ак же!.. Держи карман шире... Тута все продано до последнего человека... Ежели командующий золотопогонник, какая тут война?..

— Это верно, — согласился Кныш. — Нашего брата везде надуют... Это уж как было, так и останется. Землю пашем мы, а хлеб кушает дядя... Куда же вы теперь?

— Домой.

— Та-ак...

Кныш подбросил в огонь несколько щепок и с видом человека, который говорит истинную правду, но в общем не заинтересован в том, как ее примут, спокойно произнес:

— Только домой вам не попасть, вот.

— Чего так?

— А за Амуром, братишка, такой порядок: приезжает человек — к нему сейчас же начальство: «Ваш пропуск?» Пропуска нет — чик... и готово... в Могилевскую губернию. Это, брат, там моментом.

— Расска-азывай! — недоверчиво протянул кто-то.— Нас целый отряд, а не то што какой один...

— Что ж, что отряд?.. Вот прошлым рельсом тоже перевезли один батальон. Нам, натурально, все едино, а у его приказу не было. Так за Амуром сейчас же орудия, пулеметы... Наставили: чик-чик-чик... — Кныш вы-

разительно повращал белками и, безнадежно сплюнув в сторону, добавил: — Под чистую.

Его слова действовали самым убийственным образом, но он и привык работать наверняка. Умение провоцировать входило составной частью в его многообразную профессию. Он обходил кучку за кучкой, то выпрашивал табачку, то отыскивал двоюродного брата и всюду рассказывал о том, как «прошлым рельсом» они отбивались от японцев в протоке ручными гранатами, или о том, что стоять в Аргунской тоже далеко не безопасно.

— Вот дня четыре тому назад... японская канонерка версты на три досюда не дошла. А мы от их всякий раз бегаем: служба такая...

В каюте Селезнев потребовал от Семенчука приказ о погрузке.

— Видишь, какое дело, — ответил Семенчук, — отправили нас срочно и писаного приказа не дали. Командующий на словах передал. «Идите, — говорит, — там погрузят».

Он хитро мигал глазами и крякал после каждого слова.

— Как же мне быть? — нерешительно мямлил Селезнев. — Ну, ты сам командир, понимаешь, в чем тут загвоздка?.. Ну как бы ты сам поступил?

— Да ясное дело как! — воскликнул Семенчук. — Омманывать я, чай, не стану. Тут дело верное.

— Давай лучше вызовем к прямому проводу штаб, — предложил Селезнев.

— Телеграф не работает, я уже пробовал, — соврал Семенчук. — Да ты что, не веришь, что ли?

Теперь Селезнев не сомневался, о ком говорила полученная им телеграмма. Ждать дальше не имело никакого смысла. Как бы в раздумье он прошелся по каюте и, поравнявшись с дверью, выхватил из кармана браунинг.

— Не шематись! — крикнул тугим и звонким, как натянутый трос, голосом. — Руки на стол! Ну-у! Поговорим по-настоящему.

— Ты что? — прохрипел Семенчук, бледнея. — Ты что!.. Ах ты с...

— Цыть! — оборвал Селезнев с мрачной угрозой. —

Только пикни — дыр наделаю — не сосчитаешь! Эй, кто там? Сюда иди!

Стоявший у дверей народоармеец ворвался в каюту.

— Обезоружить!

В несколько секунд Семенчук лишился всех знаков своего командирского звания.

— Вот теперь погрузился и сиди, — мрачно пошутил Селезнев. — Все равно, где расстреляют: здесь или за Амуром.

Он вышел из каюты и запер Семенчука на ключ.

— Иди на берег, — сказал народоармейцу, — и позови Кныша. Скажи, мол, комендант и Семенчук зовут узнать насчет продуктов. Да пошли ко мне Назарова!

Он еще не знал точно, что ему делать в дальнейшем, но первая позиция была занята почти без боя.

— Назарыч! — сказал он, когда взводный спустился вниз. — Всю команду незаметно разложи по борту. Усову скажи, пущай приготовится. Как кончат грузить дрова, скажешь мне, а кого другого пошли отдать концы. Если спросят на берегу, зачем отвязывает, пущай скажет, что грузить, мол, вас будем у второго причала, выше...

«Может, выйдет, а может, и нет», — подумал он, провожая взводного глазами. Во всяком случае, ему самому не следовало вылезать наверх без Семенчука.

Минут через пятнадцать пришел Кныш.

— Ну, как там? Что говорят?

— Да что, товарищ комендант, народ серый... — Кныш презрительно почесал за ухом. — Я им наговорил страстей — до будущего года хватит. Придет, говорят, Семенчук, будем митинговать. Только злы они — это верно.

— Ладно. Больше на берег не ходи. Ступай.

Когда Селезневу сообщили, что погрузка окончена, он не пришел еще к ясному решению. Туго перетянув пояс и надвинув фуражку на лоб, взбежал на палубу и, пригибаясь к доскам, почти ползком перебрался на баржу. Нудно скрипела ржавая цепь, и где-то внутри медленно стучала машина, подталкивая судно навстречу якорю.

Весь Семенчуковский отряд сгрудился у второго причала. Бесформенная, обезглавленная масса зловеще чернела на светло-зеленом фоне берега, но Селезнев чув-

ствовал всем своим нутром, что она сплошь состоит из усталых, растерянных и обманутых людей.

Лежа между снарядными ящиками, он слышал, как пароходные лопасти со звоном раскалывали воду, и думал, как поступить. Он мог бы просто миновать второй причал, дав судну полный ход. Но тогда люди на берегу почуют измену и откроют стрельбу. Он не имел права идти на такой риск, чувствуя под ногами семьдесят пудов динамита. Одной пули в трюм было бы достаточно, чтобы от гнилой посудины не осталось и следа. Значит...

Лицо Селезнева стало коричневым и жестким, как ржавое железо. Он медленно повернул голову и тихим, оледеневшим голосом бросил припавшим к борту людям слова, простые и безжалостные, как камни:

— Взвод, слушай... мою команду... Пулеметчики, приготовься... По Се-мен-чу-ковскому... отря-аду.. постоянный прицел... Взво-оод!

С берега доносился разноголосый человеческий гомон, и жутко и ровно стучала машина, как настороженное сердце зверя.

— Пли!

В первое мгновенье никто на берегу не понял, что это смерть. Но залп следовал за залпом. Тогда, бросая винтовки, скатки, патронташи, сумки — все, что мешало бежать, — сгибаясь к земле, люди ринулись прочь от берега. Они падали в траву безжизненными кулями мяса, не издав предсмертного стона, а раненые впивались в землю костенеющими от страха пальцами.

— Вверх стрелять! — кричал Селезнев. — Довольно по людям! Усов, давай полный!

Пароходик рванулся книзу и, кутаясь клубами дыма, разбрасывая в стороны белые пласты кипучей холодной пены, помчался прочь от Аргунской.

VII

Челноков прибыл на станцию Вяземскую поздней ночью. Матросский батальон ждал его на перроне в полном боевом снаряжении. Батальоном командовал рослый сивоусый матрос с миноносца «Гроза». От него Челноков узнал историю похода матросских батальонов из Владивостока на Иман.

Когда японцы врасплох напали на владивостокский гарнизон, доблестные моряки под перекрестным пулеметным огнем высадились с миноносцев на берег и, преодолев восемь рядов проволочных заграждений, вырвались в тайгу. Окольными тропами, продираясь сквозь валежник и чащу, они в двенадцать суток сделали около пятисот километров и утром вошли в город Иман усталые и загоревшие, с песней:

По морям, морям, морям,
Нынче — здесь, а завтра — там...

На рассвете батальон под командованием Челнокова выступил в направлении станицы Аргунской. Две ночи батальон провел в тайге. На третьи сутки высланная Челноковым разведка сообщила, что Аргунская близко и что Амгуньский полк еще находится в станице.

— Что-то, товарищ комиссар, неладно у них, — сказал разведчик, отирая рукавом пот и улыбаясь. — Баба в крайней избе говорит, будто приходил пароход и командира увез у них... Большая, говорит, стрельба была, есть убитые и раненые...

— А часовые у них расставлены? — удивленно приподняв брови, спросил Челноков.

— С этого краю часовых нет...

Оставив батальон в лесу, Челноков с двумя разведчиками взобрался на сопку. Станица Аргунская лежала снизу в вербовых зарослях. Далеко видна была извивающаяся лента реки, отливавшая серебром и весенней синью.

Посреди станицы, у церкви, виднелась большая толпа вооруженных людей. Семенчуковский отряд митинговал.

Люди, лиц которых нельзя было разобрать, сменяя один другого, взбегали на паперть, игрушечно размахивали руками. Иногда до Челнокова докатывался гул голосов.

Коренастый человек, сильно прихрамывая, взошел по ступенькам. По его фигуре и хромоте Челноков узнал в нем командира первой роты Буланова, бывшего пастуха. Буланов постоял на паперти, потом поднял руку, и тотчас же лес рук вырос над толпой. До Челконова чуть долетел голос команды. Толпа закипела и распалась — Семенчуковский отряд начал строиться.

— Ну вот что, ребята, — дрогнувшим голосом сказал Челноков, — бегите к командиру, скажите, чтобы строил батальон в колонны и шел к церкви, а я сейчас к своим пойду...

И, к величайшему удивлению разведчиков, он побежал с сопки в станицу.

Пробежав переулком, у выхода на площадь Челноков замедлил шаг и спокойно, твердой походкой направился к шеренге.

В тот момент, когда он вышел на площадь, шеренга рассчитывалась на двое:

— Первый... Второй... Первый... Второй...

Но в этот же момент вся шеренга увидела Челнокова — счет перепутался, шеренга дрогнула и замерла.

Командир первой роты Буланов удивленно обернулся и застыл.

Челноков медленно подошел к нему.

— Товарищ комиссар! — неожиданно взвизгнул Буланов. — Мы...

Вдруг рябое лицо его исказилось, он схватился руками за голову и заплакал.

Челноков некоторое время сурово смотрел на него. Было так тихо, что слышна стала возня голубей на колокольне.

— Товарищи! — обернувшись к шеренге, спокойно сказал Челноков. — На ком остановился счет? Продолжайте....

Несколько секунд еще стояла тишина, потом кто-то сказал почти шепотом:

— Первый...

— Второй... — хрипло отозвался сосед.

— Первый... — смущенно откликнулся третий.

— Второй... — уже более уверенно подхватил четвертый.

— Первый... Второй... Первый... Второй...

По главной улице, вздымая клубы пыли, мерно шагал матросский батальон на соединение с Амгуньским полком.

1923—1934

А. Платонов

РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Шло жаркое, сухое лето 1921 года, проходила моя юность. В зимнее время я учился в политехникуме на электротехническом отделении, летом же работал на практике, в машинном зале городской электрической станции. От работы я сильно уставал, потому что никакого силового резерва на станции не было, а единственный турбогенератор шел без остановки уже второй год — день и ночь, и поэтому за машиной приходилось ухаживать столь точно, нежно и внимательно, что на это тратилась вся энергия моей жизни. Вечером, минуя гуляющую по летним улицам молодежь, я возвращался домой уже дремлющим человеком. Мать мне давала вареную картошку, я ужинал и одновременно снимал с себя рабочий пиджак и лапти, чтобы после ужина на мне оставалось мало одежды и сразу можно было бы лечь спать.

Среди лета, в июле месяце, когда я так же, как обычно, вернувшись вечером с работы, уснул глубоко и темно, точно во мне навсегда потух весь внутренний свет, меня разбудила мать.

Председатель губисполкома Иван Миронович Чуняев прислал ко мне со сторожем записку, в которой просил, чтобы я нынче же явился к нему на квартиру. Чуняев был раньше кочегаром на паровозе, он работал вместе с моим отцом и по отцу знал меня.

В полночь я сидел у Чуняева. Его мучила задача борьбы с разрухой, и он, боясь за весь народ, тяжело переживал мутную жару того сухого лета, когда с неба не упало ни одной капли живой влаги, но зато во всей природе пахло тленом и прахом, будто уже была отверста голодная могила для народа. Даже цветы в тот

год пахли не более, чем металлические стружки, и глубокие трещины образовались на полях, в теле земли, похожие на провалы меж ребрами худого скелета.

— Ты скажи мне, ты не знаешь, что такое электричество? — спросил меня Чуняев. — Радуга, что ли?

— Молния, — сказал я.

— Ах, молния! — произнес Чуняев. — Вон что! Гроза и ливень... Ну пускай! А ведь и верно, что нам молния нужна, это правильно... Мы уж, братец ты мой, до такой разрухи дошли, что нам действительно нужна только одна молния, чтоб — враз и жарко! На вот, прочти, что люди мне пишут.

Чуняев подал мне со стола отношение на бланке сельсовета. Из сельсовета деревни Верчовки сообщали:

«Председателю губисполкома т. Чуняеву и всему президиуму. Товарищи и граждане, не тратьте ваши звуки — среди такой всемирной бедной скуки. Стоит, как башня, наша власть науки, а прочий вавилон из ящериц, засухи разрушен будет умною рукой. Не мы создали божий мир несчастный, но мы его устроим до конца. И будет жизнь могучей и прекрасной и хватит всем куриного яйца! Не дремлет разум коммуниста, и рук ему никто не отведет. Напротив — он всю землю чисто в научное давление возьмет... Громадно наше сердце боевое, не плачьте вы, в желудках бедняки, минует это нечто гробовое, мы будем есть пирожного куски. У нас машина уже гремит — свет электричества от ней горит, но надо нам помочь, чтоб еще лучше было у нас в деревне на Верчовке, а то машина ведь была у белых раньше, она чужою интервенткой родилась, ей псих мешает пользу нам давать. Но не горюет сердце роковое, моя слеза горит в мозгу и думает про дело мировое!

За председателя Совета (он выбыл в краткий срок на контратаку против всех бандитов-паразитов и ранее победы не вернется ко двору) — делопроизводитель Степан Жаренов».

Делопроизводитель Жаренов был, очевидно, поэт, а Чуняев и я были практиками, рабочими людьми. И мы сквозь поэзию, сквозь энтузиазм делопроизводителя увидели правду и действительность далекой, неизвестной нам деревни Верчовки. Мы увидели свет в унылой тьме нищего, бесплодного пространства, — свет человека на

задохнувшейся, умершей земле, — мы увидели провода, повешенные на старые плетни, и наша надежда на будущий мир коммунизма, надежда, необходимая нам для ежедневного трудного существования, надежда, единственно делающая нас людьми, эта наша надежда превратилась в электрическую силу, пусть пока что лишь зажегшую свет в дальних соломенных избушках.

— Ступай туда, — сказал мне Чуняев, — и помоги им, ты долго ел наш хлеб, когда учился. С городской электрической станцией мы сговоримся, тебя оттуда отпустят...

На другой день я с утра отправился в деревню Верчовку; мать сварила мне картошек, положила в сумку соли и немного хлеба, и я пошел на юг по проселкам и шел три дня, потому что карты у меня не было, а Верчовок оказалось три — Верхняя, Старая и Малобедная Верчовка. Но делопроизводитель товарищ Жаренов думал, конечно, что их знаменитая Верчовка только одна на свете и она известна всему миру, как Москва, поэтому Жаренов и не прибавлял к свой деревне добавочного названия, жареновская Верчовка оказалась именно Малобедной, чтоб можно было отличить ее от прочих Верчовок.

Обойдя обе Верчовки, где не было электрических станций, к Малобедной Верчовке я подошел за полдень третьего дня пути. На виду деревни я остановился, потому что заметил большую пыль в стороне от дороги и рассмотрел там толпу народа, шествующую по сухой, лысой земле. Я подождал, пока народ выйдет ближе ко мне, и тогда увидел попа с помощниками, трех женщин с иконами и человек двадцать богомольцев. Здешняя местность имела покатость в древнюю высохшую балку, куда ветер и весенние воды отложили тонкий прах, собранный с обширных нагорных полей.

Шествие спустилось с верхних земель и теперь шло по праху в долине, направляясь к дороге.

Впереди шел обросший седой шерстью, измученный и почерневший поп; он пел что-то в жаркой тишине природы и махал кадилом на дикие, молчаливые растения, встречавшиеся на пути. Иногда он останавливался и поднимал голову к небу в своем обращении в глухое сияние солнца, и тогда было видно озлобление и отчаяние на его лице, по которому текли капли слез или пота.

Сопровождавший его народ крестился в пространство, становился на колени в пыльный прах и кланялся в бедную землю, напуганный бесконечностью мира и слабостью ручных иконных богов, которых несли старые, заплаканные женщины. Двое детей — мальчик и девочка, — в одних рубашках и босые, шли позади церковной толпы и с интересом изучения глядели на взрослых; дети не плакали и не крестились, они боялись и молчали.

Около дороги находилась большая яма, откуда когда-то добывалась глина. Шествие народа остановилось около той ямы, иконы были поставлены ликами святых к солнцу, а люди спустились в яму и прилегли на отдых в тень под глинистый обрыв. Поп снял ризу и оказался в штанах, отчего двое детей сейчас же засмеялись.

Большая икона, подпертая сзади комом глины, изображала деву Марию, одинокую молодую женщину, без бога на руках. Я всмотрелся в эту картину и задумался над нею, а богомольные женщины расселись в тени и занялись там своим делом.

Бледное, слабое небо окружало голову Марии на иконе; одна видимая рука ее была жилиста и громадна и не отвечала смуглой красоте ее лица, тонкому носу и большим нерабочим глазам — потому что такие глаза слишком быстро устают. Выражение этих глаз заинтересовало меня — они смотрели без смысла, без веры, сила скорби была налита в них так густо, что весь взор потемнел до непроницаемости, до омертвения и беспощадности; никакой нежности, глубокой надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной богоматери, хотя обычный ее сын не сидел сейчас у нее на руках; рот ее имел складки и морщины, что указывало на знакомство Марии со страстями, заботой и злостью обыкновенной жизни, — это была неверующая рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью бога. И народ, глядя на эту картину, может быть, также понимал втайне верность своего практического предчувствия о глупости мира и необходимости своего действия.

Около иконы сидела усохшая старушка, ростом с ребенка, и невнимательно смотрела на меня темными глазами; лицо и руки ее были покрыты морщинами, точно застывшими судорогами страдания, во взгляде был зор-

кий ум, прошедший такие испытания жизни, что старушка, наверно, знала про себя не меньше целой экономической науки и могла бы быть почетным академиком.

Я спросил у нее:

— Бабушка, зачем вы ходите молитесь? Бога же нет совсем, и дождя не будет.

Старушка согласилась:

— Да и наверное, что нету, — правда твоя!

— А на что вы тогда креститесь? — спросил я ее далее.

— Да и крестимся зря! Я уж обо всем молилась — о муже, о детях, и никого не осталось — все померли. Я и живу-то, милый, по привычке, разве по воле, что ли! Сердце-то ведь само дышит, меня не спрашивает, и рука сама крестится: бог — беда наша... Ишь убытки какие — и пахали, и сеяли, а рожон один вырос...

Я помолчал в огорчении.

— Не молитесь, бабушка, лучше никому. Природа не слышит ни слов, ни молитвы, она боится только разума и работы.

— Разума! — произнесла старуха с ясным сознанием. — Да я столько годов прожила, что у меня разум да кости — только всего и есть! А плоть давно вся в работу да в заботу спущена — во мне и умереть-то мало чему осталось, все уж померло помаленьку. Ты погляди на меня, какая я есть!

Старуха покорно сняла платок с головы, и я увидел ее облысевший череп, растрескавшийся на составные части костей, готовые развалиться и предать безвозвратному праху земли скупо скопленный терпеливый ум, познавший мир в труде и бедствиях.

— Придет зима, и я соседу пойду поклонюсь, — сказала старуха, — и у богача в сенцах поплачу: все, может, пшена поджившусь до лета, а летом уж погибелью своей буду отплачивать — за мешок полтора мешка, да отработки четыре дня, да почету ему на пять мешков... разве мы богу одному только кланяемся — мы и ветра боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего человека, — и на всех крестимся! Разве мы молимся оттого, что любим? Нам и любить-то нечем уж!

Я отошел прочь от старухи, наполненный скорбью и размышлением. Толпа народа начала собираться с отдыха, и весь крестный ход, молившийся о дожде, направился назад на деревню. Осталась лишь одна старуха, говорившая со мною.

Старуха желала еще немного передохнуть, и все равно бы она теперь не поспела идти за людьми на своих детских маленьких ногах, когда народ пошел спешно, по-деловому, и сам поп уже шагал в штанах.

Увидев ее состояние, я поднял старуху к себе на руки и понес ее к деревне, как восьмилетнюю девочку, сознавая всю вечную ценность этой ветхой труженицы.

В деревне у одной попутной избушки старушка сошла с моих рук. Я попрощался с нею, поцеловал ее в лицо и решил посвятить ей свою жизнь, потому что в молодости всегда кажется, что жизни очень много и ее хватит на всех старух.

Верчовка оказалась небольшой деревней — дворов не более тридцати, но исправных изб в ней было мало; жилища обветшали и уже загнивали нижними венцами срубов в земле. Военный империализм, прошедший по всему миру, сделал все видимое, все добытое, устроенное и сбереженное поколениями тружеников похожим на погост.

Мальчик, чей-нибудь внук или племянник, а может быть сирота, с охотой провел меня на электрическую станцию, работавшую в полверсте от деревни — около общественного водопоя на проезжем тракте.

Английский двухцилиндровый мотоцикл фирмы «Индиан» был врыт в землю на полколеса и с ревущей силой вращал ремнем небольшую динамо-машину, которая стояла на двух коротких бревнах и сотрясалась от поспешности работы. В прицепной коляске сидел пожилой человек и курил цигарку; тут же находился высокий столб, а на нем горела электрическая лампа, освещая день, а кругом стояли подводы с распряженными лошадями, евшими корм, и на телегах сидели крестьяне, с удовольствием наблюдавшие за действием быстроходной машины; некоторые из них, худые по виду, выражали открытую радость; они подходили к механизму и гладили его, как милое существо, улыбаясь притом с такой гордостью, точно они принимали участие в этом предприятии, хотя сами были нездешние.

Механик электростанции, сидевший в мотоциклетной коляске, не обращал внимания на окружавшую его действительность; он вдумчиво и проникновенно воображал стихию огня, бушующую в цилиндрах машины, и слушал со страстным взором, как музыкант, мелодию газового вихря, вырывающегося в атмосферу.

Я громко спросил у механика, зачем он работает сейчас впустую, ради одной лампочки на столбе, и зря тратит топливо и машину.

— Не зря, — равнодушно сказал механик; он вышел из прицепа и попробовал подшипник у динамо-машины — около большого самодельного деревянного шкива, которым она вращалась. — Не зря, — сообщил механик. — Мы работаем вечером, а сейчас только пытаем машину и крутим ее впрок, чтоб все части у нее пригартовались и привыкли друг к другу. И перед проезжим народом надо похвастаться — это, стало быть, будет агитация. Пусть люди любуются!

В словах механика об опытной работе установки было дельное соображение, потому что мотоциклетный мотор был старой машиной, пережившей дороги войны, и некоторые заводские части, наверное, в нем заменили деталями, сделанными в местной кузнице от руки, и нужно было эти части испытать и дать им приработаться.

Я молча изучил устройство электростанции, не обращаясь более к задумчивому механику. Под сиденьем мотоцикла я прочел номер машины: Е-О-401, а под тем номером имелась еще мелкая английская надпись, означавшая в переводе воинскую часть: «77-й британский королевский колониальный дивизион».

Провода от электростанции на деревню шли под землей, в глухом кабеле, и вечером, должно быть, торжественно сияли окна деревенских избушек, охраняя от тьмы революцию.

Механик подошел ко мне и протянул кисет с табаком.

— Покури, лучше будет, — сказал он мне. — Что смотришь? Наверное, на молотилке работал и думаешь, что в моторах понимаешь?

— На молотилке мне работать не приходилось, — ответил я и сам спросил деревенского машиниста: — Чем топите машину?

— Хлебным спиртом, чем же, — вздохнув, сказал механик. — Гоним самогон особой крепости, тем и светим.

— А смазка? — интересовался я далее.

— Чем придется, — ответил человек. — Что сыщешь, профильтруешь через тряпку, тем и смазываешь.

— Хлеб-то жалко ведь жечь в машине, — сказал я, — не стоило бы!

— Хлеба жалко, — согласился механик. — А что сделаешь: другого газу нету.

— А чей хлеб это вы на газ переводите?

— Народа, чей же, общества, — пояснил машинист. — Собрали фонд по самообложению, а теперь берем из фонда и еще кой-откуда...

Я удивился, что крестьяне столь охотно стравляют хлеб прошлогоднего урожая в машину, когда в нынешнее лето хлеб от засухи совсем не уродится.

— Это ты народа нашего не знаешь, — медленно говорил механик, все время вслушиваясь в работу машины, от которой мы стояли теперь в удалении, у коновязи. — Раз есть нечего, то и читать, что ль, народу не надо!.. У нас в Верчовке богатая библиотека от помещика осталась, крестьяне теперь читают книги по вечерам: кто вслух, кто про себя, кто чтению учится... А мы им свет даем в избы, вот у нас и получается свет и чтение. Пока другой радости у народа нету, пусть будет у него свет и чтение.

— Если б машину топить не хлебом, то было бы еще лучше, — советовал я. — Тогда у вас получились бы хлеб, свет и чтение.

Механик поглядел на меня и скрыто, но вежливо улыбнулся:

— Ты не жалей этого хлеба: он все равно мертвый, не едоцкий... Тут кулак у нас жил, Чуев Ванька, — он с белыми всем семейством ушел, а хлеб зарыл в дальнем поле. Так мы его хлеб с товарищем Жареновым целый год искали, а когда нашли, так зерно уже задохнулось и умерло: на еду оно тухлое, на семена вовсе не гоже, а на спирт, на вредную химию эту, оно пойдет. А ведь там сколько же было? Да пудов без малого четыреста! А фонд по самообложению и взаимопомощи мы еще и не трогали: как был, так и есть — двадцать пудов. Наш председатель оттуда крошки тебе не пода-

рит, пока и вправду с голоду не опухнешь. Да ведь иначе и нельзя, а то...

И здесь механик прервал свою речь и бросился к электрической станции, потому что ремень соскочил со шкива динамо-машины.

Я же направился к деревне Верчовке. На околице деревни сильно и безостановочно дымила печная труба, и я пошел в ту избу, которая столь жарко топилась в летний день. Изба, судя по двору и воротам, была выморочная или бесхозная. Ворота заросли, на дворе поселился жесткий зачумленный бурьян, терпящий одинаково и жару, и ветры, и ливневые потоки и выживающий всегда.

Внутри избы я увидел печь, и в нее был вделан самогонный аппарат. Печь топилась корневищами, а у исходной трубки аппарата сидел на табуретке веселый, блаженный старик, освещенный пламенем, с кружкой в правой руке и с куском посоленной картошки в левой: старик, должно быть, ожидал очередного выхода безумной жидкости, чтобы попробовать ее — годится ли она для горения в машине или слаба еще. Собственный желудок и кишки старика-дегустатора были прибором для испытания горючего.

Я вышел во двор избы, чтобы увидеть электрическую линию, потому что на улице ее не было. Линия шла через дворы; крюки изоляторов были укреплены в стенах надворных построек, в редких ветлах или просто были завинчены в небольшие наращенные один на другой колья плетней, и оттуда уже шли местные ответвления проводов в жилые горницы и дворовые службы. В этой местности, лишенной леса, нельзя было найти столбов для устройства обычной уличной сети. И с хозяйственной, а также технической точки зрения подобное решение вопроса электропередачи было единственно возможное и правильное.

Однако, опасаясь пожара от неправильной проводки воздушной линии, я пошел по дворам, перелезая через плетни и слеги, огораживающие соседские владения, и всюду осмотрел снаружи подвеску и крепление магистральных проводов. Натяжка линии была хорошая, и провода нигде не проходили близко от соломы или прочих ветхих и горючих веществ, способных затлеть от нагревания их токонесущей медью.

Успокоившись насчет пожара, я нашел прохладное укромное место в тени одного овина и уснул там для отдыха.

Но, еще не отдохнув как следует, я вынужден был проснуться, потому что меня кто-то толкал ногою и будил.

— Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать! — произнес неизвестный человек надо мною.

Я в ужасе опомнился: поздняя жара солнца, как бред, стояла в природе. Ко мне наклонился человек с добрым лицом, морщинистым от воодушевленного оживления, и приветствовал меня рифмованным слогом, как брата в светлой жизни. По этому признаку я догадался, что предо мною был делопроизводитель местного сельсовета, писавший отношение в губисполком.

— Вставай, бушуй среди стихии, уж разверзается она, большевики кричат лихие и сокрушают ад до дна.

Но у меня тогда была в уме не поэзия, а рачительность. Поднявшись, я сказал делопроизводителю про мотоциклетную электростанцию и про то, что необходимо достать где-либо насос.

— Мне ветер мысли все разнес, — ответил делопроизводитель, — и думать здесь я не могу про... А дальше как? — спросил он вдруг у меня.

— Про твой насос! — добавил я ему на помощь.

— Про твой насос!.. Пойдем ко мне в мою усадьбу, — продолжал делопроизводитель во вдохновении сердца, — ты мне расскажешь не спеша: могилы ждешь ты или свадьбы и чем болит твоя душа...

В сельсовете я с точностью изложил делопроизводителю деревни свой план, который касался орошения сухой земли водою, чтобы прекратить крестные походы населения за дождем.

— Провижу я чело твое младое! — воскликнул делопроизводитель. — В ответ гремит тебе отсюда, — он показал на грудь, — сердце боевое!

Я спросил его:

— У вас есть общественная огородная земля, чтоб там не было многих хозяев?

Делопроизводитель без размышления сразу дал справку:

— Земля такая есть. Она была коровья. Теперь же стала вдовья и отведена семействам — как их такое?.. — сбился вдруг он. — Семействам больраненых красноармейцев! — сказал добавочно делопроизводитель. — В ней сорок десятин. Там пашет, жнет и сеет орган власти — сельсовет! Там было раньше староселье, теперь же пустошь, зато осталось удобренье, и злак растет как дым зимой из трубы. Ну, а теперь, конечно, все засохло — нам без воды и солнце ни к чему!

Я сообразил, что, может быть, мотоциклетной силы не хватит для поливания водою сорока десятин, но все же решил полить хотя часть этой наиболее бедняцкой земли — вдовьей и красноармейской.

Делопроизводитель, услышав такое мое предложение, не мог больше выразиться и тут же заплакал.

— Это я от стечения обстоятельств, — сказал он немного погодя, не употребляя стихов.

В течение двух последующих дней делопроизводитель, механик мотоциклетной электростанции и я трудились над установкой мотоцикла на новом месте — на берегу маловодной речки Прошвы, которая слабо текла куда-то в обмороке жары. Здесь, начинаясь с берега, была вдовья и красноармейская земля, обрабатываемая сельсоветом на общественных лошадях. Несмотря на плодородие низинных угодий, сейчас там росли только редкие посадки картофеля, а за ними — мелкие просяные колосья; но все растения были в изнеможении, они покрылись смертельной пылью знойных вихрей и клонились вниз, чтобы вернуться обратно в темноту праха и сжаться в свое первоначальное семя, уже мертвое теперь.

В этих же посевах с терпеньем росли купыри, репей, бледные цветы «златоуста», похожие на лицо человека с выражением сумасшествия, и прочие плевелы, которыми всегда зарастает земля во время действия сухих стихий.

Я пробовал почву; она была как зола, сгоревшая на солнце, и первый же ураган способен был поднять всю пыль плодородия и развеять ее бесследно в пространстве.

После установки мотоцикла мы с делопроизводителем задумались о насосе. Мы поискали его по сараям зажиточных мужиков, грабивших помещиков с наиболь-

шим хладнокровием и жадностью, и нашли там много добра, даже картины Пикассо и женские мраморные биде, а никакого насоса не было.

Подумав, я снял толстую железную бляху с мотоцикла, обозначавшую английскую интервенционную воинскую часть, и вырезал из нее в кузнице две лопасти. Затем по приказу делопроизводителя была раскрыта железная крыша с дома сельсовета, и то железо пошло на изделие остальных пяти лопастей, а также кожуха для насоса, трубы для всасывания и лотков для подачи воды на поле.

Еще трое суток мы с механиком электростанции поработали у мотоцикла, пока не посадили семь лопастей на спицы заднего колеса машины и не обрядили то колесо в кожух. Таким образом мы соорудили центробежный насос из колеса мотоцикла. Мы организовали водокачку вместо электрической станции; однако насос ничему не помешал: когда вода не потребуется земле, можно опять вертеть динамо и давать свет в избушки.

Через пять дней мучительного труда без нужных инструментов и материалов, среди полевого неустройства, я и механик пустили мотор мотоцикла, и вода пошла на землю вдов и красноармейцев; но поток ее был слишком слаб — ведер сто в час, и необходимо было еще развезти воду по всем посевам, что требовало усердия населения. Кроме того, некоторое количество воды терялось из неплотных соединений наших самодельных лотков, что дополнительно нас огорчало. Однако делопроизводитель не огорчился на это и сказал:

— Пускай наука только каплю даст, мы выжмем море туловищем масс!

На другой день делопроизводитель и двадцать женщин с четырьмя пожилыми мужчинами — бедняками повели воду под лопату в глубь полей, но ручей воды иссох уже невдалеке от водокачки. Из расщелин земли, пугаясь влаги, полезли ящерицы, пауки, сухие членистые черви неизвестной породы и твердые мелкие насекомые, точно сделанные из меди, — они, следовательно, и должны наследовать землю, если тучи не соберутся в атмосфере, а люди вымрут.

Вдовы и замужние беднячки окружили нас и начали ругать за недостаток воды и за бедную силу машины. Мы выслушали их со стыдом, но без боязни, а делопро-

изводитель произнес им в утешение заключительное слово. Он глядел в туманное, томительное небо одичалого лета и говорил с просветленным лицом среди тишины ослепительной страшной природы:

— Все сохнет, лопается прочь — и почва и трава!.. А жить охота во всю мочь, поскольку есть у человека голова...

Делопроизводитель Степан Жаренов устал от жары и страдания; но лицо его стало теперь иным — ясным и задумчивым, хотя и не потеряло доброты своих складок. И он сказал прозой бабам-вдовам, смотревшим на него с удивлением и улыбкой сочувствия:

— Ступайте, женщины, копать канаву дальше. Машина эта — интервентка, она была за белых, теперь ей неохота лить воду в пролетарский огород...

Механик с жадностью страстного размышления наблюдал напряженную работу мотора; машина шла на сбавленных оборотах и тяжко пыхтела от перегрузки. Я ощупал все тело машины — оно сильно грелось и мучилось, крепкий самогон взрывался в цилиндрах с жесткой яростью, но плохое смазочное масло не держалось в трущихся частях и не обволакивало их облегчающей нежной пленкой. Мотор трепетал в раме, и неясный тонкий голос изнутри его механизма звучал как предупреждение о смертельной опасности.

Я понял машину и прекратил ее злобный сухой ход. Затем мы сняли кожух с колеса, служившего центробежным насосом, убавили число лопастей на колесе с семи до четырех и опять надели кожух. Я хотел разгрузить мотор, чтобы он дал лучшую скорость, и тогда четыре лопасти будут работать сильнее семи.

В это время настал вечер; все ушли на отдых, только товарищ Жаренов и я остались сидеть на берегу высыхающей реки. Я не спешил снова запускать мотор, я хотел догадаться еще о чем-нибудь для более свободного движения машины.

Солнце зашло в раскаленном свирепом пространстве, а внизу на земле осталась тьма и озабоченные люди с трудным чувством в сердце, поникшие в своих избах без всякой защиты от беды и смерти. Вскоре к делопроизводителю пришли его дети, мальчик и девочка, — те самые, которых я видел в крестном ходе. Они потемнели

от голода и бесприютности и бросились к отцу, радуясь, что нашли его и будут ночевать вместе с ним в страшной, душной темноте; хлеба они уже не просили, радуясь тому, что хоть есть у них отец, который их любит и сам ничего не ест. Отец прижал к себе слабые тела своих детей и стал искать в карманах чего-нибудь, чтобы покормить их, но находил лишь мусор и отношения волисполкома. Тогда делопроизводитель решил успокоить детей своей теплотой; он обнял их обоих громадными руками, приблизил к своему теплому животу, и все трое заснули на ночной земле. Наверно, у этих детей мать была умершая и они жили сиротами около своего отца.

Я догадался, что мне надо сделать: нужно свернуть из пакли фитиль, опустить его одним концом в бачок с водой и обмотать фитилем цилиндры мотора, — тогда вода будет сочиться по фитилю, а машина почувствует прохладу и даст лишнюю мощность. Я нашел паклю в прицепной коляске — в ящике механика — и к полуночи совершил работу до конца. Затем я подошел к спящему семейству Степана Жаренова и не знал, что делать: качать ли воду, чтобы обеспечить хотя бы на осень пищу этим детям, или подождать, потому что дети проснутся от шума мотора и немедленно начнут мучиться без еды.

Я сел в раздумье около реки, тихо влекущейся вдаль, и поглядел в звездное скопление на небе, на это будущее поприще деятельности человечества — в бессмертную сосущую пустоту, наполненную тонким тревожным веществом, бьющимся в ритме своей неизвестной судьбы, — и стал думать об электричестве, что всегда доставляло мне удовольствие.

Вскоре мне пришлось обернуться к деревне — там раздался взрыв какой-то бочки, а потом шипение пара, и опять стало тихо. Делопроизводитель проснулся, поднял голову и снова уснул.

Учитывая крепкий сон семейства, проспавшего взрыв бочки, я пустил мотор. В черные угодья пошел толстый поток воды из устья нагнетательной трубы; мотор теперь вращался на хороших оборотах, грелся мало и пел мучительным голосом утомления из глубины своего жесткого существа. Я тихо ходил вокруг бьющейся в напряжении машины и с удовлетворением наблюдал

спокойное течение ночи в мире; пусть время теперь идет, оно проходит не напрасно: машина надежно качает воду в сухие поля бедняков.

Я смерил ведром подачу воды в минуту времени; оказалось, что насос теперь дает около двухсот ведер в час, в два раза больше прежнего. Я наклонился к детям — они смутно и неравномерно дышали в своем скучном сне, смирившем в них страдание голода. Только отец их лежал со счастливым, обычно-приветливым лицом: он господствовал над своим телом и надо всеми мучающими силами природы; магическое напряжение гения беспрерывно радовало его сердце, верующее в могучую долю пролетарского, бедного человечества.

Из темноты речной долины вышли к машине два человека — выспавшийся механик и незнакомая старушка большого роста.

— Идите вот теперь, — сказала старушка, — идите мужика моего подымайте: мужчина весь обмер, свалился и сердце в нем не стучит... Все для вас, чертей, кофей этот варил...

Я равнодушно обратился к механику мотоцикла, учась быть хладнокровным среди событий. Механик представил старушку как жену старичка, который варит круглые сутки самогон специальной крепости для снабжения мотора. Ввиду отсутствия прибора, измеряющего градусы крепости, старичок обычно брал в одну руку кружку, в другую кусок посоленной закуски, что-нибудь вроде картошки, и ожидал со своей посудой у отводящей трубки котла, пока оттуда закапает. Но нынче старичок не сразу раскушал качество топлива; он завернул кран на трубке, подложил дров в огонь и заснул с опорожненной кружкой и картошкой в руках; котел накопил давление, взорвался, и мощный газ выбросил старичка из самогонной избушки вместе с дверью и двумя оконными рамами. Сейчас старик лежит и постепенно опоминается, а завтра начнется ремонт взорвавшейся установки.

— Чего же вы хотите? — спросил я у старушки. — Это авария, а мы здесь ни при чем.

— Льготы какой-нибудь, — ответила бранившаяся старушка.

— Хорошо, я запишу.

Я вынул записную книжку и написал там: «Пришли из города старушке пшена».

Старуха, только увидя, что я что-то записываю, сразу поверила мне и утешилась.

Я сказал механику устную инструкцию об уходе за мотором и насосом, постоял немного возле спящего на земле делопроизводителя Жаренова и его детей, затем пошел пешком по теплой ночи к себе домой, к своей матери. Я шел один в темном поле, молодой, бедный и спокойный. Одна моя жизненная задача была выполнена.

1926

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

Михаилу Алексеевичу Кузмину

I

Под вековою шелковицею спала нянька, прислонившись к ее стволу. Когда огромная лиловая туча, встав на краю дороги, заставила умолкнуть и кузнечиков, знойно трещавших в траве, а в лагерях вздохнули и отрепетали барабаны, у земли потемнело в глазах и на свете не стало жизни.

— Куды, куды! — поротой губой провыла на весь мир полоумная пастушка и, в предшествии молодого бычка, волоча отдавленную ногу и маша, как молнией, дикой хворостиной, явилась в облаке мусора с того краю сада, где начиналась дичь: паслен, кирпич, мятая проволока, гнилой полумрак.

И она исчезла.

Туча окинула взглядом низкие запекшиеся жнивья. Они стлались до самого горизонта. Туча легко вскинулась на дыбы. Они простирались и дальше, за самые лагеря. Туча опустилась на передние ноги и, плавно перейдя через дорогу, бесшумно поползла вдоль четвертого рельса разъезда. Кусты, пообнажив головы, всей насыпью двинулись за ней. Они текли, кланяясь ей. Она им не отвечала.

С дерева падали ягоды и гусеницы. Они отваливались, зачумев от жары, и, втяпнувшись в нянин передник, переставали о чем-либо думать.

Ребенок дополз до водопроводного крана. Он полз уже давно. Он полз дальше.

Когда, наконец, польет и обе пары рельсов полетят вдоль косых плетней, спасаясь от черной водяной ночи, спущенной на них; когда, бушующая, впопыхах она на бегу прокричит вам, чтобы вы ее не боялись, что ее зовут ливнем, любовью и еще как-то, я расскажу вам, что родители похищаемого мальчика с вечера вычистили свое пике и было еще очень рано, когда, белоснежные,

как на партию тенниса, они прошли темным еще садом и вышли к столбу с обозначением станции в то самое мгновенье, как пузатая тарелка паровика, выкатываясь из-за огородничества, обволокла турецкую кондитерскую клубами желтого, одышлого дыма.

Они направлялись в порт встречать того гардемарина, который любил ее когда-то, был другом мужу и в это утро ожидался в город из учебного кругосветного плавания.

Муж горел нетерпением поскорей посвятить приятеля в глубокий смысл еще не вовсе опостылевшего ему отцовства. Так бывает. Несложное происшествие едва ли не впервые столкнуло вас с прелестью самобытного смысла. Это столь ново для вас, что вот случится человек, обогнувший весь свет, всего навидавшийся и имеющий, казалось бы, что порассказать, а вам кажется, что в предстоящей встрече слушателем будет он, а вы — поражающею его ум трещоткой.

В противность мужу, ее, как якорь в воду, тянуло в железный лязг гаванной сутолоки, к рыжей ржавчине трехтрубных гигантов, в льющееся ручьями зерно, под светлый плеск небес, парусов и матросок. Побуждения их были несходны.

Льет дождь, льет как из ведра. Я приступаю к обещанному. Над канавой трещат ветки орешника. Две фигуры бегут по полю. У мужчины черная борода. Косматая грива женщины бьется по ветру. У мужчины зеленый кафтан и серебряные серьги, на руках он держит восхищенного ребенка. Льет, льет как из ведра.

II

Оказалось, он давно уже произведен в мичманы.

Одиннадцать часов ночи. К станции подкатывает последний поезд из города. Досыта перед этим наплакавшись, он повеселел уже с закругленья и как-то расхлопотался. Теперь, забрав воздуха со всего околотка, вместе с листьями, песком и росой, влившимися в его разрывающиеся резервуары, он останавливается, бьет в ладоши и замолкает, дожидаясь ответного гула. Это должно будет стечься к нему со всех дорожек. Когда он его услышит, дама, моряк и штатский, все в белом, свернут

с дороги на пешеходную тропку, и прямо перед ними из-за тополей всплывет ослепительный диск покрытой росою кровли. Они пройдут к изгороди, хлопнут калиткой и, ничего не разровняв из желобов, князьков и карнизцев, щекочущими сережками качающихся в ее ушках, железная планета станет закатываться по мере их приближения. Гул укатившего поезда разрастется неожиданно далеко и, обманывая себя и других, на время прикинется тишиной, а потом рассыплется дождем мелких замирающих обмылков. Однако выяснится, что вовсе это не поезд, а водяные ракеты, которыми потешается море. Из-за станционной рощи на дорогу выйдет луна. И тогда, при взгляде на всю эту сцену, вам покажется, что она сочинена до крайности знакомым и постоянно забывающимся поэтом и что теперь еще ее дарят детям на Рождество. Вы вспомните, что раз как-то этот самый забор привиделся вам во сне, и тогда он назывался краем света.

У обмытого луною крыльца белелось ведерко с краской и стояла малярная кисть, волосом вверх прислоненная к стене. Потом в сад растворили окно.

— Сегодня белили, — негромко произнес женский голос. — Вы чувствуете? Пойдемте ужинать.

И снова настала тишина. Она длилась недолго. В доме поднялась суматоха.

— Как? Как это — нету? Пропа-ал?! — одновременно восклицали сиплый, как ослабнувшая струна, басок и сверкающее истерикой женское контральто.

— Под деревом? Под деревом? Сию же минуту встать и толком. И не выть. Да отпусти ты руки мои, ради Христа. Господи, да что ж это такое! Тоша мой, Тошенька! Не сметь! Не сметь! В глаза?! Бессовестная, бесстыжая, дрянная! — И, перестав быть словами, звуки жалобно слились, осеклись и удалились. Их не стало слыхать.

Ночь кончалась. Но до рассвета было далеко. Земля, как стогами, была уставлена формами, ошеломленными тишиной. Они отдыхали. Расстоянья между ними увеличились против дня; точно для того, чтобы лучше отдохнуть, формы разошлись и удалились. В промежут-

ках между ними неслышно пыхтели и перефыркивались зябкие луга под насквозь потными попонами. Редко какая из форм оказывалась деревом, облаком или чем знакомым. Больше же это были неясные нагромождения без имен. Их слегка кружило, и в этом полуобмороке едва ли бы сумели они сказать, был ли только что дождь и перестал, или же он собирается и вот-вот начнет накрапывать. Их то и дело поколыхивало из бывшего в будущее, из будущего в бывшее, как песок в часто переворачиваемых песочных часах.

Но на далеком отлете от них, как белье, сорванное на рассвете порывом ветра с забора и занесенное черт знает куда, смутно мелькали на том краю поля три человеческие фигуры, и в противоположной от них стороне катился и перекатывался вечно испаряющийся отгул далекого моря. Этих четверых несло только из бывшего в будущее и назад никогда не возвращало. Люди в белом перебегали с места на место, нагибались и выпрямлялись, спрыгивали во рвы и, скрывшись, выходили потом на межу в совсем другом месте. Находясь на больших расстояниях друг от друга, они перекрикивались и махали друг другу руками, и так как эти сигналы понимались всякий раз превратно, то тут же они принимались махать по-иному, порывистей, досадливей и чаще в знак того, что знаков не поняли и они отменяются, и чтобы не возвращаться, а продолжать искать там, где искали. Стройная бурность этих фигурок производила такое впечатление, точно, задумав ночью играть в лапту, они мяч упустили и теперь шарят его по канавам и, найдя, игру возобновят.

Среди отдыхавших форм царило совершенное безветрие, и уже верилось в близкий рассвет; при взгляде же на этих людей, отрывистыми вихрами взлетавших над землей, можно было подумать, что поляну взбило и встрепало ветром, потемками и тревогой, как каким-то черным гребешком о трех сломанных зубьях.

Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом должно приключаться с другими. Правило это не раз приводилось писателями. Неопровержимость его состоит в том, что, пока еще нас узнают друзья, мы полагаем несчастье поправимым. Когда же мы проникаемся сознаньем его непоправимости, друзья перестают узнавать нас, и, точ-

но в подтверждение правила, мы сами становимся другими, то есть теми, которые призваны гореть, разорять-ся, попадать под суд или в сумасшедший дом.

Пока на няню вскидывались здоровые еще люди, дело представлялось им в том, что ли, виде, что от горячности их расправы зависело войти потом в детскую, и, облегченно вздохнув, найти в ней мальчика, водворенного на место размерами их испуга и огорчения. Зрелище пустой кроватки спустило с их голосов кожу. Но и с ободранною душой, кинувшись сперва шарить по саду, а потом все дальше и дальше отходя в своих розысках от дому, они долго еще были людьми нашего десятка, то есть искали, чтобы найти. Однако сменялись часы, менялась в лице своем ночь, менялись и они, и теперь, на ее исходе, это были совершенно неузнаваемые люди, переставшие понимать, за какие это грехи и для чего, не давая им отдышаться, жестокое пространство продолжает таскать и переметывать их из конца в конец по той земле, на которой им сына уже больше никогда и никак не видать. И они давно позабыли о мичмане, перенесшем свои поиски по ту сторону оврага.

Ради этого ли спорного наблюдения скрывает автор от читателя то, что ему так хорошо известно? Ведь лучше всякого другого знает он, что лишь только в поселке откроют булочные и разминутся первые поезда, как слух о печальном происшествии облетит все дачи и укажет наконец близнецам-гимназистам с Ольгиной, куда им доставить своего безыменного знакомца и трофей вчерашней победы.

Уже из-под деревьев, как из-под низко надвинутых клобуков, выбивались первые начатки неочнувшегося утра. Светало приступами, с перерывами. Морского гула вдруг как не бывало, и стало еще тише, чем прежде. Неизвестно откуда берясь, слащавый и учащающий трепет пробегал по деревьям. Чередом, пошпалерно, отшлепав забор своим потным серебром, они снова надолго впадали в сон, только что нарушенный. Два редких алмаза розно и самостоятельно играли в глубоких гнездах этой полутемной благодати: птичка и ее чириканье. Пугаясь своего одиночества и стыдясь ничтожества, птичка изо всех сил старалась без следа раствориться

ем. Но достаточно было отвести взгляд от этого закоулка и поднять глаза выше, чтобы поразиться тем, до чего это небо новое.

Нынешняя его способность разносить круглые сутки с моря и от вокзала гул ружейной и орудийной пальбы отодвинула далеко назад его воспоминанье о тысяча девятьсот пятом годе. Словно шоссейным катком из конца в конец укатанное запойной канонадой и теперь ею окончательно утрамбованное и убитое, оно безмолвно хмурилось и не двигаясь куда-то уводило, как это зимою свойственно всякой ленте однообразно разматывающейся рельсовой колеи.

Что же это было за небо? Оно и днем напоминало образ той ночи, которую мы видим в молодости и в походе. Оно и днем бросалось в глаза, и, безмерно заметное, оно и днем насыщалось опустошенной землей, валило с ног сонливых и подымало на ноги мечтателей.

Это были воздушные пути, по которым, как поезда, ежедневно отходили прямолинейные мысли Либкнехта, Ленина и немногих умов их полета. Это были пути, установленные на уровне, достаточном для прохождения всяческих границ, как бы они ни назывались. Одна из линий, проложенная еще во время войны, сохраняла свою прежнюю стратегическую высоту, навязанную строителям природою фронтов, над которыми ее пролагали. Эта старая военная ветка, где-то в своем месте и в какие-то свои часы пересекавшая границу Польши и потом Германии, — тут, у своего начала, на глазах у всех выходила из границ разумения посредственности и ее терпенья. Она проходила над двором, и он пугался далекости ее назначения и ее угнетающей громоздкости, как всегда пугается рельсового пути врассыпную от него бегущее предместье. Это было небо Третьего Интернационала.

Солдат отвечал даме, что Поливанов еще не ворочался. Скука трех родов слышалась в его голосе. Это была скука существа, привыкшего к жидкой грязи и очутившегося в сухой пыли. Это была скука человека, сжившегося в заградительных и реквизиционных отрядах с тем, что вопросы задает он, а отвечает, сбиваясь и робея, такая вот барыня, и скучавшего оттого, что порядок образцового собеседованья тут перевернут и на-

рушен. Это была, наконец, и та напускная скучливость, которою придают вид сущей обыкновенности чему-нибудь совершенно небывалому. И, превосходно зная, каким неслыханным должен был казаться барыне порядок последнего времени, он напускал на себя дурь, точно о ее чувствах и не догадывался и отродясь ничем другим, как диктатурой, и не дышал.

Вдруг вошел Левушка. Что-то подобное лямке гигантских шагов с размаху внесло его на второй этаж с воздуха, откуда пахнуло снегом и неосвещенной тишиной. Ухватившись за этот предмет, оказавшийся портфелем, солдат остановил вошедшего, как останавливают карусель на полном ходу.

— Вот какое дело, — обратился он к нему, — из пленбежа были.

— Это опять насчет венгерцев?

— Ну да.

— Так ведь сказано им, на одних документах партия не уедет!

— Ну, а я про что? Я это очень хорошо понимаю, что по случаю пароходов. Я так им и объяснял.

— Ну, и что же?

— «Мы, говорят, и без вас знаем. Ваше дело — бумаги чтобы в полном порядке, вроде как для посадки. А там, как сказать, дело текущее». Им помещенье освободить.

— Так. А еще что?

— А боле ничего. Только и толку что бумаги им, помещенье, — говорят.

— Да нет! — перебил Поливанов. — Зачем повторять! Я не про то.

— С Канатной пакет, — сказал солдат, назвав улицу, где помещалась Чека, и, приблизясь к нему, понизил голос до шепота, как на разводе.

— Да что ты! Так. Не может быть! — равнодушно и рассеянно проговорил Поливанов.

Солдат отошел от него. Мгновенье оба стояли молча.

— Хлеба принесли? — неожиданно кисло спросил солдат, потому что по форме портфеля не нуждался в ответе, и прибавил: — Да вот еще тут... гражданка к вам.

— Так, так, так, — в том же рассеянье протянул Поливанов.

Канат гигантских шагов дрогнул и натянулся. Портфель пришел в движенье.

— Пожалуйте, товарищ, — обратился он к даме, приглашая ее в кабинет. Он ее не узнал.

По сравнению с темнотою передней здесь был полный мрак. Она двинулась следом за ним и за дверьми остановилась. Вероятно, тут был ковер во всю комнату, потому что, едва сделав два или три шага, он куда-то пропал, а потом такие же шаги раздались в противоположном конце этих потемок. Послышались звуки, последовательно убиравшие столешницу двигающимися стаканами, сухарным и рафинадным ломом, частями разобранного револьвера, шестигранными карандашами. Он тихо водил рукой по столу, что-то перекатывая и растирая, и искал спичек. Воображение только уж было перенесло комнату, увешанную картинами, уставленную шкапами, пальмами и бронзой, на один из проспектов былого Петербурга и стояло с полной пригоршней огоньков в вытянутой руке, чтобы прометнуть их во всю длину перспективы, как внезапно ударил телефон. Его булькающее дребезжанье, отзывавшееся полем или захолустьем, мгновенно напомнило, что проволока пробралась сюда городом, погруженным в абсолютный мрак, и дело происходит в провинции под большевиками.

— Да, — вероятно, прикрыв глаза рукою, отвечал недовольный, нетерпеливый и смертельно утомленный человек. — Да. Знаю. Знаю. Вздор. Проверь по линии. Вздор. Я сносился со штабом. Жмеринка отвечает уже с час. И это все? Да, буду и скажу. Да нет, через минут двадцать. Все?

— Ну-с, товарищ, — с коробком в одной руке и синенькой каплей плюющегося серного пламени в другой обратился он к посетительнице.

И тогда, почти одновременно со стуком упавших и рассыпавшихся спичек, раздался ее раздельный, волнующий шепот.

— Леля! — сам не свой вскричал Поливанов. — Не может быть — виноват. Да нет же — Леля?!

— Да... да... Здра... Дайте успокоюсь... Вот бог привел, — однообразно задыхаясь и плача, шептала она.

Вдруг все исчезло. При свете затепленной масленки стояли друг против друга съеденный острым недосыпаньем мужчина в короткой куртке нараспашку и грязная, давно не умывавшаяся женщина с вокзала. Молодости и моря как не бывало. При свете масла ее приезд, смерть Дмитрия и дочки, о существовании которой он не знал, и, словом, все рассказанное ею до огня оказалось удручающею по своей обязательности правдой, приглашавшей слушателя и самого в могилу, коль скоро его сочувствие не пустые слова. Взглянув на нее при свете масла, он тотчас же припомнил ту историю, по причине которой, встретясь, они сразу не расцеловались. И, невольно усмехнувшись, он подивился живучести таких предубеждений. При свете масла рухнули все ее надежды на убранство кабинета. Человек же этот показался ей так чужд, что этого чувства нельзя было приписать никакой перемене. Тем решительнее приступила она к своему делу и опять, как когда-то, бросилась его исполнять слепо и наизусть, как чужое порученье.

— Если вам дорог ваш ребенок... — так начала она.

— Опять! — мгновенно вспыхнул Поливанов и пошел говорить, говорить, говорить — быстро и безостановочно.

Он говорил, точно статью писал — с «которыми» и с запятыми. Он похаживал по комнате, и останавливался, и разводил и потрясал руками. В промежутках, морща и собирая тремя пальцами кожу над переносицей, он бередил и растирал это место, как очаг иссякающего и разгорающегося негодованья. Он умолял ее перестать считать, что люди ниже ее выдумок и ими можно помыкать себе в угоду. Он заклинал ее всем, что свято, не нести никогда больше этой околесной, особенно после того, что и сама она тогда же в обмане созналась. Он говорил, что если даже и допустить эту чушь, так ведь она достигает совсем обратной цели. Нельзя никак вдолбить человеку, что то, чего у него минуту назад не было и вдруг явилось, есть не находка, а утрата. Он припоминал, какую беззаботность и свободу сразу испытал он, лишь только поверил ее басне, и как тотчас же пропала у него всякая охота к дальнейшему обшариванию рвов и канав, а захотелось купаться. Так что даже если бы времена потекли вспять,

попробовал съязвить он, и снова стало бы нужно искать одного из членов ее семейства, то и в таком случае он стал бы себя беспокоить только ради нее, или игрека, или зета, а никак не для себя или ее смехотворных...

— Вы кончили? — сказала она, дав ему уходиться. — Ваша правда. Я от слов своих отступилась. Неужели вы не понимаете? Пусть это подло и малодушно. Я была без ума от радости, что мальчик нашелся. И как чудесно. Вы помните? Стало ли бы у меня после этого духу разбивать свою и Дмитриеву жизнь? Я и отреклась. Но речь не обо мне. Он ваш. Ах, Лева, Лева, и если бы вы знали, в какой он сейчас опасности! Не знаю, как и начать. Давайте по порядку. С того дня мы не видались с вами. Вы его не знаете. А он так доверчив. Это его когда-нибудь погубит. Есть такой негодяй, авантюрист, — впрочем, бог ему судья. — Неплошаев, Тошин товарищ по корпусу...

При этих словах шагавший по комнате Поливанов встал как вкопанный и перестал ее слышать. Она назвала имя, среди многого другого произнесенное недавно шептавшимся солдатом. Он знал это дело. Оно было безнадежно для обвиняемых, и дело было только в часе.

— Он действовал не под своей фамилией?

Она побледнела, услыхав этот вопрос. Значит, он знает больше ее, и дело хуже, чем даже она себе рисовала. Она забыла, в чьем стане находится, и, вообразив, что весь грех в вымышленном имени, бросилась выгораживать сына с совсем ненужной стороны.

— Но, Лева, не мог же он открыто отстаивать...

И опять он перестал ее слышать, поняв, что ее ребенок может крыться за любой из фамилий, известных ему по бумагам, и стоял у стола, и куда-то звонил, и что-то узнавал, и от соединения к соединению уходил все глубже и дальше в город и в ночь, пока перед ним не разверзлась пропасть последней и окончательно правильной информации.

Он оглянулся кругом. Лели в комнате не было. Он испытывал страшную ломоту в глазницах, и, когда обводил взглядом комнату, она плыла перед ним сплошными сталактитами, ручьями. Он хотел собрать кожу на

переносице, но вместо этого провел рукой по глазам, и от этого движения сталактиты заплясали и стали расплываться. Ему легче было бы, если бы спазмы их не были так часты и беззвучны. Потом он нашел ее. Она громадною неразбившеюся куклой лежала между тумбочкой стола и стулом на том самом слое опилок и сора, который, в темноте и пока была в памяти, приняла за ковер.

1924

А.Грин

КРЫСОЛОВ

На лоне вод стоит Шильон,
Там, в подземельи, семь колонн
Покрыты мрачным мохом лет...

I

Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, — дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени наверное будет расспрашивать в редакциях — я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был Сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу потому, что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг — последнее, что у меня было.

Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах. Мне не везло. Я бродил более двух часов, встретив только трех человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги, но и те нашли цену пяти фунтов хлеба непомерно высокой. Между тем начинало темнеть, — обстоятельство менее всего благоприятное для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене.

Справа от меня стояла старуха в бурнусе и старой черной шляпе с стеклярусом. Механически тряся головой, она протягивала узловатыми пальцами пару детских чепцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я, — книги. Ее маленькие, вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка — не в пример тем обрезанным по колено вертлявым юбчонкам, какие стали носить тогда даже старухи, — ее суконный жакет,

старенькие теплые перчатки с голыми подушечками посматривающих из дырок пальцев, а также манера, с какой она взглядывала на прохожих, — без улыбки и зазываний, иногда задумчиво опуская длинные ресницы свои к книгам, и как она их держала, и как покряхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо, отходил, словно изумясь чему-то и суя в рот «семечки», — все это мне чрезвычайно понравилось, и как будто на рынке стало даже теплее.

Мы интересуемся теми, кто отвечает нашему представлению о человеке в известном положении, поэтому я спросил девушку, хорошо ли идет ее маленькая торговля. Слегка кашлянув, она повернула голову, повела на меня внимательными серо-синими глазами и сказала: «Так же, как и у вас».

Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть понятой, затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее «Дон-Кихота»; и тогда она несколько оживилась.

— Никто не знает, что я ношу продавать книги, — сказала она, доверчиво показывая мне фальшивую бумажку, всученную меж другими осмотрительным гражданином, и рассеянно ею помахивая, — то есть, я не краду их, но беру с полок, когда отец спит. Мать умирала... мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба, и дров, и керосина. Вы понимаете? Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю. И я похаживаю, понашиваю тихонько. Жаль книг, но что делать? Слава богу, их много. И у вас много?

— Н-нет, — сказал я сквозь дрожь (уже тогда я был простужен и немного хрипел), — не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть.

Она взглянула на меня с наивным вниманием, — так, набившись в избу, смотрят деревенские ребятишки на распивающего чай проезжего чиновника, — и, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как и на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц, я их потерял, не пришив других, так давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему.

— Вы простудитесь, — сказала она, машинально защипывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. — Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин.

Она взяла книги под мышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, поэтому, доставая нужное с тем загадочным, отсутствующим выражением лица, какое бывает у женщин, когда они возятся на себе с булавкой, девушка положила книги на тумбу, совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой.

— Телячьи нежности, — сказала, проходя мимо, грузная баба.

— Ну вот. — Девушка критически посмотрела на свою работу и хмыкнула. — Все. Идите гулять.

Я рассмеялся и удивился. Не много я встречал такой простоты. Мы ей или не верим, или ее не видим; видим же, увы, только когда нам плохо.

Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя.

— Сказать недолго, — ответила она, с жалостью смотря на меня, — только зачем? Не стоит. Впрочем, запишите наш телефон; может быть, я попрошу вас продать книги.

Я записал, с улыбкой поглядывая на ее указательный палец, которым, сжав остальные в кулак, водила она по воздуху, учительским тоном выговаривая цифру за цифрой. Затем нас обступила и разъединила побежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги, когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка, а книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой, в круглых очках. Он дал мало, но я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл.

II

Вначале отнесся я к этому с легкой оторопью всякой малой потери. Еще не утоленный голод заслонял впечатление. Задумчиво варил я картофель в комнате с загнившим окном, политым сыростью. У меня была маленькая железная печка. Дрова... в те времена многие ходили на чердаки, — я тоже ходил, гуляя в косой полутьме крыш с чувством вора, слушая, как гудит по трубам ветер, и рассматривая в выбитом слуховом окне бледное пятно неба, сеющее на мусор снежинки. Я находил здесь щепки, оставшиеся от рубки стропил, старые оконные рамы, развалившиеся карнизы и нес это ночью к себе в подвал, прислушиваясь на площадках, не загремит ли дверной крюк, выпуская запоздавшего посетителя. За стеной комнаты жила прачка; я целыми днями прислушивался к сильному движению ее рук в корыте, производившему звук мерного жевания лошади. Там же отстукивала, часто глубокой ночью — как сошедшие с ума часы — швейная машина. Голый стол, голая кровать, табурет, чашка без блюдца, сковородка и чайник, в котором я варил свой картофель, — довольно этих напоминаний. Дух быта часто отворачивается от зеркала, усердно подставляемого ему безукоризненно грамотными людьми, сквернословящими по новой орфографии с таким же успехом, с каким проделывали они это по старой.

Как наступила ночь, я вспомнил рынок и живо повторил все, рассматривая свою булавку. Кармен сделала очень немного, она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь. Я давно задумывался о встречах, первом взгляде, первых словах. Они запоминаются и глубоко врезывают свой след, если не было ничего лишнего. Есть безукоризненная чистота характерных мгновений, какие можно целиком обратить в строки или в рисунок, — это и есть то в жизни, что кладет начало искусству. Подлинный случай, закованный в безмятежную простоту естественно верного тона, какого жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда полон очарования. Так немного, но так полно звучит тогда впечатление.

Поэтому я неоднократно возвращался к булавке, твердя на память, что было сказано мной и девушкой.

Затем я устал, лег и очнулся, но, встав, тотчас упал, лишившись сознания. Это начался тиф, и утром меня отвезли в больницу. Но я имел достаточно памяти и соображения, чтобы уложить свою булавку в жестяную коробку, служившую табакеркой, и не расставался с ней до конца.

III

При 41 градусе бред принял форму визитов. Ко мне приходили люди, относительно которых я уже несколько лет не имел никаких сведений. Я подолгу разговаривал с ними и всех просил принести мне кислого молока. Но, как будто сговорившись, все они твердили, что кислое молоко запрещено доктором. Между тем втайне я ожидал, не покажется ли среди их мелькающих как в банном пару лиц лицо новой сестры милосердия, которой должна была быть не кто иная, как девушка с английской булавкой. Время от времени она проходила за стеной среди высоких цветов, в зеленом венке на фоне золотого неба. Так кротко, так весело сияли ее глаза! Когда она даже не появлялась, ее незримым присутствием была полна мерцающая притушенным огнем палата, и я время от времени шевелил пальцами в коробке булавку. К утру скончалось пять человек, и их унесли на носилках румяные санитары, а мой термометр показал 36 с дробью, после чего наступило вялое и трезвое состояние выздоровления. Меня выписали из больницы, когда я мог уже ходить, хотя с болью в ногах, спустя три месяца после заболевания; я вышел и остался без крова. В прежней моей комнате поселился инвалид, а ходить по учреждениям, хлопоча о комнате, я нравственно не умел.

Теперь, может быть, уместно будет привести кое-что о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу. Я делаю это не потому, что интересуюсь запечатлеть свои черты на страницах книги, а из соображений наглядности. «Он смугл, — пишет Репин, — с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом». Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни, — она происходила от печального ощущения, редко

даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к самим себе, — я обыкновенно сидел в стороне.

Три недели я ночевал у знакомых и у знакомых знакомых, — путем сострадательной передачи. Я спал на полу и диванах, на кухонной плите и на пустых ящиках, на составленных вместе стульях и однажды даже на гладильной доске. За это время я насмотрелся на множество интересных вещей, во славу жизни, стойко бьющейся за тепло, близких и пищу. Я видел, как печь топят буфетом, как кипятят чайник на лампе, как жарят конину на кокосовом масле и как воруют деревянные балки из разрушенных зданий. Но все — и многое, и гораздо более этого — уже описано разорвавшими свежинку перьями на мелкие части; мы не тронем схваченного куска. Другое влечет меня — то, что произошло со мной.

IV

К концу третьей недели я заболел острой бессонницей. Как это началось, сказать трудно, я помню только, что засыпал все с большим трудом, а просыпался все раньше. В это время случайная встреча повела меня к сомнительному приюту. Блуждая по каналу Мойки и развлекаясь зрелищем рыбной ловли — мужик с сеткой на длинном шесте степенно обходил гранит, иногда опуская свой снаряд в воду и вытаскивая горсть мелкой рыбешки, — я встретил лавочника, у которого несколько лет назад брал бакалейный товар по книжке; человек этот оказался теперь делающим что-то казенное. Он был вхож во множество домов по делам казенно-хозяйственным. Я не сразу узнал его: ни фартука, ни ситцевой рубахи турецкого рисунка, ни бороды и усов; одет был лавочник в строгие изделия военной складки, начисто выбрит и напоминал собой англичанина, однако с ярославским оттенком. Хотя он нес толстый портфель, но не имел власти поселить меня где захочет, поэтому предложил пустующие палаты Центрального Банка, где

двести шестьдесят комнат стоят как вода в пруде, тихи и пусты.

— Ватикан, — сказал я, слегка содрогаясь при мысли иметь такую квартиру. — Что же, разве там никто не живет? Или, может быть, туда приходят, а если так, то не отправит ли меня дворник в милицию?

— Эх! — только и сказал экс-лавочник, — дом этот недалеко; идите и посмотрите.

Он завел меня в большой двор, перегороженный арками других дворов, огляделся и, так как на дворе мы никого не встретили, уверенно зашагал к темному углу, откуда вела наверх черная лестница. Он остановился на третьей площадке перед обыкновенной квартирной дверью; в нижней ее щели застрял мусор. Площадка была густо засорена грязной бумагой. Казалось, нежилое молчание, стоя за дверью, просачивается сквозь замочную щель громадами пустоты. Здесь лавочник объяснил мне, как открывать без ключа: потянув ручку, встряхнуть и нажать вверх, тогда обе половинки расходились, так как не было шпингалетов.

— Ключ есть, — сказал лавочник, — только не у меня. Кто знает секрет, войдет очень свободно. Однако про секрет этот никому вы не говорите, а запереть можно как изнутри, так и снаружи, стоит только прихлопнуть. Понадобится вам выйти — сначала оглянитесь по лестнице. Для этого есть окошечко (действительно, на высоте лица в стене около двери чернел вас-ис-дас с разбитым стеклом). Я с вами не пойду. Вы человек образованный и увидите сами, как лучше устроиться; знайте только, что здесь можно упрятать роту. Переночуйте дня три; как только разыщу угол — оповещу вас немедленно. Вследствие этого — извините за щекотливость, есть-пить каждому надо — соблаговолите принять в долг до улучшения обстоятельств.

Он распластал жирный кошель, сунул в мою молчаливо опущенную руку, как доктору за визит, несколько ассигнаций, повторил наставление и ушел, а я, закрыв дверь, присел на ящик. Тем временем тишина, которую слышим мы всегда внутри нас, — воспоминаниями звуков жизни, — уже манила меня, как лес. Она пряталась за полузакрытой дверью соседней комнаты. Я встал и начал ходить.

Я проходил из дверей в двери высоких больших комнат с чувством человека, ступающего по первому льду. Просторно и гулко было вокруг. Едва покидал я одни двери, как видел уже впереди и по сторонам другие, ведущие в тусклый свет далей с еще более темными входами. На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага. Ее обилие напоминало картину расчистки сугробов. В некоторых помещениях прямо от двери надо было уже ступать по ее зыбкому хламу, достигающему высоты колен.

Бумага во всех видах, всех назначений и цветов распространяла здесь вездесущее смешение свое воистину стихийным размахом. Она осыпями взмывалась у стен, висела на подоконниках, с паркета в паркет переходили ее белые разливы, струясь из распахнутых шкафов, наполняя углы, местами образуя барьеры и взрыхленные поля. Блокноты, бланки, гроссбухи, ярлыки переплетов, цифры, линейки, печатный и рукописный текст — содержимое тысяч шкафов выворочено было перед глазами, — взгляд разбегался, подавленный размерами впечатления. Все шорохи, гул шагов и даже собственное мое дыхание звучали как возле самых ушей, — так велика, так захватывающе остра была пустынная тишина. Все время преследовал меня скучный запах пыли; окна были в двойных рамах. Взглядывая на их вечерние стекла, я видел то деревья канала, то крыши двора или фасада Невского. Это значило, что помещение огибает кругом весь квартал, но его размеры, благодаря частой и утомительной осязаемости пространства, разгороженного непрекращающимися стенами и дверями, казались путями ходьбы многих дней, — чувство, обратное тому, с каким мы произносим: «Малая улица» или «Малая площадь». Едва начав обход, уже сравнил я это место с лабиринтом. Все было однообразно — вороха хлама, пустота там и здесь, означенная окнами или дверью, и ожидание многих иных дверей, лишенных толпы. Так мог бы, если бы мог, двигаться человек внутри зеркального отражения, когда два зеркала повторяют до отупения охваченное ими пространство, и недоставало только собственного лица, выглядывающего из двери как в раме.

Не более двадцати помещений прошел я, а уже потерялся и стал различать приметы, чтобы не заблудить-

ся: пласт извести на полу; там — сломанное бюро; вырванная и приставленная к стене дверная доска; подоконник, заваленный лиловыми чернильницами; проволочная корзина; кипы отслужившего клякс-папира; камин; кое-где шкаф или брошенный стул. Но и приметы начали повторяться: оглядываясь, с удивлением замечал я, что иногда попадаю туда, где уже был, устанавливая ошибку только рядом других предметов. Иногда попадался стальной денежный шкаф с отвернутой тяжкой дверцей, как у пустой печи; телефонный аппарат, казавшийся среди опустошения почтовым ящиком или грибом на березе; переносная лестница; я нашел даже черную болванку для шляп, неизвестно как и когда включившую себя в инвентарь.

Уже сумерки коснулись глубины зал с белеющей по их далям бумагой, смежности и коридоры слились с мглой, и мутный свет ромбами перекосил паркеты в дверях, но прилегающие к окнам стены сияли еще кое-где напряженным блеском заката. Память о том, что, проходя, я оставлял позади, свертывалась, как молоко, едва новые входы вставали перед глазами, и я, в основе, только помнил и знал, что иду сквозь строй стен по мусору и бумаге. В одном месте пришлось мне лезть вверх и месить кучи скользких под ногой папок; шум, как в кустах. Шагая, оглядывался я с трепетом, — так вязок, неотделен от меня был в тишине этой самомалейший звук, что я как бы волочил на ногах связки сухих метел, прислушиваясь, не зацепит ли чей-то чужой слух это хождение. Вначале я шагал по нервному веществу банка, топча черное зерно цифр с чувством нарушения связи оркестровых нот, слышимых от Аляски до Ниагары. Я не искал сравнений: они, вызванные незабываемым зрелищем, появлялись и исчезали, как цепь дымных фигур. Мне казалось, что я иду по дну аквариума, из которого выпущена вода, или среди льдов, или же — что было всего отчетливее и мрачнее — брожу в прошлых столетиях, обернувшихся нынешним днем. Я прошел внутренний коридор, такой извилисто длинный, что по нему можно было бы кататься на велосипеде. В его конце была лестница, я поднялся в следующий этаж и спустился по другой лестнице, миновав средней величины залу с полом, уставленным арматурой. Здесь виднелись стеклянные матовые шары, абажу-

ры тюльпанами и колоколами, змеевидные бронзовые люстры, свертки проводов, кучи фаянса и меди.

Следующий запутанный переход вывел меня к архиву, где в темной тесноте полок, параллельно пересекавших пространство, соединяя пол с потолком, проход был немыслим. Месиво копировальных книг вздымалось выше груди; даже осмотреться я не мог с должным вниманием — так густо смешалось все.

Пройдя боковой дверью, следовал я в полутьме белых стен, пока не увидел большой арки, соединяющей кулуары с площадью центрального холла, уставленного двойным рядом черных колонн. Перила алебастровых хор тянулись по высотам этих колонн громадным четырехугольником; едва приметен был потолок. Человек, страдающий боязнью пространства, ушел бы, закрыв лицо, — так далеко надо было идти к другому концу этого вместилища толп, где чернели двери величиной в игральную карту. Могла здесь танцевать тысяча человек. Посредине стоял фонтан, и его маски, с насмешливо или трагически раскрытыми ртами, казались кучей голов. Примыкая к колоннам, ареной развертывался барьер сплошного прилавка с матовой стеклянной завесой, помеченной золотыми буквами касс и бухгалтерий. Сломанные перегородки, обрушенные кабины, сдвинутые к стенам столы были здесь едва приметны по причине величины зала. С некоторым трудом взгляд набирал предметы равного всему остальному безжизненного опустошения. Я неподвижно стоял, осматриваясь. Я начал входить во вкус этого зрелища, усваивать его стиль. Приподнятое чувство зрителя большого пожара стало понятно еще раз. Соблазн разрушения начинал звучать поэтическими наитиями, — передо мной развертывался своеобразный пейзаж, местность, даже страна. Ее колорит естественно переводил впечатление к внушению, подобно музыкальному внушению оригинального мотива. Трудно было представить, что некогда здесь двигалась толпа с тысячами дел в портфелях и голове. На всем лежала печать тлена и тишины. Веяние неслыханной дерзости тянулось из дверей в двери — стихийного, неодолимого сокрушения, повернувшегося так же легко, как плющится под ногой яичная скорлупа. Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притягивая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, ка-

кие толкают смотреть в пропасть. Казалось, одна подобная эху мысль охватывает здесь собой все формы и звоном в ушах следует неотступно, — мысль, напоминающая девиз:

«Сделано — и молчит».

V

Наконец, я устал. Уже с трудом можно было различать переходы и лестницы. Я хотел есть. У меня не было надежды отыскать выход, чтобы купить где-нибудь на углу съестное. В одной из кухонь я утолил жажду, повернув кран. К моему удивлению, вода, хотя слабо, но заструилась, и этот незначительный живой знак по-своему ободрил меня. Затем я стал выбирать комнату. Это заняло еще несколько минут, пока я не наткнулся на кабинет с одной дверью, камином и телефоном. Мебель почти отсутствовала; единственное, на что можно было лечь или сесть, это — скальпированный диван без ножек; обрывки срезанной кожи, пружины и волос торчали со всех сторон. В нише стены помещался высокий ореховый шкаф; он был заперт. Я выкурил папиросу — другую, пока не привел себя к относительному равновесию, и занялся устройством ночлега.

Давно уже я не знал счастья усталости — глубокого и спокойного сна. Пока светил день, я думал о наступлении ночи с осторожностью человека, несущего полный воды сосуд, стараясь не раздражаться, почти уверенный, что на этот раз изнурение победит тягостную бодрость сознания. Но, едва наступал вечер, страх не уснуть овладевал мной с силой навязчивой мысли, и я томился, призывая наступление ночи, чтобы узнать, засну ли я наконец. Однако чем ближе к полуночи, тем явственнее убеждали меня чувства в их неестественной обостренности; тревожное оживление, подобное блеску магния среди тьмы, скручивало мою нервную силу в гулкую при малейшем впечатлении тугую струну, и я как бы просыпался от дня к ночи, с ее долгим путем внутри беспокойного сердца. Усталость рассеивалась, в глазах кололо, как от сухого песка; начало любой мысли немедленно развивалось во всей сложности ее отражений, и предстоящие долгие бездеятельные часы, полные воспоминаний, уже возмущали бессильно, как обязательная и

бесплодная работа, которой не избежать. Как только мог, я призывал сон. К утру, с телом как бы налитым горячей водой, я всасывал обманчивое присутствие сна искусственной зевотой, но, лишь закрывал глаза, испытывал то же, что испытываем мы, закрывая без нужды глаза днем, — бессмысленность этого положения. Я испытал все средства: рассматривание точек стены, счет, неподвижность, повторение одной фразы, — и безуспешно.

У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались. Хотя тускло, но я озарил им холодную высоту помещения, после чего, заложив ямы дивана бумагой, изголовье нагромоздил из книг. Пальто служило мне одеялом. Следовало затопить камин, чтобы смотреть на огонь. К тому же по летнему времени было здесь не довольно тепло. Во всяком случае, я придумал занятие и был рад. Вскоре пачки счетов и книг загорелись в этом большом камине сильным огнем, сваливаясь пеплом в решетку. Пламя шевелило мрак раскрытых дверей, уходя в отдаление тихой блестящей лужей.

Но бесплодно тайно горел этот случайный огонь. Он не озарял привычных предметов, рассматривая которые в фантастическом отсвете красных и золотых углей, сходим мы к внутреннему теплу и свету души. Он был неуютен, как костер вора. Я лежал, подпирая голову затекшей рукой, без всякого желания задремать. Все мои усилия в эту сторону были бы равны притворству актера, укладывающегося на глазах толпы, зевая, в кровать. Кроме того, я хотел есть и, чтобы заглушить голод, часто курил.

Я лежал, лениво рассматривая огонь и шкаф. Теперь мне пришло на мысль, что шкаф заперт не без причины. Что, однако, может быть скрыто в нем, как не те же кипы умерших дел? Что еще не вытащено отсюда? Печальный опыт с отгоревшими электрическими лампочками, которых я нашел кучу в одном из таких же шкафов, заставил подозревать, что шкаф заперт без всякого намерения, лишь потому, что хозяйственно повернулся ключ. И, тем не менее, я взирал на массивные створки, солидные, как дверь подъезда, с мыслью о пище. Не очень серьезно надеялся я найти в нем что-нибудь годное для еды. Меня слепо толкал желудок, застав-

ляющий всегда думать по трафарету, свойственному только ему, — так же, как вызывает он голодную слюну при виде еды. Для развлечения я прошел несколько ближайших от меня комнат, но, шаря там при свете огарка, не нашел даже обломка сухаря и вернулся, все более привлекаемый шкафом. В камине сумрачно дотлевал пепел. Мои соображения касались мне подобных бродяг. Не запер ли кто-нибудь из них в этом шкафу каравай хлеба, а может быть, чайник, чай и сахар? Алмазы и золото хранятся в другом месте; довольно очевидности положения. Я считал себя вправе открыть шкаф, так как, конечно, не тронул бы никаких вещей, будь они заперты здесь, а на съестное, что ни говори буква закона, — теперь-теперь, я имел право.

Светя огарком, я не торопился, однако, подвергать критике это рассуждение, чтобы не лишиться случайно моральной точки опоры. Поэтому, подняв стальную линейку, я ввел ее конец в скважину, против замка и, нажав, потянул прочь. Защелка, прозвенев, отскочила, шкаф, туго скрипя, раскрылся — и я отступил, так как увидел необычайное. Я отшвырнул линейку резким движением, я вздрогнул и не закричал только потому, что не было сил. Меня как бы оглушило хлынувшей из бочки водой.

VI

Первая дрожь открытия была в то же время дрожью мгновенного, но ужаснейшего сомнения. Однако то не был обман чувств. Я увидел склад ценной провизии — шесть полок, глубоко уходящих внутрь шкафа под тяжестью переполняющего их груза. Он состоял из вещей, ставших редкостью, — отборных продуктов зажиточного стола, вкус и запах которых стал уже смутным воспоминанием. Притащив стол, я начал осмотр.

Прежде всего я закрыл двери, стесняясь пустых пространств, как подозрительных глаз; я даже вышел прислушаться, не ходит ли кто-нибудь, как и я, в этих стенах. Молчание служило сигналом.

Я начал осмотр сверху. Верх, то есть пятая и шестая полки, заняты были четырьмя большими корзинами, откуда, едва я пошевелил их, выскочила и шлепнулась на пол огромная рыжая крыса с визгом, вызывающим тош-

ноту. Я судорожно отдернул руку, застыв от омерзения. Следующее движение вызвало бегство еще двух гадов, юркнувших между ног, подобно большим ящерицам. Тогда я встряхнул корзину и ударил по шкафу, сторонясь, — не посыплется ли дождь этих извилистых мрачных телец, мелькая хвостами. Но крысы, если там было несколько штук, ушли, должно быть, задами шкафа в щели стены — шкаф стоял тихо.

Естественно, я удивлялся этому способу хранить съестные запасы в месте, где мыши (Murinae) и крысы (Mus decum anus) должны были чувствовать себя дома. Но мой восторг опередил всякие размышления; они едва просачивались, как в плотине вода, сквозь этот апофеозный вихрь. Пусть не говорят мне, что чувства, связанные с едой, низменны, что аппетит равняет амфибию с человеком. В минуты, подобные пережитым мной, все существо наше окрылено, и радость не менее светла, чем при виде солнечного восхода с высоты гор. Душа движется в звуках марша. Я уже был пьян видом сокровищ, тем более, что каждая корзина представляла ассортимент однородных, но вкупе разнообразных прелестей. В одной корзине были сыры, коллекция сыров — от сухого зеленого до рочестера и бри. Вторая, не менее тяжеловесная, пахла колбасной лавкой; ее окорока, колбасы, копченые языки и фаршированные индейки теснились рядом с корзиной, уставленной шрапнелью консервов. Четвертую распирало горой яиц. Я встал на колени, так как теперь следовало смотреть ниже. Здесь я открыл восемь голов сахара, ящик с чаем; дубовый с медными обручами бочонок, полный кофе; корзины с печеньем, торты и сухари. Две нижние полки напоминали ресторанный буфет, так как их кладью были исключительно бутылки вина в порядке и тесноте сложенных дров. Их ярлыки называли все вкусы, все марки, все славы и ухищрения виноделов.

Следовало если не торопиться, то, во всяком случае, начать есть, так как, понятно, сокровище, имея свежий вид обдуманного запаса, не могло быть брошено кем-то ради желания доставить случайному посетителю этих мест удовольствие огромной находки. Днем или ночью, но мог явиться человек с криком и поднятыми руками, если только не чем-нибудь худшим, вроде ножа. Все говорило за темную остроту случая. Многого следовало

опасаться мне в этих пространствах, так как я подошел к неизвестному. Между тем голод заговорил на своем языке, и я, прикрыв шкаф, уселся на остатках дивана, окружив себя кусками, положенными вместо тарелок на большие листы бумаги. Я ел самое существенное, то есть сухари, ветчину, яйца и сыр, заедая это печеньем и запивая портвейном, с чувством чуда при каждом глотке. Вначале я не мог справиться с ознобом и нервным тяжелым смехом, но, когда несколько успокоился, несколько свыкся с обладанием этими вкусными вещами, не более как пятнадцать минут назад витавшими в облаках, то овладел и движениями и мыслями. Сытость наступила скоро, гораздо скорее, чем я думал, когда начинал есть, вследствие волнения, утомительного даже для аппетита. Однако я был слишком истощен, чтобы перейти к резиньяции, и насыщение усладило меня вполне, без той сонливой мозговой одури, какая сопутствует ежедневному поглощению обильных блюд. Съев все, что взял, а затем тщательно уничтожив остатки пира, я почувствовал, что этот вечер х о р о ш.

Между тем, как я ни напрягался в догадках, они, естественно, царапали, подобно тупому ножу, лишь поверхность события, оставляя его суть скрытой непосвященному взору. Расхаживая в спящих громадах банка, я, быть может, довольно верно понял, чем связан мой лавочник с этим писчебумажным клондайком: отсюда можно было вывезти и унести сотни возов обертки, столь ценимой торговцами в целях обвеса; кроме того, электрические шнуры, мелкая арматура составила бы не одну пачку ассигнаций; не без причины были вырваны здесь шнуры и штепселя почти всюду, где я осматривал стены. Поэтому я не делал лавочника собственником тайной провизии; он, вероятно, пользовался ею в другом месте. Но дальше этого я не ступил шага, все мои дальнейшие размышления были безличны, как при всякой находке. Что ее некоторое время никто не трогал, доказывали следы крыс; их зубы оставили на окороках и сырах обширные ямы.

Насытясь, я принялся тщательно исследовать шкаф, заметив много такого, что я пропустил в минуты открытия. Среди корзин лежали пачки ножей, вилок и салфеток; за головами сахара прятался серебряный самовар; в одном ящике сталкивалось, звеня, множество бокалов,

рюмок и узорных стаканов. По-видимому, здесь собиралось общество, преследующее гульливые или конспиративные цели, в расчете изоляции и секрета, может быть, могущественная организация с ведома и при участии домовых комитетов. В таком случае я должен был держаться настороже. Как мог, я тщательно прибрал шкаф, рассчитывая, что незначительное количество уничтоженного мною на ужин едва ли будет замечено. Однако (не счел я виноватым себя в этом) я взял кое-что вместе с еще одной бутылкой вина, завернул плотным пакетом и спрятал под грудой бумаг в извилине коридора.

Само собой, в эти минуты у меня не было настроения не только уснуть, но даже лечь. Я закурил светлую душистую папиросу из волокнистого табака с длинным мундштуком, — единственная находка, которой я вполне отдал честь, набив дивными папиросами все карманы. Я был в состоянии упоительной, музыкальной тревоги, с мнением о себе, как о человеке, которого ожидает цепь громких невероятий. Среди такого блистательного смятения я вспомнил девушку в сером платке, застегнувшую мой воротник английской булавкой, — мог ли я забыть это движение? Она была единственный человек, о котором я думал красивыми и трогательными словами. Бесполезно приводить их, так как, едва прозвучав, они теряют уже свой пленительный аромат. Эта девушка, имени которой я даже не знал, оставила, исчезнув, след, подобный полосе блеска воды, бегущей к закату. Такой кроткий эффект произвела она простой английской булавкой и звуком сосредоточенного дыхания, когда привстала на цыпочки. Это и есть самая подлинная белая магия. Так как девушка тоже нуждалась, я страстно хотел побаловать ее своим ослепительным открытием. Но я не знал, где она, я не мог позвонить ей. Даже благодеяние памяти, вскрикни она забытым мной номером, не могло помочь здесь при множестве телефонов, к одному из которых невольно обращались мои глаза: они не действовали, не могли действовать по очевидным причинам. Однако я смотрел на аппарат с некоторым пытливым сомнением, в котором разумная мысль не принимала никакого участия. Я тянулся к нему с чувством игры. Желание совершить глупость не отпускало меня и, как всякий ночной вздор, украсилось эфемеридами бессонной фантазии. Я внушил себе, что

должен припомнить номер, если приму физическое положение разговора по телефону. Кроме того, эти загадочные стенные грибы с каучуковым ртом и металлическим ухом я издавна рассматривал, как предметы, разъясненные не вполне, — род суеверия, навеянного, между многим другим, «Атмосферой» Фламмариона, с его рассказом о молнии. Я очень советую всем перечитать эту книгу и задуматься еще раз над странностями электрической грозы; особенно над действиями шаровидной молнии, вешающей, например, на вбитый ею же в стену нож сковородку или башмак, или перелицовывающей черепичную крышу так, что черепицы укладываются в обратном порядке с точностью чертежа, не говоря уже о фотографиях на теле убитых молнией, фотографиях обстановки, в которой произошло несчастье. Они всегда синеватого цвета, подобно старинным дагерротипам. «Киловатты» и «амперы» мало говорят мне. В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия, без той странной истомы, заволокнутости сознания, какие сопутствуют большинству производимых нами абсурдов. Итак, я объясняю это теперь, тогда же был лишь подобен железу перед магнитом.

Я снял трубку. Более чем была на самом деле холодной показалась она мне, немая, перед равнодушной стеной. Я поднес ее к уху не с большим ожиданием, чем сломанные часы, и надавил кнопку. Был ли то звон в голове или звуковое воспоминание, но, вздрогнув, я услышал жужжание мухи, ту, подобную гудению насекомого, вибрацию проводов, какая при этих условиях являлась тем самым абсурдом, к которому я стремился.

Разборчивое усилие п о н я т ь, как червь точит даже мрамор скульптуры, лишая силы все впечатления с скрытым источником. Старания понять непонятное не было в числе моих добродетелей. Но я проверил себя. Отняв трубку, я воспроизвел этот характерный шум в воображении, получив его вторично лишь когда снова стал слушать по трубке. Шум не скакал, не обрывался, не ослабевал, не усиливался; в трубке, как должно, гудело невидимое пространство, ожидая контакта. Мной овладели смутные представления, странные, как странен был этот гул провода, действующего в мертвом доме. Я видел узлы спутанных проводов, порванных шквалом и дающих соединение в неуследимых точках своего хао-

са; снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам; магнетические вспышки трамвайных линий; ткань и сердце материи в виде острых углов футуристического рисунка. Такие мысли-видения не превышали длительного толчка сердца, вставшего на дыбы; оно билось, выстукивая на непереводимом языке ощущения ночных сил.

Тогда из-за стен встал ясно, как молодая луна, образ той девушки. Мог ли я думать, что впечатление окажется таким живучим и стойким? Сто сил человеческих пряло и гудело во мне, когда, воззрясь на стертый номер аппарата, я вел память сквозь вьюгу цифр, тщетно пытаясь установить, какое соединение их напомнит утерянное число. Лукавая, неверная память! Она клянется не забыть ни чисел, ни дней, ни подробностей, ни дорогого лица и взглядом невинности отвечает сомнению. Но наступил срок, и легковерный видит, что заключил сделку с бесстыдной обезьяной, отдающей за горсть орехов бриллиантовый перстень. Неполны, смутны черты вспоминаемого лица, из числа выпадает цифра; обстоятельства смешиваются, и тщетно сжимает голову человек, мучаясь скользким воспоминанием. Но, если бы мы помнили, если бы могли вспомнить в с е, — какой рассудок выдержит безнаказанно целую жизнь в едином моменте, особенно воспоминания чувств?

Я бессмысленно твердил цифры, шевеля губами, чтобы нащупать их достоверность. Наконец мелькнул ряд, сродный впечатлению забытого номера: 107-21. «Сто семь двадцать один», — проговорил я, прислушиваясь, но не знал точно, не ошибаюсь ли вновь. Внезапное сомнение ослепило меня, когда я нажимал кнопку вторично, но уже было поздно — жужжание полилось гулом, что-то, звякнув, изменилось в телефонной дали, и прямо в кожу щеки усталый женский контрально сухо сказал: «Станция». «Станция!..» — нетерпеливо повторил он, но и тогда я заговорил не сразу, — так холодно сжалось горло, — потому что в глубине сердца я все еще только и г р а л.

Как бы то ни было, раз я заклял и вызвал духов, — отнести их к «Атмосфере» или к «Килоуаттам» общества 86 года, — я говорил, и мне отвечали. Колеса испорченных часов начали поворачивать шестерню. Над моим ухом двинулись стальные лучи стрел. Кто бы ни толкнул

маятник, механизм начал мерно отстукивать. «Сто семь двадцать один», — сказал я глухо, смотря на догорающую среди хлама свечу. — «На группу А», — раздался недовольный ответ, и гул прихлопнуло далеким движением усталой руки.

Мне было умственно-жарко в эти минуты. Я нажимал именно кнопку с литерой А; следовательно, не только действовал телефон, но еще подтверждал эту удивительную реальность тем, что были спутаны провода, — подробность замечательная для нетерпеливой души. Стремясь соединить А, я нажал Б. Тогда в вой пущенного гулять тока ворвались, как из внезапно открытой двери, резкие голоса, напоминающие болтовню граммофонной трубы, — неведомые ораторы, бьющиеся в моей руке, сжимающей резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей, выбежавших на улицу. Смешанные фразы напоминали концерт грачей. «А-ла-ла-ла-ла!» — вопило неведомое существо на фоне баритона чьей-то рассудительно-медлительной речи, разделенной паузами и знаками препинания с медоточивой экспрессией. — «Я не могу дать...» — «Если увидите...» — «Когда-нибудь...» — «Я говорю, что...» — «Вы слушаете...» — «Размером тридцать и пять». — «Отбой...» — «Автомобиль выслан...» — «Ничего не понимаю...» — «Повесьте трубку...» В этот рыночный транс слабо, как пение комара, ползли стоны, далекий плач, хохот, рыдания, скрипичные такты, перебор неторопливых шагов, шорох и шепот. Где, на каких улицах звучали эти слова забот, окриков, внушений и жалоб? Наконец, звякнуло деловое движение, голоса пропали, и в гул провода вошел тот же голос, сказав: «Группа Б».

— «А»! Дайте «А», — сказал я, — перепутаны провода.

После молчания, во время которого гул два раза стихал, новый голос оповестил певуче и тише: «Группа А». «Сто семь двадцать один», — отчеканил я, как можно разборчивее.

— Сто восемь ноль один, — внимательным тоном безучастно повторила телефонистка, и я едва удержал готовую отлететь губительную поправку, — эта ошибка с несомненностью устанавливала забытый номер, — едва

услышав, я признал, вспомнил его, как припоминаем мы встречное лицо.

— Да, да, — сказал я в чрезвычайном волнении, бегущем по высоте, по краю головокружительного обрыва. — Да, именно так — сто восемь ноль один.

Тут все замерло во мне и вокруг. Звук передачи стеснил сердце подступом холодной волны; я даже не слышал обычного «звоню» или «соединила», — я не помню, что было сказано. Я слышал птиц, льющих неотразимые трели. Изнемогая, я прислонился к стене. Тогда, после паузы, равной ожесточению, свежий, как свежий воздух, рассудительный голосок осторожно сказал:

— Это я пробую. Говорю в недействующий телефон, потому что ты слышал, как прозвенело? Кто у телефона? — сказала она, видимо, не ожидая ответа, на всякий случай, тоном легкомысленной строгости.

Почти крича, я сказал:

— Я тот, который говорил с вами на рынке и ушел с английской булавкой. Я продавал книги. Вспомните, прошу вас. Я не знаю имени, — подтвердите, что это вы.

— Чудеса, — ответил, кашлянув, голос в раздумье. — Постойте, не вешайте трубку. Я соображаю. Старик, видел ли ты что-нибудь подобное?

Последнее было обращено не ко мне. Ей невнятно отвечал мужской голос, по-видимому, из другой комнаты.

— Я встречу припоминаю, — снова обратилась она к моему уху. — Но я не помню, о какой булавке вы говорите. Ах, да! Я не знала, что у вас такая крепкая память. Но странно мне говорить с вами — наш телефон выключен. Что же произошло? Откуда вы говорите?

— Хорошо ли вы слышите? — ответил я, уклоняясь назвать место, где находился, как будто не понял вопроса, и, получив утверждение, продолжал: — Я не знаю, долог ли будет разговор наш. Есть причины, по которым я не останавливаюсь более на этом. Я не знаю, как и вы, многих вещей. Поэтому сообщите, не откладывая, ваш адрес, я не знаю его.

Некоторое время ток ровно жужжал, как будто мои последние слова нарушили передачу. Снова глухой сте-

ной легла даль, — отвратительное чувство досады и стыдливой тоски едва не смутило меня пуститься в сложные неуместные рассуждения о свойстве разговоров по телефону, не допускающему свободного выражения оттенков самых естественных, простых чувств. В некоторых случаях лицо и слова неразделимы. Это самое, может быть, обдумывала и она, пока длилось молчание, после чего я услышал:

— Зачем? Ну, хорошо. Итак, запишите, — не без лукавства сказала она это «запишите», — запишите мой адрес: 5-я линия, 97, квартира 11. Только зачем, зачем понадобился вам мой адрес? Я, откровенно скажу, не понимаю. Вечером я бываю дома...

Голос продолжал неторопливо звучать, но вдруг раздался тихо и глухо, как в ящике. Я слышал, что она говорит, по-видимому, что-то рассказывая, но не различал слов. Все отдаленнее, смутнее текла речь, пока не уподобилась покрапыванию дождя, — наконец едва слышное толкание тока дало понять, что действие прекратилось. Связь исчезла, аппарат тупо молчал. Передо мной были стена, ящик и трубка. По стеклу выстукивал ночной дождь. Я нажал кнопку, она брякнула и остановилась. Резонатор умер. Очарование отошло.

Но я слышал, я г о в о р и л, что было, того не могло не быть. Впечатления этих минут сошли и ушли вихрем, его отзвуками я был еще полон и сел, сразу устав, как от восхождения по крутой лестнице. Между тем я был еще в начале событий. Их развитие началось стуком отдаленных шагов.

VII

Еще очень далеко от меня — не в самом ли начале проделанного мною пути? — а может быть, с другой стороны, на значительном расстоянии первого уловления звука, послышались неведомые шаги. Как можно было установить, шел кто-то один, ступая проворно и легко, знакомой дорогой среди тьмы и, возможно, освещая путь ручным фонарем или свечой. Однако мысленно я видел е г о спешащим осторожно, во тьме; он шел, присматриваясь и оглядываясь. Не знаю, почему я вообразил это. Я сидел в оцепенении и смятении, как бы схваченный издали концами гигантских щипцов. Я налился

ожиданием до боли в висках, я был в тревоге, отнимающей всякую возможность противодействия. Я был бы спокоен, во всяком случае, начал бы успокаиваться, если бы шаги удалялись, но я слышал их все яснее, все ближе к себе, теряясь в соображениях относительно цели этого пытающего слух томительного, долгого перехода по опустевшему зданию. Уже предчувствие, что не удастся избежать встречи, отвратительно коснулось моего сознания; я встал, сел снова, не зная, что делать. Мой пульс точно следовал отчетливости или перерыву шагов, но, усилив наконец мрачную тупость тела, сердце пошло стучать полным ударом, так что я чувствовал свое состояние в каждом его толчке. Мои намерения смешались; я колебался, потушить свечу или оставить ее гореть, причем не разумные мотивы, а вообще возможность произвести какое-либо действие казалась мне удачно придуманным средством избегнуть опасной встречи. Я не сомневался, что встреча эта опасна или тревожна. Я нащупал покой среди нежилых стен и жаждал удержать ночную иллюзию. Одно время я выходил за дверь, стараясь ступать неслышно, с целью посмотреть, в какой из прилегающих комнат могу спрятаться, как будто та комната, где я сидел, заслоняя спиной огарок, была уже намечена к посещению и кто-то знал, что я нахожусь в ней. Я оставил это, сообразив, что, делая переходы, поступлю, как игрок в рулетку, который, переменив номер, видит с досадой, что проиграл только потому, что изменил покинутой цифре. Благоразумнее всего следовало мне сидеть и ждать, потушив огонь. Так я и поступил и стал ожидать во тьме.

Между тем не было уже никакого сомнения, что расстояние между мной и неизвестным пришельцем сокращается с каждым ударом пульса. Он шел теперь не далее, как за пять или шесть стен от меня, перебегая от дверей к двери с спокойной быстротой легкого тела. Я сжался, прикованный его шагами к налетающему как автомобиль моменту взаимного взгляда — глаза в глаза, и я молил бога, чтобы то не были зрачки с бешеной полосой белка над их внутренним блеском. Я уже не ожидал, я знал, что увижу е г о; инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тычась слепым лицом в острие страха. Призраки вошли в тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты, сумереч-

ного фантома, и, страшнее всего, ужаснее падения с высоты, ожидал, что у самой двери шаги смолкнут, что никого не окажется и что это отсутствие кого бы то ни было заденет по лицу воздушным толчком. Представить такого же, как я, человека не было уже времени. Встреча неслась; скрыться я никуда не мог. Вдруг шаги смолкли, остановились так близко от двери, и так долго я ничего не слышал, кроме возни мышей, бегающих в грудах бумаги, что едва уже сдерживал крик. Мне показалось: некто, согнувшись, крадется неслышно через дверь с целью схватить. Оторопь безумного восклицания, огласившего тьму, бросила меня вихрем вперед с протянутыми руками, — я отшатнулся, закрывая лицо. Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало светло как днем. Я получил род нервного сотрясения, но, едва задержась, тотчас прошел вперед. Тогда за ближайшей стеной женский голос сказал: «Идите сюда». Затем прозвучал тихий, задорный смех.

При всем моем изумлении я не ожидал такого конца пытки, только что выдержанной мной в течение, может быть, часа. «Кто зовет?» — тихо спросил я, осторожно приближаясь к двери, за которой таким красивым и нежным голосом обнаружила свое присутствие неизвестная женщина. Внимая ей, я представлял ее внешность, отвечающей удовольствию слуха, и с доверием ступил дальше, прислушиваясь к повторению слов: «Идите, идите сюда». Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая и каждый раз получая в ответ неизменно из-за стены соседнего помещения: «Идите, о, идите скорей!» — я осмотрел пять или шесть комнат, заметив в одной из них в зеркале самого себя, внимательно переводящего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантильях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты, и только их черные глаза с улыбкой меж сдвинутых лукаво бровей светились и мелькали неуловимо. Но я ошибался, так как я обернулся с быстротой, не позволившей бы убежать самым проворным существам этого дома. Устав и опасаясь при том волнении, какое переполняло меня, чего-

нибудь действительно грозного среди безмолвно озаренных пустот, я наконец резко сказал:

— Покажитесь, или я не пойду дальше. Кто вы и зачем зовете меня?

Прежде, чем мне ответили, эхо скомкало мое восклицание смутным и глухим гулом. Заботливая тревога слышалась в словах таинственной женщины, когда беспокойно окликнула она меня из неведомого угла: «Спешите, не останавливаясь; идите, идите, не возражая». Казалось, рядом со мной были произнесены эти слова, быстрые, как плеск, и звонкие в своем полушепоте, как если бы прозвучали над ухом, но тщетно спешил я в нетерпеливом порыве из дверей в двери, распахивая их или огибая сложный проход, чтобы взглянуть где-то врасплох на ускользающее движение женщины, — везде встречал я лишь пустоту, двери и свет. Так продолжалось это, напоминая игру в прятки, и несколько раз уже с досадой вздохнул я, не зная, идти далее или остановиться, остановиться решительно, пока не увижу, с кем говорю так тщетно на расстоянии. Если я умолкал, голос искал меня; все задушевнее и тревожнее звучал он, немедленно указывая направление и тихо восклицая впереди, за новой стеной:

— Сюда, скорее ко мне!

Как ни был я чуток к оттенкам голосов вообще — и особенно в этих обстоятельствах величайшего напряжения, — я не уловил в зовах, в настойчивых подзываниях неслышно убегающей женщины ни издевательства, ни притворства; хотя вела она себя более чем изумительно, у меня не было пока причин думать о зловещем или вообще дурном, так как я не знал вызвавших ее поведение обстоятельств. Скорее можно было подозревать настойчивое желание сообщить или показать что-то наспех, крайне дорожа временем. Если я ошибался, попадая не в ту комнату, откуда спешило ко мне вместе с шорохом и частым дыханием очередное музыкальное восклицание, меня направляли, указывая дорогу вкрадчивым и мягким «Сюда!». Я зашел уже слишком далеко для того, чтобы повернуть назад. Я был тревожно увлечен неизвестностью, стремясь почти бегом среди обширных паркетов, с глазами, устремленными по направлению голоса.

— Я здесь, — сказал наконец голос тоном конца ис-

тории. Это было на перекрестке коридора и лестницы, идущей несколькими ступенями в другой коридор, расположенный выше.

— Хорошо, но это последний раз, — предупредил я.

Она ждала меня в начале коридора, направо, где менее блестел свет; я слышал ее дыхание и, пройдя лестницу, с гневом осмотрел полутьму. Конечно, она снова обманула меня. Обе стены коридора были завалены кипами книг, оставляя узкий проход. При одной лампе, слабо озарявшей лишь лестницу и начало пути, я мог на расстоянии не рассмотреть человека.

— Где же вы? — всматриваясь, заговорил я. — Остановитесь, вы так спешите. Идите сюда.

— Я не могу, — тихо ответил голос. — Но разве вы не видите? Я здесь. Я устала и села. Подойдите ко мне.

Действительно, я слышал ее совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце светлым пятном двери. Спотыкаясь о книги, я поскользнулся, зашатался и, падая, опрокинул шаткую кипу гроссбухов. Она рухнула глубоко вниз. Падая на руки, я ушел ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда, на невольный мой вскрик, вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю. Если изумление страха в этот момент отстраняло догадку, то смех, веселый холодный смешок по ту сторону ловушки, немедленно объяснил мою роль. Смех удалялся, затихая с жестокой интонацией, и я более не слышал его.

Я не вскочил, не отполз с шумом, лишним в предполагаемом падении моем; поняв шутку, я даже не пошевелился, предоставляя чужому впечатлению отстояться в желательном для него смысле. Однако следовало заглянуть на уготованное мне ложе. Пока не было никаких признаков наблюдения, и я, с великой осторожностью зажегши спичку, увидел четырехугольный люк проломанного насквозь пола. Свет не озарял низа, но, припоминая паузу, разделяющую толчок от гула удара книг, я определил приблизительно высоту падения в двенадцать метров. Следовательно, пол нижнего этажа был разрушен симметрично к верхней дыре, образуя двой-

ной пролет. Я кому-то мешал. Это я мог понять, имея веские доказательства, но я не понимал, как могла бы самая воздушная женщина перелететь через обширный люк, стены которого не имели никакого бордюра, позволяющего воспользоваться им для перехода; ширина достигала шести аршин.

Выждав, когда происшествие утратило свою опасную свежесть, я переполз назад, к месту, где достигающий издалека свет позволял различать стены, и встал. Я не смел возвращаться к озаренным пространствам. Но я был теперь не в состоянии также покинуть сцену, на которой едва не разыграл финал пятого акта. Я коснулся вещей довольно серьезных, чтобы попытаться идти далее. Не зная, с чего начать, я осторожно ступал по обратному направлению, иногда прячась за выступами стены, чтобы проверить безлюдие. В одном из таких выступов находилась водопроводная раковина; из крана капала вода; здесь же висело полотенце с сырыми следами только что вытертых рук. Полотенце еще ш е в е л и л о с ь; здесь отошел некто, может быть, на расстоянии десяти шагов от меня, оставшись незамечен, как и я им, силой случайности. Не следовало более искушать эти места. Оцепенев от напряжения, вызванного видом едва не на моих глазах тронутого полотенца, я наконец отступил, сдерживая дыхание, и с облегчением увидел узкую боковую дверь в тени выступа, почти заваленную бумагой. Хотя с трудом, но ее можно было несколько оттянуть, чтобы протиснуться. Я ушел в эту лазейку, как в стену, попав в озаренный тихий и безлюдный проход, очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал, прислонясь к стене, в нишу заколоченной двери.

Никакой звук, никакое доступное чувствам явление не ускользнули бы от меня в эти минуты, так был я внутренне заострен, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но, казалось, умерла жизнь на земле, — такая тишина смотрела в глаза неподвижным светом белого глухого прохода. По-видимому, все живое ушло отсюда или же притаилось. Я начал изнемогать, тянуться с нетерпением отчаяния к какому бы то ни было шуму, но вон из оцепенелого света, сжимающего сердце молчанием. Вдруг звуков появилось более чем достаточно в смысле у с п о к о е н и я — если назвать таким словом

«покой в бурях», — множество шагов раздалось за стеной, глубоко внизу. Я различал голоса, восклицания. К этим звукам начинающегося неведомого оживления присоединился звук настраиваемых инструментов; резко пильнула скрипка; виолончель, флейта и контрабас протянули вразброд несколько тактов, заглушаемых передвиганием мебели.

Среди ночи — я не знал, который теперь час, — это проявление жизни в глубине трех этажей после уже испытанного мною над люком звучало для меня новой угрозой. Наверное, расхаживая неутомимо, я отыскал бы выход из этого бесконечного дома, но не теперь, когда я не знал, что может ожидать меня за ближайшей дверью. Я мог знать свое положение, только определив, что происходит внизу. Тщательно прислушиваясь, я установил расстояние между собой и звуками. Оно было довольно велико, имея направление через противоположную стену вниз.

Я стоял так долго в своей дверной нише, что наконец осмелился выйти, с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанной стеклом; оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница, из тех, что употребляются малярами при белении потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к отверстию. Как ни было запылено стекло с обеих сторон, протерев его ладонью, сколько и как мог, я получил возможность смотреть, но все же как бы сквозь дым. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась: я смотрел в тот самый центральный зал банка, где был вечером, но не мог видеть его внизу, окошечко это выходило на хоры. Совсем близко нависал пространный лепной потолок; балюстрада, являясь по этой стороне прямо перед глазами, скрывала глубину зала, лишь далекие колонны противоположной стороны виднелись менее чем наполовину. По всему протяжению хор не было ни души, меж тем как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвигание стульев, неразборчивые отрывки бесед, спокойный гул нижних дверей. Уверенно звенела посуда; кашель, сморкание,

цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации, — да, это был банкет, бал, собрание, гости, юбилей — что угодно, но не прежняя холодная и громадная пустота с застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке.

Почти уверенный, что никто не придет сюда, в закоулок, имеющий отношение скорее к чердакам, чем к магистрали нижнего перехода, я осмелился удалить стекло. Его рама, удерживаемая двумя согнутыми гвоздями, слабо шаталась. Я отвернул гвозди и выставил заграждение. Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо; пока я осваивался с его характером, музыка начала играть кафешантанную пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл «под сурдинку», как бы по приказанию. Однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественное усилие и долетая к моему убежищу в оболочке своего смысла. Насколько я мог понять, интерес различных групп *зала вертелся около подозрительных сделок,* хотя и без точной для меня связи разговора вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные — жестокий визг; увесистый деловой хохот перемешивался с шипением. Голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камелий. Иногда чьенибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней; иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками иного оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики.

Настала пауза; несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загремели предупреждения и приглашения слушать. В то время чья-то речь уже тихо текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, покапывающими периодами.

— Привет Избавителю! — ревом возгласил хор. — Смерть Крысолову!

— Смерть! — мрачно прозвенели женские голоса. Отзвуки прошли долгим воем и стихли. Не знаю почему, хотя я был устрашенно захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади; но только глубоко вздохнул — никто не стоял за мной. У меня было еще время сообразить, как скрыться: за углом поворота явственно прошли, без подозрения о моем присутствии, двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. Его линия остановилась по пути сюда этих людей на неизвестном для меня вопросе, получившем теперь ответ. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание.

— Он умрет, — сказал неизвестный, — но не сразу. Вот адрес: пятая линия, девяносто семь, квартира одиннадцать. С ним его дочь. Это будет великое дело Освободителя. Освободитель прибыл издалека. Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает Освободителю, Крысолов мертв, и мы увидим его пустые глаза!

VIII

Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз, — бежать, скрыться и лететь вестником на 5-ю линию. При всяком самом разумном сомнении цифры и название улицы не могли бы сообщить мне, есть ли в квартире этой еще другая семья, — довольно, что я думал о т о й и что она была там. В таком устрашенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз; лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас; музыка мгновенно умолкла, и крик ярости опередил меня в слепом беге

по узкому пространству, где, не помня как, ударился я грудью в ту дверь, которой проник сюда. С силой необъяснимой я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение! Начинался рассвет с его первой мутью, указывающий пространство дверей; я мог мчаться до потери дыхания. Но инстинктивно я искал ходов не книзу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынные переходы.. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон, тем более, что за мной гнались, — я слышал торопливые переходы сзади и спереди, — этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Он раздавался с неправильностью уличного движения, иногда так близко, что я отскакивал за дверь, или же ровно следовал в стороне, как бы обещая ежесекундно обрушиться мне наперерез. Я ослабевал, отупел от страха и беспрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несся среди мансард. Последняя лестница, замеченная мною, упиралась в потолок квадратной дырой, я проскочил по ней вверх с чувством занесенного над спиной удара, — так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака, немедленно обрушив на люк все, что смутно белело по сторонам; это оказалось грудой оконных рам, двинуть которую с размаха могла лишь сила отчаяния. Они легли, застряв вдоль и поперек, непроходимой чащей своих переплетов. Сделав это, я побежал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты стен среди ям и труб, как в лесу. Наконец, я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая, смутная тень; из труб не шел дым, прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной трубы. Она шаталась; ее скрепы трещали, когда я начал спускаться; на высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержавшись за перехват. Наконец, ноги нащупали тротуар; я поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным; поэтому, как только передохнул, пустился бегом.

IX

Едва я повернул за угол, как принужден был остановиться, увидев плачущего хорошенького мальчика лет семи, с личиком, побледневшим от слез; тоскливо тер он кулачками глаза и всхлипывал. С жалостью, естественной для каждого при такой встрече, я нагнулся к нему, спросив: «Мальчик, ты откуда? Тебя бросили? Как ты попал сюда?»

Он, всхлипывая, молчал, смотря исподлобья и ужасая меня своим положением. Пусто было вокруг. Это худенькое тело дрожало, его ножки были в грязи и босы. При всем стремлении моем к месту опасности, я не мог бросить ребенка, тем более, что от испуга или усталости он кротко молчал, вздрагивая и ежась при каждом моем вопросе, как от угрозы. Гладя его по голове и заглядывая в его полные слез глаза, я ничего не добился; он мог только поникать головой и плакать. «Дружок, — сказал я, решась постучать куда-нибудь в дом, чтобы подобрали ребенка, — посиди здесь, я скоро приду, и мы отыщем твою негодную маму». Но, к моему удивлению, он крепко уцепился за мою руку, не выпуская ее. Было что-то в этом его усилии ничтожное и дикое; он даже сдвинулся по тротуару, крепко зажмурясь, когда я, с внезапным подозрением, рванул прочь руку. Его прекрасное личико было все сведено, стиснуто напряжением. «Эй ты! — закричал я, стремясь освободить руку. — Брось держать!» И я оттолкнул его. Не плача уже и также молча, уставил он на меня прямой взгляд черных огромных глаз; затем встал и, посмеиваясь, пошел так быстро, что я, вздрогнув, оторопел. — «Кто ты?» — угрожающе закричал я. Он хихикнул и, ускоряя шаги, скрылся за углом, но я еще смотрел некоторое время по тому направлению, с чувством укушенного, затем опомнился и побежал с быстротой догоняющего трамвай. Дыхание сорвалось. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал снова и, вновь задохнувшись, несся безумным шагом, резким, как бег.

Я уже был на Конногвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно про-

звучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.

— Но ведь это вы! — сказала она. — Как же я не узнала! Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись. Как вы измучены, как бледны!

Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, с светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренне остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва, — милее было бы мне прийти к ней, т у д а.

— Слушайте, — сказал я, не отрываясь от ее доверчивых глаз, — я спешу к вам. Еще не поздно...

Она перебила, отводя меня в сторону за рукав.

— Сейчас рано, — значительно сказала она, — или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у *меня вечером, слышите? И я вам скажу все.* Я много думала о наших отношениях. Знайте: я вас люблю.

Произошло подобное остановке стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была сказать так. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою, маленькую, свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты, — нежность сменилась тупостью, взгляд остро метнулся, и, сам страшно смеясь, я погрозил пальцем.

— *Нет, ты не обманешь меня,* — *сказал я,* — она там. Она теперь спит, и я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была.

Взмах быстро заброшенного перед самым лицом платка был последнее, что я видел отчетливо в двух шагах. Затем стали мелькать тесные просветы деревьев, то напоминая бегущую среди них женскую фигуру, то указывая, что я бегу сам изо всех сил. Уже виднелись часы площади. На мосту стояли рогатки. Вдали, у противоположной стороны набережной, дымил черный буксир, натягивая канат барки. Я перескочил рогатку и одолел мост в последний момент, когда его разводная часть начала отходить щелью, разняв трамвайные рельсы. Мой летящий прыжок встречен был сторожами от-

чаянным бранным криком, но, лишь мелькнув взглядом по блеснувшей внизу щели воды, я был уже далеко от них, я бежал, пока не достиг ворот.

X

Тогда или, вернее, спустя некоторое время наступил момент, от которого я мог частично восстановить обратным порядком слетевшее и помраченное действие. Прежде всего я увидел девушку, стоящую у дверей, прислушиваясь, с рукой, простертой ко мне, как это делают, когда просят или безмолвно приказывают сидеть тихо. Она была в летнем пальто; ее лицо выглядело встревоженным и печальным. Она спала перед тем, как я появился здесь. Это я знал, но обстоятельства моего появления ускользнули, как вода в сжатой руке, едва я сделал сознательное усилие немедленно связать все. Повинуясь ее полному беспокойства жесту, я продолжал неподвижно сидеть, ожидая, чем кончится это прислушивание. Я силился понять его смысл, но тщетно. Еще немного, и я сделал бы решительное усилие, чтобы одолеть крайнюю слабость, я хотел спросить, что происходит теперь в этой большой комнате, как, словно угадывая мое движение, девушка повернула голову, хмурясь и грозя пальцем. Теперь я вспомнил, что ее зовут Сузи, что так ее назвал кто-то, вышедший отсюда, сказав: «Должна быть совершенная тишина». Спал я или был только рассеян? Пытаясь решить этот вопрос, я машинально опустил взгляд и увидел, что пола моего пальто разорвана. Но оно было цело, когда я спешил сюда. Я переходил от недоумения к удивлению. Вдруг все затряслось и как бы бросилось вон, смешав свет; кровь хлынула к голове: раздался оглушительный треск, подобный выстрелу над ухом, затем крик. «Хальт!» — крикнул кто-то за дверью. Я вскочил, глубоко вздохнув. Из двери вышел человек в сером халате, протягивая отступившей девушке небольшую доску, на которой, сжатая дугой проволоки, висела огромная, перебитая пополам черная крыса. Ее зубы были оскалены, хвост свешивался.

Тогда, вырванная ударом и криком из воистину страшного состояния, моя память перешла темный обрыв. Немедленно я схватил и удержал многое. Чувства

заговорили. Внутреннее видение обратилось к началу сцены, повторив цепь усилий. Я вспомнил, как перелез ворота, опасаясь стучать, чтобы не привлечь новой опасности, как обошел дверь и дернул звонок третьего этажа. Но разговор через дверь — разговор долгий и тревожный, причем женский и мужской голоса спорили, впустить ли меня, — я забыл бесповоротно. Он был восстановлен впоследствии.

Все эти еще не вполне смыкающиеся черты возникли с быстротой взгляда в окно. Старик, внесший крысоловку, был в плотной шапке седых выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку желудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед подбородком, погруженным в голубой шарф, могли заинтересовать портретиста, любителя характерных линий.

— Вы видите так называемую черную гвинейскую крысу. Ее укус очень опасен. Он вызывает медленное гниение заживо, превращая укушенного в коллекцию опухолей и нарывов. Этот вид грызуна редок в Европе, он иногда заносится пароходами. «Свободный ход», о котором вы слышали ночью, есть искусственная лазейка, проделанная мною около кухни для опыта с ловушками различных систем: два последние дня ход этот, действительно, был свободен, так как я с увлечением читал Эрта Эртруса: «Кладовая крысиного короля», книга, представляющая собой отменную редкость. Она издана в Германии четыреста лет назад. Автор был сожжен на костре в Бремене как еретик. Ваш рассказ...

Следовательно, я рассказал уже все, с чем пришел сюда. Но у меня были еще сомнения. Я спросил:

— Приняли ли вы меры? Знаете ли вы, какого рода эта опасность, так как я не совсем понимаю ее?

— Меры? — сказала Сузи. — О каких мерах вы говорите?

— Опасность... — начал старик, но остановился, взглянув на дочь. — Я не понимаю.

Произошло легкое замешательство. Все трое мы обменялись взглядом ожидания.

— Я говорю, — начал я неуверенно, — что вам следует остеречься. Кажется, я уже говорил это, но, про-

стите меня, я не вполне помню, что говорил. Мне кажется теперь, что я был как бы в глубоком обмороке.

Девушка посмотрела на отца, затем на меня и улыбнулась с недоумением: «Как это может быть?»

— Он устал, Сузи, — сказал старик. — Я знаю, что такое бессонница. Все было сказано; и были приняты меры. Если я назову эту крысу, — он опустил ловушку к моим ногам с довольным видом охотника, — словом «Освободитель», вы будете уже кое-что знать.

— Это шутка, — возразил я, — и шутка, конечно, отвечающая занятию Крысолова. — Говоря так, я припомнил вывеску небольшого размера, над которой висел звонок. На ней было написано:

«КРЫСОЛОВ»
Истребление крыс и мышей.
О. Иенсен
Телеф. 1-08-01

Я видел ее у входа.

— Вы шутите, так как не думаю, чтобы этот «Освободитель» принес вам столько хлопот.

— Он не шутит, — сказала Сузи, — он знает.

Я сравнивал эти два взгляда, которым отвечал в тот момент улыбкой тщетных догадок, — взгляд юности, полный неподдельного убеждения, и взгляд старых, но ясных глаз, выражающих колебание, продолжать ли разговор так, как он начался.

— Пусть за меня скажет вам кое-что об этих вещах Эрт Эртрус. — Крысолов вышел и принес старую книгу в кожаном переплете, с красным обрезом. — Вот место, над которым вы можете смеяться или задуматься, как угодно.

...«Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий, где прячется. В его власти изменять свой вид, являясь, как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза и движения, подобные человеческим и даже не уступающие человеку, — как его полный, хотя и не настоящий образ. Крысы могут также причинять неизлечимую болезнь, пользуясь для того средствами, доступными только им. Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение и нашествие. Тогда они собираются под знаком таинственных превращений,

действуя как люди, и ты будешь говорить с ними, не зная, кто это. Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают; окружаясь роскошью, едят и пьют довольно и имеют все в изобилии. Золото и серебро есть их любимейшая добыча, а также драгоценные камни, которым отведены хранилища под землей».

— Но довольно читать, — сказал Крысолов, — и вы, конечно, догадываетесь, почему я перевел именно это место. *Вы были окружены крысами.*

Но я уже понял. В некоторых случаях мы предпочитаем молчать, чтобы впечатление, колеблющееся и разрываемое другими соображениями, нашло верный приют. Тем временем мебельные чехлы стали блестеть усиливающимся по окну светом, и первые голоса улицы прозвучали ясно, как в комнате. Я снова погружался в небытие. Лица девушки и ее отца отдалялись, став смутным видением, застилаемым прозрачным туманом. «Сузи, что с ним?» — раздался громкий вопрос. Девушка подошла, находясь где-то вблизи меня, но где именно, я не видел, так как был не в состоянии повернуть голову. Вдруг моему лбу стало тепло от приложенной к нему женской руки, в то время как окружающее, исказив и смешав линии, пропало в хаотическом душевном обвале. Дикий, дремучий сон уносил меня. Я слышал ее голос: «Он спит», — слова, с которыми я проснулся после тридцати несуществовавших часов. Меня перенесли в тесную соседнюю комнату, на настоящую кровать, после чего я узнал, что «для мужчины был очень легок». Меня пожалели; комната соседней квартиры оказалась на тот же, другой день, в моем полном распоряжении. Дальнейшее не учитывается. Но от меня зависит, чтобы оно стало таким, как в момент ощущения на голове теплой руки. Я должен завоевать доверие...

И более — ни слова об этом.

1924

М.Шолохов

ЧУЖАЯ КРОВЬ

В филипповку, после заговенья, выпал первый снег. Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи обыневшим краснобылом, лохматым сугробам заплел косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог.

Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханая, забурьяневшая.

В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив с печки ноги, держась за комель, долго кашлял, потом сплюнул и нащупал кисет.

Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед, сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту, а в промежутках между приступами удушья думки идут в голове привычной, хоженой стежкой. Об одном думает дед — о сыне, пропавшем в войну без вести.

Был один — первый и последний. На него работал не покладая рук. Время приспело провожать на фронт против красных, — две пары быков отвел на рынок, на выручку купил у калмыка коня строевого, не конь — буря степная летучая. Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором. На проводах сказал:

— Ну, Петро, справил я тебя, не стыдно и офицеру с такой справой идтить... Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий Дон не страми! Деды и прадеды твои службу царям несли, должон и ты!..

Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отсветами лунного света, к ветру, — какой по двору шарит, не положенного ищет, — прислушивается, вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся...

На проводах служивого гремели казаки под камышовой крышей Гаврилиного дома старинной казачьей песней:

А мы бьем, не портим боевой порядок.
Слу-ша-ем один да приказ.
И что нам прикажут отцы-командиры,
Мы туда идем — рубим, колем, бьем!..

За столом сидел Петро, хмельной, иссиня-бледный, последнюю рюмку, «стременную», выпил, устало зажмурив глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил и, с седла перегнувшись, горсть земли с родимого база взял. Где-то теперь лежит он, и чья земля на чужбине греет ему грудь?

Кашляет дед тягуче и сухо, мехи в груди на разные лады хрипят-вызванивают, а в промежутках, когда, откашлявшись, прислонится сгорбленной спиной к комелю, думки идут в голове знакомой, хоженой стежкой.

* * *

Проводил сына, а через месяц пришли красные. Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь дедову, обычную, вывернули наизнанку, как порожний карман. Был Петро по ту сторону фронта, возле Донца усердием в боях заслуживал урядницкие погоны, а в станице дед Гаврила на москалей на красных вышивал, кохал, нянчил — как Петра, белоголового сынишку, когда-то — ненависть стариковскую глухую.

Назло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль суконных с напуском шаровар. Чекмень надевал с гвардейским оранжевым позументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Вешал на грудь медали и кресты, полученные за то, что служил монарху верой и правдой; шел по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтоб все видали.

Председатель Совета станицы при встрече как-то сказал:

— Сыми, дед, висюльки! Теперь не полагается.

Порохом пыхнул дед:

— А ты мне их вешал, что сымать-то велишь?

— Кто вешал, давно небось в земле червей продовольствует.

— И пущай!.. А я вот не сыму! Рази с мертвого сдерешь?

— Сказанул тоже... Тебя же жалеючи, советую, по мне, хоть спи с ними, да ить собаки... собаки-то штаны тебе облатают! Они, сердешные, отвыкли от такого виду, не признают своево...

Была обида горька, как полынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой родниться начала.

Пропал сын — некому стало наживать. Рушились сараи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне, в пустых станках, по-своему захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка.

Лошадей брали перед уходом казаки, остатки добирали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую, брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один огляд купили махновцы. Взамен оставили деду пару английских обмоток.

— Пущай уж наше переходит! — подмигнул махновский пулеметчик. — Богатей, дед, нашим добром!..

Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки падали в работе; но весною, — когда холостеющая степь ложилась под ногами покорная и истомная, — манила деда земля, звала по ночам властным неслышным зовом. Не мог противиться, запрягал быков в плуг, ехал, полосовал степь сталью, обсеменял ненасытную черноземную утробу ядреной пшеницей гиркой.

Приходили казаки от моря и из-за моря, но никто из них не видал Петра. В разных полках с ним служили, в разных краях бывали — мала ли Россия? — а однополчане станичники Петра полком легли в бою со Жлобинским отрядом на Кубани где-то.

Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила.

Ночами слышал, как в подушку точила она слезы, носом чмыкала.

— Ты чего, старая? — спросит кряхтя.

Помолчит та немного, откликнется:

— Должно, угар у нас... голова что-то прибаливает.

Не показывал виду, что догадывается, советовал:

— А ты бы рассольцу из-под огурцов. Сем-ка я слазю в погреб, достану?

— Спи уж! Пройдет и так!..

И снова тишина расплеталась в хате незримой кружевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал, на чужое горе, на материнскую тоску любуясь.

Но все же ждали и надеялись, что придет сын. Овчины отдал Гаврила выделать, старухе говорит:

— Мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить.

Сшили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги расхожие — скотину убирать — ему сготовили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекла, а зарезали ягнока — из овчины папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь. Войдет с надворья, глянет, и кажется, будто выйдет сейчас Петро из горницы, улыбнется, спросит: «Ну как, батя, холодно на базу?»

Дня через два после этого перед сумерками пошел скотину убирать. Сена в ясли наметал, хотел воды из колодца почерпнуть — вспомнил, что забыл варежки в хате. Вернулся, отворил дверь и видит: старуха на коленях возле лавки стоит, папаху Петрову неношеную к груди прижала, качает, как дитя баюкает...

В глазах потемнело, зверем кинулся к ней, повалил на пол, прохрипел, пену глотая с губ:

— Брось, подлюка!.. Брось!.. Что ты делаешь?!.

Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок навесил. Только стал примечать, что с той поры левый глаз у старухи стал дергаться и рот покривило.

Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая.

В этот день замерзли на Дону окраинцы. Через станицу пролетела припозднившаяся ватага диких гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на образа второпях перекрестился.

— Здорово дневали!

— Слава богу.

— Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел. Он ить с вашим Петром в одном полку служил!..

Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохора не застал дома: уехал на хутор к брату, обещал вернуться к завтрему.

Ночь не спал Гаврила. Томился на печке бессонницей.

Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки.

Утро — бледная немочь — точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц зазоревал посреди неба, сил не хватило дошагать до тучки, на день прихорониться.

* * *

Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал почему-то шепотом:

— Прохор идет!

Вошел он, на казака не похожий, чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки, и мешковато сидело пальто чудного покроя, с чужого плеча, как видно.

— Здорово живешь, Гаврила Василич!..

— Слава богу, служивый!.. Проходи, садись.

Прохор снял шапку, поздоровался со старухой и сел на лавку, в передний угол.

— Ну, и погодка пришла, снегу надуло — не пройдешь!..

— Да, снега нынче рано упали... В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила.

На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду равнодушный и твердый, сказал:

— Постарел ты, парень, в чужих краях!

— Молодеть-то не с чего было, Гаврила Василич! — улыбнулся Прохор.

Заикнулась было старуха:

— Петра нашего...

— Замолчи-ка, баба!.. — строго прикрикнул Гаврила. — Дай человеку опомниться с морозу, успеешь... узнать!..

Поворачиваясь к гостю, спросил:

— Ну, как, Прохор Игнатич, протекала ваша жизня?

— Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом, и то — слава богу.

— Та-а-ак... Плохо у турка жилось, значится?

— Концы с концами насилу связывали. — Прохор

побарабанил по столу пальцами. — Однако и ты, Гаврила Василич, дюже постарел, седина вон как обрызгала тебе голову... Как вы тут живете при советской власти?

— Сына вот жду... стариков нас докармливать... — криво улыбнулся Гаврила.

Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила приметил это, спросил резко и прямо:

— Говори: где Петро?

— А вы разве не слыхали?

— По-разному слыхали, — отрубил Гаврила.

Прохор свил в пальцах грязную бахрому скатерти, заговорил не сразу.

— В январе, кажись... Ну, да, в январе, стояли мы сотней возле Новороссийского города... Город такой у моря есть... Ну, обыкновенно стояли...

— Убит, что ли?.. — нагибаясь, низким шепотом спросил Гаврила.

Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно и не слышал вопроса.

— Стояли, а красные прорывались к горам: к зеленым на соединенье. Назначает его, Петра вашего, командир сотни в разъезд... Командиром у нас был подъесаул Сенин... Вот тут и случись... понимаете...

Возле печки звонко стукнул упавший чугун, старуха, вытягивая руки, шла к кровати, крик распирал ей горло.

— Не вой!!. — грозно рявкнул Гаврила и, облокотясь о стол, глядя на Прохора в упор, медленно и устало проговорил: — Ну, кончай!

— Срубили!.. — бледнея, выкрикнул Прохор и встал, нащупывая на лавке шапку. — Срубили Петра... насмерть... Остановились они возле леса, коням передышку давали, он подпругу на седле отпустил, а красные из лесу... — Прохор, захлебываясь словами, дрожащими руками мял шапку. — Петро черк за луку, а седло коню под пузо... Конь горячий... не сдержал, остался... Вот и все!..

— А ежели я не верю?.. — раздельно сказал Гаврила.

Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери.

— Как хотите, Гаврила Василич, а я истинно...

Я правду говорю... Гольную правду... Своими глазами видал...

— А ежели я не хочу этому верить?!. — багровея, захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью и слезами. Разодрав у ворота рубаху, он голой волосатой грудью шел на оробевшего Прохора, стонал, запрокидывая потную голову: — Одного сына убить?!. Кормильца?!. Петьку мово?!. Брешешь, сукин сын!.. Слышишь ты?!. Брешешь! Не верю!..

А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками, прошел на гумно и стал у скирда.

Из степи дул ветер, порошил снегом; темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах.

— Сынок! — позвал Гаврила вполголоса. Подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал: — Петро!.. Сыночек!..

Потом лег плашмя на притоптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза.

* * *

В станице поговаривали о продразверстке, о бандах, что шли с низовьев Дона. В исполкоме на станичных сходах шепотом сообщались новости, но дед Гаврила ни разу не ступнул на расшатанное исполкомское крыльцо, надобности не было, потому о многом не слышал, многое не знал. Диковинно показалось ему, когда в воскресенье после обедни заявился председатель, с ним трое в желтых куценьких дубленках, с винтовками.

Председатель поручкался с Гаврилой и сразу, как обухом по затылку:

— Ну, признавайся, дед: хлеб есть?

— А ты думал как, духом святым кормимся?

— Ты не язви, говори толком: где хлеб?

— А амбаре, само собой.

— Веди.

— Дозволь узнать, какое вы имеете касательство к мому хлебу?

Рослый, белокурый, по виду начальник, постукивая на морозе каблуками, сказал:

— Излишки, забираем в пользу государства. Продразверстка. Слыхал, отец?

— А ежели я не дам? — прохрипел Гаврила, набухая злобой.

— Не дашь? Сами возьмем!..

Пошептались с председателем, полезли по закромам, в очищенную смугло-золотую пшеницу накидали с сапог снежных ошлепков. Белокурый, закуривая, решил:

— Оставить на семена, на прокорм, остальное забрать. — Оценивающим хозяйским взглядом прикинул количество хлеба и повернулся к Гавриле: — Сколько десятин будешь сеять?

— Чертову лысину засею!.. — засипел Гаврила, кашляя и судорожно кривляясь. — Берите, проклятые!.. Грабьте!.. Все ваше!..

— Что ты, осатанел, что ли, остепенись, дед Гаврила!.. — упрашивал председатель, махая на Гаврилу варежкой.

— Давитесь чужим добром!.. Лопайте!..

Белокурый содрал с усины оттаявшую сосульку, искоса умным, насмешливым глазом кольнул Гаврилу, сказал со спокойной улыбкой:

— Ты, отец, не прыгай! Криком не поможешь. Что ты визжишь, аль на хвост тебе наступили?.. — И, хмуря брови, резко переломил голос: — Языком не трепи!.. Коли длинный он у тебя — привяжи к зубам!.. За агитацию... — Не договорив, хлопнул ладонью по желтой кобуре, перекосившей пояс, и уже мягче сказал: — Сегодня же свези на ссыпунктр!

Не то чтобы испугался старик, а от голоса уверенного и четкого обмяк, понял, что в самом деле криком тут не пособишь. Махнул рукой и пошел к крыльцу. До половины двора не дошел — дрогнул от крика дико-хриплого:

— Где продотрядники?!

Повернулся Гаврила — за плетнем, вздыбив приплясывающую лошадь, кружится конный. Предчувствие чего-то необычайного дрожью подкатилось под колени. Не успел рта раскрыть, как конный, увидев стоявших возле амбара, круто осадил лошадь и, неуловимо поведя рукой, рванул с плеча винтовку.

Сочно треснул выстрел, и в тишине, вслед за выстрелом на короткое мгновение облапившей двор, четко

сдвоил затвор, патронная гильза вылетела с коротким жужжаньем.

Оцепененье прошло: белокурый, влипая в притолоку, прыгающей рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер, председатель, приседая по-заячьи, рванулся через двор к гумну, один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнею выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега словно прилипшие ноги и тяжело затрусил к крыльцу. Оглянувшись, увидал, как трое в дубленках недружно, врассыпную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радушно распахнутые ворота хлынули конные.

Передний, в кубанке, на рыжем жеребце, горбатясь, приник к луке и закружил над головой шашку. Перед Гаврилой лебедиными крыльями мелькнули концы его белого башлыка, в лицо кинуло снегом, брызнувшим из-под лошадиных копыт.

Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила видел, как рыжий жеребец, подобравшись, взлетел через плетень и закружился на дыбках возле початого скирда ячменной соломы, а кубанец, свисая с седла, крест-накрест рубил ползавшего в корчах продотрядника...

На гумне обрывчатый, неясный шум, возня, чей-то протяжный, рыдающий крик. Через минуту гулко стукнул одинокий выстрел. Голуби, вспуганные было стрельбой и вновь попадавшие на крышу амбара, сорвались в небо фиолетовой дробью. Конные на гумне спешились.

По станице неумолчно плескался малиновый трезвон. Паша — станичный дурачок — взобрался на колокольню и по глупому своему разуму хватил во все колокола, вместо набата вызванивая пасхальную плясовую.

К Гавриле подошел кубанец в наброшенном на плечи белом башлыке. Лицо его, горячее и потное, подергивалось, углы губ слюняво свисали.

— Овес есть?

Гаврила трудно двинулся от крыльца, подавленный виденным, не мог совладать с онемевшим языком.

— Оглох ты, черт?!. Овес есть? — спрашиваю. Неси мешок!

Не успели подвести лошадей к корыту с кормом, — в ворота вскочил еще один.

— По коням!.. С горы пехота...

Кубанец с проклятием взнуздал облитого дымящимся потом жеребца и долго тер снегом обшлаг своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным.

Со двора их выехало пятеро, в тороках последнего угадал Гаврила желтую, в кровяных узорах дубленку белокурого.

* * *

До вечера за бугром в терновой балке погромыхивали выстрелы. В станице побитой собакой, приниженно лежала тишина. Уже заголубели сумерки, когда Гаврила решился пойти на гумно. Вошел в настежь открытую калитку, увидел: на гуменном прясле, уронив голову, повис настигнутый пулей председатель. Руки его, свисая, словно тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону прясла.

Неподалеку от скирда на снегу, притрушенном объедьями и половой, лежали раздетые до белья продотрядники, все трое в ряд. И глядя на них, уже не ощутил Гаврила в дрогнувшем от ужаса сердце той злобы, что гнездилась там с утра. Казалось небывальщиной, сном, чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские козы, обдергивая прикладок соломы, теперь лежали изрубленные люди: и от них, от талых круговин примерзшей пузырчатой крови, уже струился-тек запах мертвечины...

Белокурый лежал, неестественно отвернув голову, и если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он отдыхая — так беспечно были закинуты его ноги одна за одну.

Второй, щербатый и черноусый, выгнулся, вобрав голову в плечи, оскалясь непримиримо и злобно. Третий, зарывшись головою в солому, недвижно плыл по снегу: столько силы и напряжения было в мертвом размахе его рук.

Нагнулся Гаврила над белокурым, вглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости: лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с ко-

лючими глазами продкомиссар. Под желтеньким пушком усов возле губ стыл иней и скорбная складка, лишь поперек лба темнела морщинка, глубокая и строгая.

Бесцельно тронул рукою голую грудь и качнулся от неожиданности: сквозь леденящий холодок ладонь прощупала потухающее тепло...

Старуха ахнула и, крестясь, шарахнулась к печке, когда Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине одеревеневшее, кровью почерненное тело.

Положил на лавку, отмыл холодной водой, до устали, до пота тер колючим шерстяным чулком ноги, руки, грудь. Прислонился ухом к гадливо-холодной груди и насилу услышал глухой, с долгими промежутками стук сердца.

* * *

Четвертые сутки лежал он в горнице шафранно-бледный, похожий на покойника. Пересекая лоб и щеку, багровел запекшийся кровью шрам, туго перевязанная грудь качала одеяло, с хрипом и клокотаньем вбирая воздух.

Каждый день Гаврила вставлял ему в рот свой потрескавшийся, зачерствелый палец, концом ножа осторожно разжимал стиснутые зубы, а старуха через камышинку лила подогретое молоко и навар из бараньих костей.

На четвертый день с утра на щеках белокурого зарозовел румянец, к полудню лицо его полыхало, как куст боярышника, зажженный морозом, дрожь сотрясала все тело, и под рубахой проступал холодный и клейкий пот.

С этой поры стал он несвязно и тихо бредить, порывался вскакивать с кровати. Днем и ночью дежурили около него Гаврила поочередно со старухой.

В длинные зимние ночи, когда восточный ветер, налетая с Обдонья, мутил почерневшее небо и низко над станицей стлал холодные тучи, сиживал Гаврила возле раненого, уронив голову на руки, вслушиваясь, как бредил тот, незнакомым, окающим говорком несвязно о чем-то рассказывая; подолгу вглядывался в смуглый треугольник загара на груди, в голубые веки закрытых глаз, обведенных сизыми подковами. И когда с выцвет-

ших губ текли тягучие стоны, хриплая команда, безобразные ругательства и лицо искажалось гневом и болью, — слезы закипали у Гаврилы в груди. В такие минуты жалость приходила непрошеная.

Видел Гаврила, как с каждым днем, с каждой бессонной ночью бледнеет и сохнет возле кровати старуха, примечал и слезы на щеках ее, вспаханных морщинами, и понял, вернее — почуял сердцем, что невыплаканная любовь ее к Петру, покойному сыну, пожаром перекинулась вот на этого недвижного, смертью зацелованного, чьего-то чужого сына...

Заезжал как-то командир проходившего через станицу полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем, сам взбежал на крыльцо, гремя шашкой и шпорами. В горнице шапку снял и долго молча стоял у кровати. По лицу раненого бродили бледные тени, из губ, сожженных жаром, точилась кровица. Качнул командир преждевременно поседевшей головой, затуманясь и глядя куда-то мимо Гаврилиных глаз, сказал:

— Побереги товарища, старик!

— Поберегем! — твердо ответил Гаврила.

Текли дни и недели. Минули святки. На шестнадцатый день в первый раз открыл белокурый глаза, и услышал Гаврила голос, паутинно-скрипучий:

— Это ты, старик?

— Я.

— Здорово меня обработали?

— Не приведи Христос!

Во взгляде, прозрачном и неуловимом, почудилась Гавриле усмешка, беззлобно-простая.

— А ребята?

— Эпти того... закопали их на плацу.

Молча пошевелил по одеялу пальцами и перевел взгляд на некрашеные доски потолка.

— Звать-то тебя как будем? — спросил Гаврила.

Голубые с прожилками веки устало опустились.

— Николай.

— Ну, а мы Петром кликать будем... Сын у нас был... Петро... — пояснил Гаврила.

Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но услышал ровное, в нос дыхание, и, удерживая руками равновесие, на цыпочках отошел от кровати.

* * *

Жизнь возвращалась к нему медленно, словно нехотя. На другой месяц с трудом поднимал от подушки голову, на спине появились пролежни.

С каждым днем с ужасом чувствовал Гаврила, что кровно привязывается к новому Петру, а образ первого, родного, меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солнца на слюдовом оконце хаты. Силился вернуть прежнюю тоску и боль, но прежнее уходило все дальше, и ощущал Гаврила от этого стыд и неловкость... Уходил на баз, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивое чувство. Шел в хату, молча топтался у изголовья кровати, негнущимися пальцами неловко поправлял наволочку подушки и, перехватив сердитый взгляд старухи, смирно садился на скамью и притихал.

Старуха поила Петра сурчиным жиром, настоем целебных трав, снятых весною, в майском цвету. От этого ли, или от того, что молодость брала верх над немощью, но раны зарубцевались, кровь красила пополневшие щеки, лишь правая рука с изуродованной у предплечья костью срасталась плохо: как видно, отработала свое.

Но все же на второй неделе поста в первый раз присел Петро на кровати сам, без посторонней помощи, и, удивленный собственной силой, долго и недоверчиво улыбался.

Ночью в кухне, покашливая на печке, шепотом:

— Ты спишь, старая?

— А что тебе?

— На ноги подымается наш... Ты завтра из сундука Петровы шаровары достань... Приготовь всю амуницию... Ему ить надеть нечего...

— Сама знаю! Я ить надысь достала.

— Ишь ты, проворная!.. Полушубок-то достала?

— Ну, а то телешом, что ли, парню ходить!

Гаврила повозился на печке, чуть было задремал, но вспомнил и, торжествуя, поднял голову:

— А папах? Папах небось забыла, старая гусыня?

— Отвяжись! Мимо сорок разов прошел и не спотыкнулся, вон на гвозде другой день висит!..

Гаврила досадливо кашлянул и примолк.

Расторопная весна уже турсучила Дон. Лед почер-

нел, будто источенный червями, и ноздревато припух. Гора облысела. Снег ушел из степи в яры и балки. Обдонье млело, затопленное солнечным половодьем. Из степи ветер щедро кидал запахи воскресающей полынной горечи.

Был на исходе март.

* * *

— Сегодня встану, отец!

Несмотря на то, что все красноармейцы, переступавшие порог Гаврилиного дома, глянув на его волосы, опрятно выбеленные сединой, называли его отцом, на этот раз Гаврила почувствовал в тоне голоса теплую нотку. Казалось ли ему так, или действительно Петро вложил в это слово сыновью ласку, но Гаврила густо побагровел, закашлялся и, скрывая смущенную радость, пробормотал:

— Третий месяц лежишь... Пора уж, Петя!

Вышел Петро на крыльцо, ходульно переставляя ноги, и чуть было не задохнулся от избытка воздуха, втолкнутого в легкие ветром. Гаврила поддерживал его сзади, а старуха томашилась возле крыльца, утирая завеской привычные слезы.

Подвигаясь мимо нахохленной крыши амбара, спросил названый сын — Петро:

— Хлеб отвез тогда?

— Отвез... — нехотя буркнул Гаврила.

— Ну, и хорошо сделал, отец!

И опять от слова «отец» потеплело у Гаврилы в груди. Каждый день ползал Петро по двору, прихрамывая и опираясь на костыль. И отовсюду — с гумна, из-под навеса сарая, где бы ни был, — провожал Гаврила нового сына беспокойным, ищущим взглядом. Как бы не оступился да не упал!

Говорили между собою мало, но отношения увязались простые и любовные.

Как-то, дня два спустя после того, как в первый раз вышел Петро на двор, перед сном, умащиваясь на печке, спросил Гаврила:

— Откель же ты родом, сынок?

— С Урала.

— Из мужицкого сословия?

— Нет, *из рабочих.*

— Это как же? Рукомесло имел какое, навроде чеботарь али бондарь?

— Нет, отец, я на заводе работал. На чугунолитейном заводе. С мальства там.

— А хлеб забирать это как же пристроился?

— *Из армии послали.*

— Ты, что же, у них за командира был?

— Да, им был.

Было трудно спрашивать, но к этому вел:

— Значится, ты партейный?

— Коммунист, — ответил Петро, ясно улыбаясь.

И от улыбки этой бесхитростной уже не страшным показалось Гавриле чуждое слово.

Старуха, выждав время, *спросила* с живостью:

— А семья-то есть у тебя, Петюшка?

— Ни синь пороха!.. Один, *как месяц в небе!*

— Родители, должно, помёрли?

— Еще махоньким был, лет семи... Отца при пьянке убили, а мать где-то таскается...

— Эка сучка-то! Тебя, жалкенького, стало быть, кинула?

— Ушла с одним подрядчиком, а я при заводе вырос.

Гаврила свесил с печки ноги, *долго молчал*, потом заговорил, раздельно, медленно:

— Что ж, сынок, *коли нету у тебя родни*, оставайся при нас... Был у нас сын, по нем и тебя Петром кличем... Был, да быльем порос, а теперь вот двое с старухой кулюкаем... За это время сколько горя с тобой натерпелись: должно, от этого *и полюбился ты нам.* Хучь и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за родного... Оставайся!.. Будем с тобой возле земли кормиться, она у нас на Дону плодовитая, щедрая. Справим тебя, женим... Я свое отжил, правь хозяйством ты. По мне, лишь бы уважал нашу старость да перед смертью в куске не отказывал... Не бросай нас, стариков, Петро...

За печкой верещал сверчок, трескуче и нудно.

Под ветром тосковали ставни.

— А мы со старухой тебе уже невесту начали приглядывать! — Гаврила с деланной веселостью подмиг-

нул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыбкой.

Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол, левой рукой сухо выстукивал по лавке. Звук получился волнующий и редкий: тук-тик-так! тук-тик-так!.. тук-тик-так!..

Как видно, обдумывал ответ. И решившись, оборвал стук, тряхнул головой:

— Я, отец, останусь у вас с радостью, только работник из меня, сам видишь, плоховатый... Рука моя, кормилица, не срастается, стерва! Однако работать буду, насколько силов хватит. Лето поживу, а там видно будет.

— А там, может, навовсе останешься! — закончил Гаврила.

Прялка под ногою старухи радостно зажужжала, замурлыкала, наматывая на скало волокнистую шерсть. Баюкала ли, житье ли привольно сулила размеренным, усыпляющим стуком — не знаю.

* * *

Вслед за весной пришли дни, опаленные солнцем, курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго стало вёдро. Дон, буйный, как смолоду, бугрился вихрастыми валами. Полая вода поила крайние дворы станицы. Обдонье, зеленовато-белесое, насыщало ветер медвяным запахом цветущих тополей, в лугу зарею розовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами по-девичьи перемигивались зарницы, и ночи были короткие, как зарничный огневый всплеск. От длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки. На выгоне пасся скот, вылинявший и ребристый.

Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, волочили, сеяли, ночевали под арбой, одеваясь одним тулупом, но никогда не говорил Гаврила о том, как крепко, незримой путой, привязал к себе его новый сын. Белокурый, веселый, работящий, заслонил собою образ покойного Петра. О нем вспоминал Гаврила все реже. За работой некогда стало вспоминать.

Дни шли воровской, неприметной поступью. Подошел покос.

Как-то с утра провозился Петро с косилкой. На ди-

во Гавриле оправил в кузне ножи и сделал новые, взамен поломанных, крылья. Хлопотал над косилкой с утра, а смерклось — ушел в исполком: позвали на какое-то совещание. В это время старуха, ходившая по воду, принесла с почты письмо. Конверт был замусленный и старый, адрес на имя Гаврилы: с передачей товарищу Косых, Николаю.

Томимый неясной тревогой, Гаврила долго вертел в руках конверт с расплывчатыми буквами, размашисто набросанными чернильным карандашом.

Поднимал и глядел на свет, но конверт ревниво хранил чью-то тайну, и Гаврила невольно чувствовал нарастающую злобу к этому письму, изломавшему привычный покой.

На мгновение пришла мысль — изорвать его, но, подумав, решил отдать. Петра встретил у ворот новостью:

— Тебе, сынок, письмо откель-то.

— Мне? — удивился тот.

— Тебе. Иди читай!

Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил:

— Откель оно пришло?

— С Урала.

— От кого прописано? — полюбопытствовала старуха.

— От товарищей с завода.

Гаврила насторожился.

— Всчет чего же пишут?

У Петра, темнея, померкли глаза, ответил нехотя:

— Зовут на завод... Собираются его пускать. С семнадцатого года стоял.

— Как же?.. Стало быть, поедешь? — глухо спросил Гаврила.

— Не знаю...

* * *

Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати. Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную чернозём. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно,

а отымет его, и снова черной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землею сровнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился бурьян!

На третий день на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро:

— Не могу, отец, оставаться! Поеду на завод... Тянет, душу мутит...

— Аль плохо живется?..

— Не то... Завод свой, когда шел Колчак, мы защищали полторы недели, девятерых колчаковцы повесили, как только заняли поселок, а теперь рабочие, какие пришли из армии, снова поднимают завод на ноги... Смертно голодают сами и семьи ихние, а работают... Как же я могу жить-то? А совесть?..

— Чем пособишь-то? Рукой ить неправ.

— Чудно говоришь, отец! Там каждой рукой дорожат!

— Не держу. Поезжай!.. — бодрясь, ответил Гаврила. — Старуху обмани... скажи, что возвернешься... Поживу, мол, и вернусь... а то затоскует, пропадет... один ить ты у нас был...

И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом, дыша порывисто и хрипло:

— А может, в самом деле возвернешься? А? Неужли не пожалеешь нашу старость, а?..

* * *

Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под колес, шурша, осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала влево. От поворота видны церкви окружной станицы и зеленое затейливое кружево садов.

Гаврила всю дорогу говорил без умолку. Пытался улыбаться.

— На этом месте года три назад девки в Дону потопли. Оттого и часовенка, — он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни. — Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. Отсель до станицы с версту, помаленечку дойдешь.

Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез

с арбы. С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки.

— Прощай, родимый!.. Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас... — И, кривя изуродованное болью, мокрое от слез лицо, резко, до крика повысил голос: — Подорожники не забыл, сынок?.. Старуха пекла тебе... Не забыл?.. Ну, прощай!.. Прощай, сынушка!..

Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узенькой каемке дороги.

— Ворочайся!.. — цепляясь за арбу, кричал Гаврила.

«Не вернется!..» — рыдало в груди невыплаканное слово.

В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова, в последний раз махнул Петро картузом, и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль.

1926

Л. Леонов

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОПЫЛЕВА

Д. Н. Кардовскому

В сумерки Мишка снова вышел на опушку и, забравшись на дерево, озирал родимые места. Веяло осенью с заката, острые туманцы покачивались в низинках. Мишку знобило; был он бос, а одет в лохмотья, которыми надеялся вымолить пощаду у мужиков. Деревня казалась неживой, но блеял за стогами заблудший баран и повизгивали в дальней тишине качели, а Мишке слышался вдобавок и веселый девичий смех. Даже изнеможенного бездомными ночами, одолевали его любовные соблазны. Все мнилось ему, будто на весенней луговине сходятся и расходятся девичьи кадрили, а посреди красуется он сам, первый кавалер в округе. Сидя на дереве с поджатыми ногами, Мишка густо покраснел от стыда за хламной свой вид, в котором судьбы и зима пригоняли его на родину. Шла ночь, из лесу наползали тоска и страхи. Мир предавался дремоте, великодушно предоставляя и Мишке на ночлег его осклизлый сук.

Здесь вырос Мишка, отсюда вскинуло его великим ветром на житейские вершины, и когда забунтовали здешние мужики, сюда послан был Мишка на их усмирение как мужик по рожденью и знаток окрестных мест. Румяный и статный, облеченный властью эпохи, подступил Мишка с войском к родной деревне. Мужики нагромоздили бороны на взъездах зубьями вверх, но Мишка подпалил деревню и, взяв на приступ, усмирил ее своим мужицким способом. Согнав на сход покоренное племя, сподручный Мишкина завоеванья разъяснял мужикам суть наступающей нови, а Мишка, в розовой рубахе и увешанный оружием, важно сидел тут же, в кресле, реквизированном у попа. Еще тлели головешки вчерашнего пожарища, и мужики покорно преклоняли

головы перед идеей, которую приносил им Мишка Копылев.

Неделю прогостил Мишка в родной деревне, куря сытные папиросы и страдая прыщом; войско следовало примеру военачальника. Иногда Мишка выходил гулять и шел вниз, к пруду, таща за собой на веревочке пулемет: чутьем угадывал Мишка затаенную немирность мужиков. «К водопою собачку повел...» — украдкой шутили мужики, но ни одна живая собака не смела облаять железную собаку Мишки Копылева. Порой нападала на Мишку тревога перед великим безмолвием округи, и тогда, застигнув земляка на дороге, мытарил его тягучими разговорами. Так попался ему раз бондарь Ермил Полушкин, мужик татарской видимости и сокрытного ума; как ни старался бондарь, не отвертелся от беседы с могучим завоевателем.

— Должон ты понимать, гражданин, кто я есть. Я нонче в зенитах, все могу. Могу заветную рощу сжечь, могу коней пострелять... все в моей власти, Полушкин. Я вас бью блага ради мужиковского, потому — сам я мужик. Человека не бить, так он забыть может, что он человек. Понимаешь, отчего я говорю тебе все это?

— Убедительно вынуждают понимать, — тряхнул плечами Полушкин.

— Что же ты понимаешь, ответь мне своими словами! — важно приказал Мишка, удерживая собеседника за плечо.

— Боязно, Миша. Слово не стрела, а хуже стрелы, — вилял Ермил, косясь на бряцающую оружием грудь Копылева. — Кричишь, пытаешь, Миша, а на себя кричишь... и получается в тебе оттого сосание сердца. И невдоумок мне: начальник ты, все можешь, а боишься, боишься меня, Миша!

— Уйди, отчадие ада! — гневно затопал Копылев, всклубляя сапогами пыль дороги.

Не из дурачества лютовал в те сроки Мишка, а от ленивой прямолинейности ума и еще по крохотной причинке, неведомой миру. Еще в прогеройскую пору, когда был только бабником и озорником, возникла в его могучем теле беспамятная любовь к Аринке Гусевой. Девочка возрастом, она приманила грубую его силу нежной грустью, которую таила в глазах. Студеные

озерки, весенние чащи и прочие волнительные чудеса отыскал в них Мишка, но она отвергла его ухаживанья и посмеялась над угрозой. В поисках другого счастья покинул Мишка деревню, но удачи завлекли его в глубь жизни, откуда он вернулся уже опаленным пожарищами эпохи. Мечта об Аринке толкала его на бурные самодурства, за которые впоследствии и выгнали его отовсюду, — в мире не пригодилась глупая его сила...

Лишь теперь до него, посинелого от стужи, доползла удушливая гарь давнишнего пожарища. Новые избы белели в сумраке, призывно светились окна, но мнилось ему все это ловушкой, где, прикинувшись Аринкой, караулит его мужиковая месть. Ища пути к бегству, он воровски оглянулся назад... Лес усмешливо молчал, замахивался руками, пугал, дразнил... Тогда, мыча и пыхтя от звериного одиночества, Мишка спустился с дерева; ноги его обожгла ледяная роса предзимья. Неохотно подняв с земли суму и палку, суковатую палку странника, он бесчувственной стопой шагнул вперед, на деревню.

Он шел быстро, просырелые лохмотья задымились паром; все еще стоял в неизвестности надоедный бараний плач. Перепрыгивая ледяные грязи и длинные световые лучи от окон, Мишка бежал вдоль главного порядка домов, когда женский голос из тьмы опросил его о пропавшем баране. С бесовской уверткой Мишка вильнул за случившуюся тут часовню, но наткнулся на женщину и замер, вцепившись в ее рукав и сердцем учуяв в ней Аринку.

— Мишка? — тихо сказала она без испуга или удивления. — Ступай, ступай, откуда пришел. Тут из тебя жмурика сделают...

— Аринушка, — бесстыдно и с непонятной надеждой шепнул Мишка, переступая босыми ногами, — замужем ты аль еще в девках бегаешь? — Но она оттолкнула его и растаяла во тьме, такой плотной, что было бы ее хоть рубанком строгать.

Встреча внушила Мишке бодрость: Аринка помнила его, не прокляла, не ужаснулась, даже пожалела беспутную его долю. Забыв про опасность, в дом свой он ломился всем телом, просившим тепла и отдохновения. Сооружение прадеда, дом был мрачен и просторен.

Мишке отпер глухонемой его брат и сразу замычал, выражая бурное свое удовольствие.

— Ну-ну, развалишься от радости. Корми старшака-то! — неестественно захохотал Мишка и вбежал в избу.

Нежилым запахом дерева и сухой малины встретил его дом отцов, но лежал на всем отпечаток как бы бабьей руки. Вымытый пол простелен был половиком, печь выбелена, горшки в солдатском порядке и опрятности стояли на полках, а на стене торчал в трех гвоздях осколок облезшего зеркала. «Сидит один, как редька, делать ему нечего, вот и старается», — подумал Мишка про глухонемого, который суетился, готовя брату еду и сухую одежду, и даже в порыве усердия вытер место на лавке картузом. Нешумный и покорный своему бесцветному жребию, он не обижался на молчание вернувшегося хозяина, который торопливо примерял на себя его простиранные рубахи. Мишка был крупнее телом, и рубахи глухонемого лопались на нем, как бумажные.

Сидя спиной к окну, Мишка жадно пожирал печеную картошку, и повеселевшее его сердце почти примирилось с предстоящею участью. Мирская кара нагрянет не прежде утра, а пока впереди ждали теплые нары и крепчайший сон. Раз попав в западню, Мишка вдосталь лакомился чудесной ее приманкою. Валенки согрели ноги, и кровь пламенно вливалась в опухшие щеки. Вытянув ноги, он домовитым оком озирал внутренность избы и не особенно огорчался ни разлохмаченной паклей в стенах, ни провисшим полом. Окрепшее от еды и тепла тело уже теперь требовало труда, но он справился с собой и усидел на месте, поборов кстати и сладкую дремоту. Предчувствие сна было ему слаще самого сна.

Вместо того, подняв сумку с пола, он стал разбирать вещи — трофеи своих завоеваний: кусок сахару, пару ветхого белья, неизвестного происхождения царскую копейку и бритву, утонувшую в размякшей краюхе хлеба. Бритва была вполовину сточена, но острая и без недостатков; бритва была драгоценностью в деревне, — бритву Мишка вытер о штаны и положил на стол. Вдруг необоримое желание побриться возникло в нем. Натерев мылом щеки и пальцем разведя на них серую

пену, Мишка приступил к делу перед зеркалом, снятым со стены. Глухонемой с восхищением дикаря наблюдал за братом и тянулся потрогать невиданную вещь.

— Это бритва, понимаешь?.. Во, были щеки в волосах, а теперь, эвось, ровно коленка у девки. Это еще что! Вот в городе у меня бритва была, — востра, конца даже и не видать... еще и в руки не брал, а уж порезался! — Он покосился на глухонемого, который восхищенно чмокал губами, уставясь в Мишкин рот. — Потерял я, брат, тую бритву... все потерял. Но ты не гляди, что я в нищем образе вернулся: это я нарочно пугало огородное ограбил! Смекай мою хитрость, дурачина, уважай за столичность, я все могу!

Однако, предупрежденный мычанием глухонемого, Мишка обернулся к окну и тотчас в испарине отпрянул в угол: в окне, деловитое и с приплюснутым носом, мерцало лицо Ермила Полушкина. Так прошла минута, потом глухонемой задернул занавеску и побежал посмотреть на крыльцо. Тревога была напрасна: деревенский мрак плотен, а сон нерушим. Завернув бритву в тряпочку и положив под образа, Мишка привернул лампу и стал укладываться на ночь. Он долго лежал без сна, слушая вздохи глухонемого и пугаясь потрескиваний в подполье: больше всего он боялся, что его застанут во сне. Потом стало представляться: на обугленном пепелище сидит кошка и глядит в Мишку щурким глазком. Мишка перевернулся на живот и уснул сразу, как дитя...

На рассвете состоялся деревенский сход, и утром мужики пришли за Мишкой. Глухонемой топил печь, густой огонь лизал котелок в печи, когда вошли мужики. Они принесли с собой уличный холод и заследили вымытый пол, ночью выпал первый непрочный снежок. Мишка лежал на лавке, головой под образа, накрытый простынею и со сложенными на груди руками; в головах у него горела страстная свеча. Мужики переглянулись и подошли ближе. Двое, друзья, Анфим Фионин да Левак Петров, выдвинулись вперед из толпы.

— Никак, помер? — сказал Фионин.

— Дышит, — усмехнулся Левак.

— Ишь ты, яко бы мертв лежит! — продолжал Фионин.

— В покойника прячется, — презрительно откли-

нулся Левак. Тогда Полушкин раздвинул сборище, беря власть на себя.

— Погодите, граждане, — сказал он важно. — Мертвый не живой, мертвый простых слов не слышит... и наперво надо свечу задуть, еще пожара наделает! — Он значительно снял шапку. — Миша, успеешь помереть! Отмолви хоть словечко землякам, эку рань для тебя поднялись. Молчит... Слушай, злобы в нас нет, а порешил тебя мир убить за твои грехи. Помолись, дружок! — прокричал он в самое ухо Копылева, но тот не отзывался. — Дай сюда иголку, — сухо приказал он глухонемому и тут же, приподняв безжизненную Мишкину руку, медленно погрузил иглу в мякоть ладони. — Видали вы, граждане, чтоб из покойника кровь текла? — вопросил он, беря каплю на палец и показывая молчащему миру.

Мужики зашумели и заволновались: румянец явно выдавал страшное Мишкино притворство, но он был мертв и не откликался ни на боль, ни на бранное слово, а убивать мертвого ни у кого не подымалась рука. Мишку толкали, щекотали, прижигали огнем, и уже смрадная гарь распространялась от обожженного пальца, — Мишка лежал торжественно и недвижно, лишь беззащитностью своею сопротивляясь темному гневу мстителей. В углу тихонько выл глухонемой, а из котелка выкипала еда.

— Чего ж парня портить зря! Рука ему нужна, рукой ему работать надо, — сказал тут Матвей Гусев, отец Аринки, отстраняя смущенного Полушкина. — Нам его убить запрету не положено. — Он был прав: никто в мире не ведал, что Мишка возвратился из дальних странствий на родину. — А мертвого убивать не след, мертвый — прощеный. Мертвому неколи в нашу игру играть! А зовите сюда, мужички, Зотей Васильича.

Мир зашумел опять, но уже развеселясь затеей Матвея Гусева. Кроме славы великого знахаря, слыл Зотей Васильевич замечательным рассказчиком в округе, и когда на сходах доходило слово до Зотея, хохотал до упаду мир. Седенькому и в оловянных очках смехотворцу этому ведомо было высокое таинство смеха не хуже, чем заговорное его могущество. Распутицы на полмесяца останавливали мужиковское бытье, и оттого вдоволь было времени потешиться над отступником.

Зотей Васильевич вошел мелконьким шажком и, покрестившись на образа, сел у Мишкина изголовья. Наскоро ему объяснили надобность, и он лукаво улыбнулся на мертвенное Мишкино спокойствие.

— Зря тебе ноне, Мишка, псалтыря читать, а лучше послушай, Миша, сказочку... мрак свой могильный повесели! — ласково зачал Зотей, и хотя ничего покуда не было сказано смешного, разразились мужики хохотом на Зотеево вступленье. — Жил на скушном, несподрушном этом свете единый дурак и пошел со скуки к попу на исповедь. Поп и спрашивает: «Сладким не грешил ли?» — «На твоей, — отвечает, — батюшка, на пасеке!» — «Та-ак, а бабой, — дескать, — не сквернился ли?» — «На твоей, — отвечает батюшка, — на матушке...»

Дальше ничего стало не разобрать. Кто где, а иные, просто присев на пол, предавались полномерному веселию. Лай, писк, треск и грохот наполнили избу: тяжко мужиковское веселие, как тяжек мужиковский труд. Даже сам Матвей Гусев, староверского корени старик, держался за живот, мелко взрыдывая от смешливого удушья, а другие и того хуже. Лишь один глухонемой пугливо взирал с полатей на пытку смехом, самую опасную для смешливого Мишки. Но тот лежал в прежнем гробовом уединении, молчанием посрамляя Зотеево мастерство.

Вдруг Зотей обиженно смолк, разом прекращая бешенство смеха, вселившееся в мужиков.

— Пощекотить бы его, — молвил он, озабоченно качая головой.

— Щекотали уж, дядя Зотей! — хором пожаловались мужики. — Хочь голову отверни, не прочкнется. На тебя всю надежду возлагаем.

— Дайте конский волосок тогда, — сумрачно повелел Зотей и, когда повеление его исполнили, засунул гибкий волос в Мишкин нос, деловито присматриваясь к лицу испытуемого.

Он вертел орудием своим всяко, волосок свирепо танцевал внутри; лицо Мишкино побагровело, и судорога воли сузила набухшие губы, но сам он не шевельнулся, отдаваясь полностью на горькую милость мира.

— Оборотень! — сознаваясь в своем бессилье, опре-

делил Зотей и поднялся уходить. Хватало ему дел и без Мишки: заговаривал Зотей порезы, заколы и запаленных лошадей.

Мужики ушли, потеряв на этот раз надежду пробудить Мишку от смерти ложной к смерти истинной. Но на другие сутки, в полдень, они пришли опять, хотя и в меньшем количестве, пришли негаданно. Мишка снова лежал под образами, и в головах у него зловеще пылала свеча. Кто-то заметил, что на мертвеце новая была рубаха, и это разъярило мужиков. Мишку за волосы потащили к колодцу и, бросив под колоду, поливали осеннею, с ледяным хрящиком водою. Ничем, однако, было не вызвать Мишку из могильного его оцепенения; плюнув на злодея, мстители разбрелись по домам. Под колодцем пролежал Мишка до сумерек, а в сумерки пропал, и когда зашел проведать мертвеца Ермил Полушкин со товарищи, нашел его уже сухого, на лавке, с тою же свечою в головах. Присев рядком, Полушкин долго и горестно выговаривал Мишке его нечестность в игре, но уже не посмел отнять у мертвеца обрядную его свечу.

— Не ждали мы от тебя подобного злодейства, Миша! Полдеревни по ветру пустил, старшине два пальца отрубил в допросе, а ныне дитем прикидываешься, бессовестный. Эка серость твоя, Миша!.. Утешь сердце, хошь побить себя дайся.

Так целую неделю, но все в меньшем числе, приходили мужики удостовериться в Мишкиной кончине, а тот все лежал, непетый, безладанный. Примечали мужики, что в промежутках между посещениями все новее выглядит внутренность избы, а однажды, прийдя невзначай, застали в избе плотницкий верстак и свежие стружки, но сам-то плотник лежал покойником. Мужики качали головой и уходили, вконец обиженные Мишкиным небрежением к мирскому гневу. Глухонемой надрывно скулил в уголку, плохо поддаваясь на расспросы: мертвого бить совестно, а дурака и грешно! Наконец, наскучив злодеевой судьбой, целую неделю никто не нарушал Мишкиных трудов по дому. Только ввалился как-то в одиночку пьяный Полушкин и в последний раз увещевал предлежащего однодеревенца.

— Неправильно играешь, плутуешь, Миша. Запил я из-за тебя, во. Лежишь? Ну, лежи, злодей, до второго

пришествия! — плакался бондарь, мелко постукивая кулаком по Мишкиной груди, как по кадке.

Мишку забывали, но еще не разрешали от греха; показаться ему на улицу значило пойти на безвременную гибель, да и дома приходилось быть настороже. Как бы то ни было, Мишка новил дом, перестелил пол и вообще существовал полным мужицким бытом; даже прошел слух, что он видается с Аринкой Гусевой в окончательное посмеяние мирского гнева. И правда: еще через неделю почуял себя Мишка вправе и в баню сходить. Баня стояла на задворках, густо заросшая вишенником.

Тонкий снежок пропорошил в этот день округу, и пар в бане, стараниями глухонемого, вышел на славу. Уж полчаса хлестался Мишка веником и уже выпарился, как морковка, а все не мог отстать; слезала с него слоями многолетняя кожура. Как бы молодая березка распускалась над головой, а душистые ее корни сидели глубоко в легких, щекоча кровь и дыхание. Тут пожелал Мишка окатиться ледяной водой для здоровья, но вода нагрелась в ушате, да и не хватило бы ее на полное Мишкино удовольствие. Как был, голышом, Мишка выскочил с ведром на огород, к колодцу, но вдруг тишина кругом зашевелилась мужиками. Отовсюду протянулись к нему черные, корявые руки, и Мишка покорно откинул в сторону ведро. Десятки рук жадно держали его за локти, плечи и даже за голову. Тут же накинули на него тулуп и повели в избу к Фионину, где заранее собран был сход для решения его участи.

— Как же ты следов-то наших на снегу не приметил? Ишь утоптали, — воодушевленно шутил Полушкин, ведя добычу свою под руку.

— Да уж больно жар-то хорош. Эко прямо сад райский, а не баня! — отвечал Мишка, бесстрашно шагая к казни.

— Баня первый сорт, — охотно соглашались из толпы, следовавшей сзади.

...Невиданное оживление охватило деревню; бабы галдели под окнами, малые ребята рвались вовнутрь. Злодея провели в избу и двери замкнули на засов. Воздух был спертый, а запах густой, чернохлебный. Впереди сели старики, но как-то вышло, что еще ближе оказались молодые. Мишку поместили у печки; он дрожал

от холода и все натаскивал на распаренное плечо сползающий тулуп, на котором еще висел замерзший бабий плевок.

— Трясется Миша от предчувствия, — сказал, между прочим, один мужик, вертя цигарку и кивая на обреченного.

— Ежели кто когда вздрогнет невзначай, это значит — по могиле его прошли! — отозвались от двери.

Тут Мишка приподнялся, прикрывая конфузно срам от стариков.

— Убивайте, коли насолил... а то дайте хоть одеться, дьяволы: всяка жилочка во мне продрогла! — крикнул он, но Анфим Фионин да Левак Петров молчаливо усадили его на отведенное место, и тогда выдвинулся вперед Матвей Гусев, единодушно выбранный за почетность в обвинители.

— Не тормошись, а сиди, славь бога в дудочку! Дело к вечеру, а с утра иные дела ждут. Нонче и решим твою судьбу, — кивнул ему Матвей и огляделся на мир, который с одобрением внимал ему. — Сам мужик, мужикорожденный, можно сказать, на мужика пошел: изменщика порешил тогда покончить мир. Нагрешил и сбежал, а земля-то и притянула злодея... крепчай магнита действует земля-то! А только и смертью, полагаю, неразумно злодея учить. Парень крепкий, устойчивый, наш... Чего ж его губить за ребячий разум: муравей и тот своей кучи не рушит... А следует нам, мужички, поучить его телесно!

— Меня нельзя... я «Георгия» имею, — с дрожью в голосе возразил Мишка, но мужики только рассмеялись.

— Эк ты, человечинко с ветерком! Мы «Георгия»-то с тебя сымем, и станешь ты обнакновенный мужик. Ну-ка, крестись да раскладывайся.

Полушкин сдернул на пол тулуп с Мишки и легонько толкнул на скамью, а бабы и ребята подавали в окна старую крапиву, седую от инея, мелколистую, самую злую. Ломалась промороженная трава, и тогда сбегал Полушкин за вожжами. Однако, прежде чем дать знак к началу порки, он суетливо потрепал рукой пышное Мишкино мясо, оставляя на нем ржавый след бондарской руки.

— Крой, Ванька, бога нет! — отрывно крикнул он

потом, отступая в сторону и хмуро стискивая зубы к предстоящей забаве.

Те же самые Анфим Фионин и Левак Петров, друзья, со рвением выполняли мирскую волю. Хитрый Фионин действовал всласть и на оттяжку, а простодушный Левак рубил своей вожжой, как дурак цепом. Без стона и брани, а вначале даже посмеиваясь, принимал Мишка присужденное наказание; потом он замолчал, лишь пристальнее упершись взглядом в одну точку. Только в одном месте, когда начинала синеть спина, стал он было покряхтывать, но закусил губу, и тотчас же черная обнаружилась на подбородке кровь: остатком сознания помнил он, что в толпе баб за окном могла находиться и Аринка. Веселые вначале восклицания мужиков теперь прекратились совсем, уступив место мерному визгу вожжей: молча, насупив лица и блестя зубами, следили мужики за происходящим действом.

— Эко молодецкое тело, что переживает! — похвалил наконец один и нагнулся посмотреть в упавшее Мишкино лицо.

Подернутые пленкой бесчувствия, медленно закрывались злодеевы глаза, точно клонило их в непробудный сон, но на раскусанных губах мертвенная лежала усмешка. Тогда Гусев остановил наказание, а палачи вытерли рукавами пот с лица. Разжав ножом оскаленные Мишкины зубы, Полушкин бережно вылил туда полчашки самогона. Затем Мишку осторожно переложили на тулуп, и четверо понесли его домой. Одновременно вызван был из своей закутки Зотей Васильевич лечить исполосованное тело Мишки Копылева.

Как неделю назад, но уже на животе и глухо вздрагивая от предсмертной икоты, Мишка лежал у себя на лавке, и чадная свеча над ним имела теперь свой истинный, ужасный смысл. На столе возле Мишки стояли травные Зотеевы снадобья и щедрые дары деревни: сметана в крынках, пироги с грибами, холст и темный самогон в бутыли. К ночи прибежала Аринка и, невзирая на присутствие знахаря, плакала и гладила Мишкины волосы, слипшиеся в смертном поту. Поверженный и усмиренный, он стал ей ближе теперь, чем в пору лютого своего владычества над округой; теперь она его любила и почти недевической лаской призывала из грозного его оцепенения. Потом она замолкла, неза-

мужняя вдова Аринка, и так, дикая и растрепанная, сидела до самого прихода отца.

Гусев пришел с мужиками; они вошли тихо, шикая друг на друга и снимая шапки еще до порога. На широкоскулой харе Полушкина отпечатлен был давешний испуг. Виновато топчась у порога, они спросили Зотея о Мишкином здоровье.

— Отлежится! — ответствовал знахарь, привыкший и не к такому. — Главное, жилы в целости...

Подойдя ближе, Гусев приподнял со спины Копылева мокрую простыню и тотчас же опустил, почти выронил ее на прежнее место.

— Обняла бы женишка-то своего, — смущенно сказал он дочери, косясь на Зотея, мешавшего в плошках цветные снадобья.

— Нешто не обнимала! — сурово сказала та, кладя руку на Мишку и как бы берясь защищать его теперь против всего мира.

Мужики поспешили уйти, струсив Аринкина взгляда.

Трудно борясь со смертью, две недели пролежал Копылев пластом, а по миновании срока встал и, на глазах у всей деревни, с вилами и топором полез на дом перекрывать крышу. Проходя мимо, мужики снимали шапки и торопились уйти. Остановиться перед Мишкиной избой посмел один только Ермил Полушкин.

— Как попрыгиваешь, дружок? — закричал он вверх, виновато усмехаясь.

— Да эвось... песьяк на глазу скочил! — отвечал Мишка, наколачивая топором новую тесину на конек и не прерывая работы.

— Песьяк-то хорошо навозцем смазать аль-бо на узелок!

— Пройдет и так, — отмахнулся Мишка, показывая, что после пережитого песьячный чирий ему только в удовольствие.

Все не уходил Полушкин, все мялся внизу да теребил рваную шапку в руках.

— Ожениться надумал, Миша? Дело правильное, мужицкое дело. Что ж, Гусев — род значительный. Да и девочка налимиста, статна тоись. Надо теперь хозяйством тебе обзаводиться... У нас пудов за десять неплохую телочку укупишь. Сиротой ты к нам вернулся,

а, вишь, как бы и усыновили злодея. Дороже сына ты нам теперь, пра...

— Ладно, заходи сутемень, угощу! — посмеялся Мишка, отмахиваясь от удовлетворенного бондаря.

Приклепав боковую тесину, Мишка уселся верхом на высокий конек кровли и озирал окрестные места. Денек выпал знойкий, пасмурный, редкие снежинки опять летели на зыбучую, распутную грязь, но Мишке сладостно было сидеть тут, на юру, возиться с непослушной духовитой соломой, уставать, дышать, жить. Впереди ждала его свадьба, труды и простецкое мужицкое счастье. Все вглядывался он в дальнюю опушку, ища дозорной своей березы, но даже и дороги не различал затуманенный его взгляд; сумерки быстро струились из просыревших полей.

Внизу говорливой стайкой пробежали к качелям девки, и одна чаще остальных взглядывала на приправленную Мишкину кровлю, под которой предстояло ей жить.

— Эй, куклы! — заорал вдруг Мишка, наливаясь кровью, и сам вздрогнул от неожиданного своего крика; даже зачесались в спине незажившие царапины. — Погодите, я вас сам покачаю. Вот он я, Мишка Копылев... все могу! — И, не договорив до конца о своих возможностях, стал поспешно спускаться на землю, к глухонемому, который грустно и одиноко смотрел снизу на его непонятное веселье.

1927

Л.Сейфуллина

МУЖИЦКИЙ СКАЗ О ЛЕНИНЕ

Большой, от столиц и крупных городов далекий, уезд. По захваченным верстам он не меньше иного иноземного государства. Были в нем золотые прииски, черноземные земельные угодья, винокуренные и салотопенные заводы, гурты баранов, овец и коз с мягким, тонким пухом для прославленных оренбургских платков.

Население его — старожилы-казаки и переселенцы из губерний: Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Харьковской, Екатеринославской, Воронежской, Полтавской, Таврической. С разных краев, с разной повадкой и обычаями. И еще набросаны по речке Сакмаре и глубже в степях деревушки мордовские, башкирские и киргизские зимовки.

Люди разных кровей, с различным бытовым укладом и разной веры: православные, старообрядцы, магометане, субботники, дырники, евангелисты, скопцы, хлыстовствующие и много других сект, затаившихся здесь от правительственной веры.

Крестьяне-богачи с тысячами десятин и безземельные, «квартиранты», не могущие поставить даже собственной избы. И крапинами разрозненными вкраплена в станицах, селах и деревнях мелкая, глушью придушенная, интеллигенция: с десяток врачей, учителя, агрономы и библиотекари. Газеты и вести о жизни всего государства Российского получались из Оренбурга. Доходили быстро только до станиц на большой дороге с телеграфными столбами, до приисков и до уездного города. Он — деревянный. Этапы существования его — от одного большого пожара, после которого сызнова надо строиться, до другого. И низкорослый. Высились в нем только колокольни и онемевшая с девятьсот четырнадцатого года труба винокуренного завода. Газеты и вести сгасали в его сырьевой глухоте. Деревни и села

в глубине уезда отделены были сотней и больше верст от него и от одноколейной железной дороги на Оренбург. И к нему, и к железнодорожным станциям от этих сел и хуторов вели неверные проселочные дороги через степь, через овраги, горные увалы и перелески.

Каждое село, каждый хутор творили свою отдельную веру, свой обычай. Изживали тяготу своих налогов, совсем не интересовались не только всероссийским, но даже губернским масштабом. О министрах, царе не хранили никаких рассказов, преданий. Солдаты, приносившие их со службы, быстро забывали свои сказы. Сменяли их на близкое, ощутимое: о земских начальниках, становых, урядниках. И мобилизация на русско-германскую войну, и февральская революция были негаданны здесь, как камень с неба.

Земство посылало лекторов и агитаторов. Но они не могли объехать всех деревень, хуторов и зимовок в буранные зимы; пашен, покосов и жнивья в крестьянскую рабочую летнюю пору; аулов в период кочевья.

И хоть с тысяча девятьсот четырнадцатого накатаны стали даже недавно проложенные отчаянным человеком сокращенные пути в уездный город — все же вывезенные оттуда имена военачальников и революционных правителей скоро сглыхали в застарелой тишине. В волостном нашем селе были мужики, путавшие Керенского с Родзянкой. А бабы и подростки вовсе именами не интересовались.

Но в зиму бурливого тысяча девятьсот восемнадцатого большевистская тревога властно разворошила и низкорослый город, и весь уезд. С этой тревогой пришло имя «Ленин».

Пришло и прошло не только по большаку с телеграфными столбами. Проникло на хутора и в зимовки. Ни одного из жителей уезда, разных по крови, по достатку, по мыслям, не оставило теплохладным.

И в нем, далеком, не только всероссийского, но и мирового маштаба, в этом глухом, разношерстном уезде сложились сказания. В богатых казачьих станицах, в селах, где верховодили многоземельные старообрядцы, у сектантов, сумевших нажиться в общинном землевладении и приобрести под рукой отдельные собственные поля и пашни, эти сказанья пропитаны той высокой степени ненавистью, какую внушает только большой и силь-

ный враг, которая звучит уже как экстаз уважения. Им мало казалось в сказаньях обвинять его в корыстных расчетах. Они создали легенды о нем по Библии, как о существе мистического, сверхчеловеческого мира. Я слышала старообрядцев и сектантов, вдохновенно кричавших наизусть целые страницы Библии, утверждавшие за Лениным число зверя, число шестьсот шестьдесят шесть, число антихристово.

Сектантский наставник, чернобородый, властный мужик, на сходке в нашем бывшем волостном правлении, кричал об языке подписанных Лениным декретов. Он от имени пророка Исайи страстно грозил всем, повторяющим сокращенные слова указов: «Не увидишь больше народа с глухой невнятной речью, с языком странным, непонятным!» И эти сокращенные слова называл ленинскими.

Другой сектант, по ремеслу шорник, на митинге уже в самом уездном городе, вздергивая седоватую, бобриком стриженную голову, взмахивал руками и кричал из Писания уже в защиту Ленина. О том, что он по Писанию поступает, отнимая «жирные пажити богатых»: «Ибо горе им, прибавляющим дом к дому, поле к полю, так что другим не остается места, как будто они одни поселены на земле». Ленин для него был носителем справедливого священного гнева, осуществляющим предсказанное пророком Исайей. В старообрядческом поселке кержак Болдин тоже по Писанию, фанатично, как все из этого Писания, принял Ленина.

Записался в партию, надел винтовку, стал носить наган без кобуры. И на каждом сходе грозно размахивал им и кричал утверждающие правильность политических деяний Ленина тексты. Из этих выступлений, из споров о «божественном» и Ленине вместе — создалось много сумбурных, но пафосных рассказов о нем в уезде. Разного настроения, различного к Ленину отношения, но равно горячих. От вдохновенья художественно ярких. Безземельные «квартиранты», малоземельные поселенцы, батрачье, беднота, русская, мордовская и башкирская, создали о Ленине целые былины. В этой статье, спешной и взволнованной, которую пишу в час, когда еще не закрыта Ленина могила, я не могу многого вспомнить. И не о своих мыслях — о нем пишу. Я пишу о глухом уездном, где застревали и сгасали имена. И где

вдруг одно большое осталось жить. Осталось и чудесно расцветилось редким и редкостным мужицким вдохновением. Более точно и ярко я вспоминаю один рассказ.

На хуторе, по пути в город, я слышала его. За сто сорок верст, в буранную зиму тысяча девятьсот восемнадцатого, ехал за новостями в город мужик Никита Минушев. И прихватил меня с собой. Обжигающий, холодный ветер и колючая поземка заставили нас еще до сумерек свернуть к ночлегу. В избе у знакомых Минушева, на расшатанной деревянной кровати, на деревянных скамьях у стола за прозеленевшим самоваром, оказалось много свернувших с дороги путников. Тоже хозяевам знакомцев. Тоже — за новостями в город, не боясь переметенной бураном дороги. До темноты оглядывали друг друга затаенными мужицкими глазами. Обменивались утвержденными, как обычай, при встречах сообщениями о ценах на хлеб, об отсутствии товаров и очень сторожко о новых порядках. Но в час, когда от нечистоплотной мужицкой одежды, от дыхания сбившихся в маленькой избе людей начал тускнеть и мигать огонек пятилинейки под потолком, разговорились бабы. И сухощавая серолицая хуторянка, с пеплом седины на выбившихся из-под бабьей повязки волосах, с выцветающими черными глазами, рассказала неспящим сказку про Ленина.

Как Ленин с царем народ поделили:

«Вот приходит один раз к царю Миколашке самый главный его генерал. «Так и так, ваше царское величество, в некотором царстве, в некотором государстве объявился всем наукам обученный дотошный человек. Неизвестного он чину-звания, без пашпорту, а по прозванию Ленин. И грозит этот самый человек: на царя Миколая приду, всех царевых солдатов одним словом себе заберу, а генералов всех, начальников, офицеров-благородию и тебя, царь Миколай, в прах сотру и по ветру пущу, слово такое есть у меня». Испугался тут Миколашка-царь, ногами вскакнул, руками всплеснул, громким голосом воскричал: «Отпишите скореича человеку тому, чину-звания неизвестного, без пашпорту, а по прозванию «Ленину», пусть не ходит с тем словом на меня, не крушит в прах меня, генералов моих, начальников, офицеров-благородию, а за то отдам я человеку тому полцарства моего!» Набежали тут к царю люди ученые,

скоро-скоро, с задышкою, обточили перья вострые, отписали тому Ленину: «Так и так, не ходи ты, Ленин, на царя Миколая со словом твоим, а забирай себе полцарства Миколаева без бою, без ругани». И мало ли, много ли, а вскорости прислал ответ письменный тот человек, чину-званья неизвестного, без пашпорту, а по прозванию Ленин. И отписывает Ленин царю Миколашке: «Так и так, прописывает, согласен я получить от тебя, царь Миколашка, половину царства твоего. Только отписываю я тебе уговор, как мы делиться с тобой станем. Не по губерниям, не по уездам, не по волостям. А вот как, прописываю я тебе, на какую дележку с тобой я согласен, и что без никаких больше разговоров. Забирай ты себе, царь Миколашка, всю белую кость: генералов, начальников, офицеров-благородию со всеми их отличьями, со всеми чинами, крестами, наградными аполетами, с супругами благородными, с детями их белокостными. Господинов-помещиков со всем их богачеством, с одежей шелковой и бархатной, с посудой серебряной, позолоченной, с супругами ихними и с отродний. Забирай себе купцов с товарами ихними, с казною несметною, и из банков пущай заберут всю казну свою. Забирай себе всех заводчиков и с казной, и с машинами, и со всем их заводским богачеством. А мне отдавай всю черную кость: мужиков, солдатов, фабричных, с немудрящей ихней шарабой. Только скот на племя оставь, поля травные да землю-родильницу для пахотьбы». Прочитал письмо Миколашка-царь, заплясал ногами в радости, зашлепал в ладошки в веселости и приказал своим генералам, офицерам и начальникам: «Сей же час отпишите тому Ленину на все полное согласие. И какой же он есть всем наукам обученный, слово тайное знающий, коль от всей казны несметной моей, от товаров купеческих, от припасов помещичьих отказывается, а забирает себе черную кость безо всякого способия. А на тую казну мы себе другую черну кость наймем, из тех нанятых в солдаты заберем, и будем жить опять в спокое да в богачестве». Набежали тут опять к царю, спешно-спешно, с задышкою, многие люди ученые, обточили перья вострые, отписали тому Ленину царево согласие. А насчет надсмешки и не гукнули, чтоб не одумался, не пошел на них с тайным словом своим. И мало ли, долго ли, а вскорости наезжает

тишком-тихонечком тут Ленин к своим солдатам, мужикам и фабричным. А царь с костью белою уж подальше отъехали. Глядят мужики, солдаты, фабричные, а приехал к ним простенький хрестьянский человек и говорит им: «Товарищи, здравствуйте». Куда глаз хватил, всех за ручку подержал, объявил громким голосом: «Буду с вами я в одном положении, как есть мы теперь товарищи. Только вы меня слушайтесь, я всем наукам обученный и своих товарищев на худое не выучу». Солдаты по солдатьей своей выучке сейчас: «Точно так, товарищ Ленин, слушаюсь». Фабричные, городской народ грамотный, со сноровкою, тож ему не прекословили. А мужики изобиделись, что в расчете просчитался он, зашумели, загалдели, задвигались: «За что, про что опустил из рук казну и богатство несметное? Разделил бы нам, мы бы в хозяйстве поправились». Засмеялся тут Ленин, головой качнул и сказал им в ответ такое слово: «Не галдите, не корите, забирайте землю-скот и хозяйствуйте. А там будет дело видное. Не хватило бы казны той про вас, как есть вас многие тысячи, а белой кости малые сотенки. А нащет того, чтобы всю белую кость совсем со света свести, то слово я знаю еще неполное. Не докумекал маленечко. Но есть у меня другое, достоверное на всю черную кость по всей земле. Как скажу его, нигде белая кость не найдет себе ни солдатов, ни работничков. Все под мою руку уйдут, а от их откажутся. И как есть они не добытчики, а прожитчики, то им долго на белом свете не выстоять». И мало ли, долго ли, а вскорости, как сказал, а приключилось так. Прискакал верховой к Ленину, привез ему известие от Миколашки-царя. И отписывает в том известии Миколашка-царь: «Так и так, Ленин, надул ты меня. Взял себе всю черную кость, а мне отдал не добытчиков, а прожитчиков. Генералы мои, офицеры-благородия как кони стоялые без солдатов нашинских. Только пьют, едят да жир нагуливают. Господины-помещики все припасы свои уж поканчивают, одежу из сундуков донашивают, без опаски изорвали всю, позамазали. Проторговались купцы мои, без мужиков некому им товар свой лежалый сбывать. Заводчики мои все машины посбивали, перепортили. Как нету сноровки у них, по-книжному и знают, а к винту не подладят. А чужеземный, чернокостный народ на службу к нам не наймается, под твою

руку прет, на твое слово тайное. И как дошло нам дело, что хоть ложись да помирай, то идут на тебя войной генералы мои, офицеры-благородия, чтоб отбить нам назад к себе всю черную кость». И с того теперь война пошла промеж белой костью да черною. Только долго белой не выстоять, как привыкли генералы, офицеры-благородия команду на солдата кричать, войска туды-сюды передвигывать, а сами в войне отбиваться непривычные, как и есть в их жила тонкая. И недолго им на белом свете выстоять...»

Погасла лампа. Храпели мужики. Бормотала спросонок баба. А худощавая стареющая хуторянка, сидя на тулупе своем, на полу, истово, напевно, как молитву, выговаривала смешные и трогательные слова своей сказки! У нее были добавления и отступления, которых я не помню. Не помню точных слов, но характер слов, содержание, ритм речи ее я помню. Как сейчас слышу. Оттого смело воспроизвожу. Это — первая мужицкая легенда о человеке с именем Ленин в бедном легендами уезде, где сгасала яркость многих имен. И для меня она — убедительное свидетельство: дана была Ленину вера тугой мужицкой души. Только о том мужик рассказывает сказы, что вошло в его сердце и память в живых образах, чему он поверил. Оттого в печальный час я не боюсь смешных слов простой его сказки. Этими сказками входил Ленин в душу к мужику. И я жалею, что не могу сейчас восстановить еще один рассказ башкирина-подводчика. Надо тщательно вспомнить сочетанья его слов, детали содержания и ритм рассказа. А этого сейчас мне не сделать. Он говорил о красном тюре (начальник, господин) Ленине, который башкир от русской жестокости и хитрости защищал. Разноплеменный состав населения часто служил причиной долгих распрей, иногда и кровопролитных схваток в уезде. Равно невежественные были, равно и жестоки. Долгая их тяжба еще не кончена. Окончится только тогда, когда придет знание, а с ним уважение к разноверцу и разнокровцу. В этом уезде и посейчас для большинства русских крестьян киргизин, башкирин — низшее, поганое существо. Они выпьют из одной чашки с заразным, но после здорового башкирина отодвинут брезгливо посуду. А в Ленина верили и те, и другие. Я во вступлении подробно выписала уезд. Для того, чтобы стало

понятно: какая яростная, какая жестокая была там схватка из-за утвержденья Октября. Некоторые села и поселки по пять, по семь раз переходили от белых к красным. Многие хутора сметены с лица земли. Выжжены, обеднели станицы, затоптаны, не засеяны богатые земли старообрядцев. Умирает полуразрушенный уездный город. Этим летом я была в нем и в селах уезда. В городе площади и редкие тротуары поросли травой. Разрушено не меньше трети домов. Разбиты школы. У города нет средств ремонтировать их. В нем не ожила торговля. Торгует случайным товаром одна кооперативная лавка. От многих башкирских зимовок одно пепелище. Грозная ступня войны четко отпечаталась на том уезде. Нищенствуют учителя. В селах мужики позакрывали школы. Кроме войны, притоптал уезд еще голод. Такой же, как в Поволжье, и в тот же год. Вот в этом уезде, где столкнулось столько групп и мировоззрений, деревянный глухой мещанский город выдержал двухмесячную казачью осаду. При сдаче города поддержка населения помогла красноармейцам пробиться на соединение с главными силами армии. Этот невероятный уезд, принявший всю страсть Октября, сохранил нерушимой веру в Ленина. Легендами она прочно утвердилась в нем, и тяжкие испытания не задушили ее. О Ленине расспрашивали, как о своем кровном родственнике. И подробно, будто каждому, побывавшему в Москве, легко знать ежедневную Ленина жизнь.

— Ну, как он там? Где живет?

— А как он насчет хлебного займу?

— Как Ленин теперь? Слышно, выздоравливает. Пищу ему всякую разрешается или нет? Что он говорит? Нащет деревни что высказывает?

— А семейство его вы видели?

— Вот надо бы Ленину до сведения довести. Этот правильно рассудит.

И простое любопытство могло продиктовать эти вопросы. Простая хитрость научить. Но я годы жила в деревне. Знаю мужицкие расспросы себе на уме. Знаю рабью мужичью льстивость. И знаю тон, в котором правдив искренний «родственный» интерес. Этот тон у мужика часто не услышишь. Туго запертая душа — его защитная броня. И он редко впускает в нее большую веру. Редко отмыкает душу. Для Ленина отомк-

нул. Даже в ненависти богатых крестьян был фанатизм веры в неуступчивость Ленина, в его хозяйственную стяжательность для бедноты. Кряжистая стойкость и хозяйственная сметка в крестьянском ощущении — величайшие добродетели. Мужик награждает ими только того, в кого верит. Один богатый мужик, ругательски ругая коммунистов и местную власть, неожиданно наивно заключил:

— Если бы на каждую волость по Ленину!.. А то у нас — один... культпросвет. Дак чего же тут?

Этот сбитый из населения разных губерний сказ мне кажется малым отображением всей мужицкой России. Его сказы о Ленине — подлинное свидетельство того, что «толщу бытия» российского прокалило это имя. Знаю я, что будут случаи, когда жена деревенского коммуниста закажет в церкви по Ленину тайную панихиду, какой-нибудь старик, отомкнувший для Ленина душу, поставит свечку с молитвой об упокоении большевика Ленина. Но это смешение двух вер тоже подтвердит, что неисповедимыми путями принял в душу Ленина даже старозаветный русский мужик. Принял, верит ему, примет и его заветы. Идут о нем и новые рассказы. Старая крестьянка, что недавно в Москве вызвала у целого съезда величайшее душевное волнение простыми словами о том, как не знали в деревне они, «какая есть Москва и какая есть в ней театра», теперь узнала Москву, обсуждала государственные вопросы и передала Ленину от деревни «последнее целование». Она в деревне по-новому о Ленине расскажет. И по неверным проселочным дорогам, и по удобному тракту пойдет не один ее рассказ. И тот, чья жизнь даже в передаче историка будет звучать как легенда, художественно ярко оживет для потомков в мужицком устном предании, где правда переплетется со сказочным вымыслом, и все вместе будет самой убедительной правдой...

1924

М.Булгаков

ХАНСКИЙ ОГОНЬ

Когда солнце начало садиться за орешневские сосны и бог Аполлон Печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала:

— Иона Васильич! А, Иона Васильич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут. Насчет экскурсий. Хворая она. Во щека!

Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно.

Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне.

Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфарным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка Мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.

— Аль зубы? — сострадательно прошамкал Иона.

— Зу-убы... — вздохнуло белое.

— У... у... у... вот она, история, — пособолезновал Иона, — беда! То-то Цезарь воет, воет... Я говорю: чего, дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак. На свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке — как рукой снимет.

— Иона... Иона Васильич, — слабо сказала Татьяна Михайловна, — день-то показательный — среда. А я выйти не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами. Покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит.

— Ну, что ж... Велика мудрость. Пущай. И сами управимся. Присмотрим. Самое главное — чашки.

Чашки самое главное. Ходят, ходят разные... Долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай как звали. А отвечать — кому? Нам. Картину — ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?

— Дуняша с вами пойдет — сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела.

— Ладно, ладно. А вы — пометом. Доктора — у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе.

Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала:

— Идите, идите, Иона Васильич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже...

Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом:

УСАДЬБА-МУЗЕЙ
Ханская ставка

Осмотр по средам, пятницам
и воскресеньям
от 6 до 8 час. веч.

И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей человек в двадцать. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях; юноши в тупоносых высоких сапогах.

И вот среди молодых оказался немолодой лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой «1-е реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные — правая толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами.

Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.

Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голого. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голого залаял с особенной хриплой, старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл — истошно, мучительно.

«Тьфу, окаянный, — злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя, — принесла нелегкая. И чего Цезарь воет. Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый».

Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голого. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой богатый господин-иностранец, в золотых очках колесами, широком светлом пальто, с тростью. Цезарь с голого перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на не известном никому языке.

Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал.

— Ноги о половичок вытирайте, — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь...» — и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей.

Те стали подыматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени.

Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями и белые простенки с черными полотнами портретов и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, вились и розовели амуры.

— Смотри, смотри, Верочка, — зашептала толстая мать, — видишь, как князья жили в нормальное время.

Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо, по-вечернему.

Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал:

— Растрелли строил. Это несомненно. Восемнадцатый век.

— Какой Растрелли? — отозвался Иона, тихонько кашлянув. — Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, полтораста лет назад. Вот как, — он вздохнул. — Прапрапрадед нынешнего князя.

Все повернулись к Ионе.

— Вы не понимаете, очевидно, — ответил голый, — при Антоне Иоанновиче, это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был? А во-вторых, царствия небесного не существует и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?

— Руководительша, — начал Иона и засопел от ненависти к голому, — с зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия — это вы верно. Для кой-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?

Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы.

— Однако, я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время... И мне кажется...

— Бросьте, товарищ Антонов, — примирительно сказал в толпе девичий голос.

— Семен Иванович, оставь, пускай! — прогудел срывающийся бас.

Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно, золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры вились и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща.

В смутном говоре зазвучал голос голого. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы:

— Кто паркет делал?

— Крепостные крестьяне, — ответил неприязненно Иона, — наши крепостные.

Голый усмехнулся неодобрительно.

— Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины... трэнь... брень... Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего.

Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости господи», — вздохнул, покрутил головой и повел дальше.

Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый, с четырехугольными звездами на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бег-Ордынские со своими родственниками.

Отливая глянцем, чернея трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли родоначальник — повелитель Малой орды хан Тугай.

За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-Бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата...

На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы — ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой потому, что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-Бега-отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца-гайдука...

Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал:

— Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины девятнадцатого века...

Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону.

— Это бог знает что такое... Верочка, смотри, какие портреты предков...

— Любовница Николая Палкина, — продолжал голый, поправляя пенсне, — о ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут что она в имении вытворяла — уму непостижимо. Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания... Афинские ночи устраивала...

Иона перекосил рот, глаза его налились мутной влагой и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ни-

чего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голого, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голого тяжелый взгляд и долго его не отрывал.

Шли через кабинет князя, с эспантонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями — группами кавалергардского, где служили старшие Тугай-Беги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей тугай-беговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг.

Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами, с карсельскими старыми лампами. Шли через боскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньке. Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные, стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы:

— Это кто же такой?

— Последний князь, — вздохнув, ответил Иона, — Антон Иоаннович, в квалегардской форме. Они все в квалегардах служили.

— А где он теперь? Умер? — почтительно спросила дама.

— Зачем умер... Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале, — Иона заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку.

И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил:

— Да плюнь, Семен... старик он...

И голый заикнулся.

— Как? Жив? — изумилась дама. — Это замечательно! А дети у него есть?

— Деток нету, — ответил Иона печально, — не благословил господь... Да. Братец ихний младший. Павел Иоаннович, тот на войне убит. Да. С немцами воевал... Он в этих... в конных гренадерах служил. Он нездешний. У того имение в Самарской губернии было...

— Классный старик... — восхищенно шепнул кто-то.

— Его самого бы в музей, — проворчал голый.

Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами, розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре: и зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на мольберте — княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой... Раз триста уже водил Иона экскурсантов в спальню Тугай-Бегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голого и еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя... Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через биллиардную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон.

Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь и Дунька заперла ее на замок.

Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневом засвистали пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы — гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз — на учебной стрельбе в красноармейских лагерях.

Иона брел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внима-

тельно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях.

Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы, как назло, не было. Вероятно, потому, что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице.

На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел.

Во дворце были шаги. Они послышались со стороны биллиардной, прошли боскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду, ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете.

«Воры! Беда! — мелькнуло в голове у старика. — Вот оно вещее, чуяло... беда». Иона судорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. Беда...

В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и показался иностранец в золотых очках. Увидев Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем.

— Что вы? Господин? — в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью. — Тут нельзя. Вы как же это остались? Господи, боже мой... — Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк.

Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул попридвинувшись, негромко сказал по-русски:

— Иона, ты успокойся! Помолчи немного. Ты один?

— Один... — переведя дух, молвил Иона. — Да вы зачем, царица небесная?

Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво:

— Не узнал, Иона? Плохо, плохо... Если уж ты не узнаешь, то это плохо.

Звуки его голоса убили Иону, колена у него разъ-

ехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.

— Господи Иисусе! Ваше сиятельство. Батюшка, Антон Иоаннович. Да что же это? Что же это такое?

Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся голозой в жесткую бороду князя.

— Успокойся, Иона, успокойся, бога ради, — бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо, — услышать может кто-нибудь...

— Ба... батюшка, — судорожно прошептал Иона, — да как же... как же вы приехали? Как? Никого нету. Нету никого, один я...

— И прекрасно, бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!

Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал:

— Садись, Иона, в кресло!

Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого, с выдвижным пультом для чтения, табличку с надписью «В кресла не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в сафьян.

В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.

— Ах, как ты подряхлел, Иона, боже, до чего ты старенький! — заговорил князь волнуясь. — Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили...

От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза.

— Ну, полно, полно, перестань...

— Как... как же вы приехали, батюшка? — шмыгая носом, спрашивал Иона. — Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут... Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное, и бородка... И как же вы вошли, что я не заметил?

Тугай-Бег вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.

— Через малую веранду из парка, друг мой! Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки (князь снял их), очки здесь уже, на границе, надел. Они с простыми стеклами.

— Княгинюшка-то, господи, княгинюшка с вами, что ли?

Лицо у князя мгновенно постарело.

— Умерла княгиня, умерла в прошлом году, — ответил он и задергал ртом, — в Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все богу молилась. Видишь, бог и привел.

Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра I, на окно, где на самом донышке таял закат.

— Царствие небесное, царствие небесное, — дрожащим голосом пробормотал он, — панихидку, панихидку отслужу в Орешневе.

Князь тревожно оглянулся, ему показалось, что где-то скрипнул паркет.

— Нету?

— Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы. И быть некому. Кто ж, кроме меня, придет.

— Ну, вот что. Слушай, Иона. Времени у меня мало. Поговорим о деле.

Мысли у Ионы вновь стали на дыбы. Как же, в самом деле? Ведь вот он. Живой! Приехал. А тут... Мужики, мужики-то!.. Поля?

— В самом деле, ваше сиятельство, — он умоляюще поглядел на князя, — как же теперь быть? Дом-то? Аль вернут?..

Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны — с правой.

— Вернут? Что ты, дорогой!

Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал:

— Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут... Ты, видно, забыл, что было... Не в этом суть. Ты вооб-

ще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего, тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я (князь поглядел на угасающие рощи), во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кой-какие имел; пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние... На-ародное... (зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой). Народное — так народное, черт их бери. Все равно. Лишь бы было цело. Оно так даже и лучше... Но вот в чем дело: бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? — Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.

Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленный книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.

— Цел-то цел кабинет, — бормотал Иона, — да вот горе, батюшка ваше сиятельство, запечатан он. Запечатан.

— Кем запечатан?

— Эртус Александр Абрамович из комитета...

— Эртус? — картаво переспросил Тугай-Бег. — Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?

— Из комитета он, батюшка, — виновато ответил Иона, — из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то, библиотека будет и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает.

— Ах, вот как! Библиотеку, — князь ощерился, — что ж, это приятно! Я надеюсь, им хватит моих книг? Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит?

— Хватит, ваше сиятельство, — растерянно хрипнул Иона, — ведь видимо-невидимо книг-то у нас, — мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.

Тугай-Бег съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет раскосого в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом.

— Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну... а знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?

Иона молчал и глядел во все глаза.

— Этого Эртуса я повешу вон на той липе, — князь белой рукой указал в окно, — что у ворот. (Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке.) Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен...

Иона судорожно вздохнул.

— А рядышком, — продолжал Тугай нечистым голосом, — знаешь кого пристроим? Вот этого голого. Антонов Семен. Семен Антонов, — он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. — Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже раз пользовался гостеприимством в Ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне. — Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками, — ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голого. Ежели он живым мне попадется в руки, у, Иона!.. не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры! Иона! Ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?

Иона горько вздохнул и отвернулся.

— Ты верный слуга, и, сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голого? А? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет? — Тугай-Бег взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку; беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым. — Но вот не убил! Не убил, Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить, Иона. Это было бы слабо и неудачно, меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, за чем приехал. Мы сделаем, Иона, большее... Получше, — князь пробормотал что-то про себя и стих.

Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщившись, встал и глянул на часы.

— Ну, вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что, — у князя в руках очутился бумажник, — бери, Иона, бери, верный друг! Больше дать не могу, сам стеснен.

— Ни за что не возьму, — прохрипел Иона и замахал руками.

— Бери! — строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. — Только смотри, тут не меняй, а то пристанут — откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.

— Печать-то, батюшка, — жалобно начал Иона.

Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул.

— Вздор, — сказал Тугай, — ты, главное, не бойся! Не бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову? Ну, то-то...

Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен...

В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными

шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах, Александр I ожил и, лысый, мягко улыбался со стены.

За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху:

Алекс. ЭРТУС
История Ханской ставки

ниже:

1922—1923

Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел не отрываясь на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь недвижно.

Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.

— У-у, проклятая собака, — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.

— Фу, — прошептал он, — с ума сойдешь.

Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы:

— Это не может быть. Не... не... не...

Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые

зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были вполоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом.

Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.

— Не может быть, — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. — Это сон. — Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал: — Одно, одно из двух: или это мертво... а он... тот... этот... жив... или я... не поймешь...

Тугай провел по волосам, повернулся, увидел идущего к шкафу, подумал невольно: «Я постарел», — опять забормотал:

— По живой моей крови, среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я — тень? Но ведь я живу, — Тугай вопросительно посмотрел на Александра I, — я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль, но больше всего ярость, — Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале, холод ненависти прошел у Тугая по суставам, — я жалею, что я не застрелил. Жалею. — Ярость начала накипать в нем, и язык пересох.

Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило двенадцать раз, после паузы на другой тон один раз четверть и после паузы три минуты.

— Ах, боже мой, — шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза

его косили, как у хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь.

— А т... чума! — хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом.

Прикрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, треща, пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стоймя на столе, и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал:

— Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус.

...Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним, бальными огнями горел зал. На занавесях изнутри играли и ходуном ходили огненные тени.

В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель; пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло: огонек сморщился и исчез, но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Ту-

гай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и разом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер.

— Теперь надежно, — сказал Тугай и заторопился.

Он прошел боскетную, биллиардную, прошел в черный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму...

1923

М.Зощенко

АРИСТОКРАТКА

Григорий Иванович шумно вздохнул и начал рассказывать:

— Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а пустое место.

А в свое время я, конечно, увлекся одной аристократкой. Гулял с ней и в театр ее водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу — стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, говорю, ты, гражданка? Из какого номера?

— Я, говорит, из седьмого.

— Пожалуйста, говорю, живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действуют?

— Да, отвечает, действуют.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рту блестит.

Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит под руку принять.

Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно.

Ну, а раз она мне говорит:

— Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, говорю, действует ли тут водопровод?

— Не знаю, говорит.

И сама в буфет идет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг нее и предлагаю:

— Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом, жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье.

Я говорю:

— Натощак — не много ли?

А она:

— Нет, говорит, мы привыкшие.

И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, говорю, взад!

Она испугалась. Открыла рот. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, говорю, к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет. С вас, говорит, за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как, говорю, за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.

— Нету, отвечает, хотя оно и в блюде находится, но надкус на нем сделан, и пальцем смято.

— Как, говорю, надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед носом руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.

Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось, — народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю. Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки.

Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушайте, говорю, гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя взялся.

— Давай, говорит, я докушаю.

И докушал. За мои-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит своим буржуйским тоном:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за указание.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

1923

ЖУЛИКИ

Письмо и повестка пришли одновременно, привезли их вечером. Пусть прошло семь лет с того июльского дня, когда в селе, — в сенокосном удушье они, она и он, ходили в церковь венчаться, и поп все посматривал в окно — не пойдет ли дождь, не опоздать бы ворошить сено; тогда он настаивал на церкви, и она, стоя под венцом, все хотела собрать мысли и перевспомнить всю свою жизнь — и не могла, следила за батюшкой и за тучей на горизонте: и, правда, пошел дождик, и батюшка из церкви побежал в поле, копнить... — пусть прошло семь лет — пусть сейчас вечер: не могли не поникнуть и руки и голова, и вся она, — именно потому, что время идет, время уносит, ничего не вернешь, все проходит. У женщины в тридцать семь любовь, многое — позади: у мужчины в тридцать семь — только разве замедлились чуть-чуть движения дней и вечеров.

Решить надо было б правильно и просто — так, что письма и повестки из суда, где стоит казенное слово «ответчица», не было: — все кончено без судов, кончено временем, и его правом сильного, и ее гордостью, — и надо было бы вновь взять ведро и пойти к колодцу за водой и полить рассаду (огромная радость сеять в земле и видеть, как возрастает тобою посаженное!): — заспешила, вспомнила, какие тряпки в чемодане надо отобрать, что взять с собою... — пусть стрижи за окном летают, обжигают воздух так же, как каждую весну: все — пусть!

Что же, у нее есть труд, у нее есть труд впереди, есть заботы, у нее будут вечера, — надо жить: надо жить!

Сторож Иван, — он же кучер, он же дворник, он

же: — ну, как каждый день не ругать его, когда ему говоришь про Фому, а он отвечает Еремой?! Он сказал, что пароход проходит теперь на заре, надо выехать с полночи. И в полночь Иван потащил по грязям на телеге — полями, просторами, непокойным рассветным ветром; рассвет отгорел всем земным благословением; а на берегу узналось, что пароход будет только к вечеру: Иван покряхтел, помотал головой и, уверив, что скотине дома никто без него толком не задаст, уехал обратно. На воде, у берега стояла мертвая конторка, на горе прилепилась изба. На пороге избы сидела баба. Бессонная ночь вязала движенья, и нельзя было додумывать мыслей.

Баба от избы покликала, сели рядом, на пороге.

— Вы, что же, сторожами здесь живете?

— Муж мой лесным сторожем служит. Сами мы дальние. Детей у меня четверо, четыре сына.

И так и запомнился этот день — пустой, с пустой конторкой, с избой над рекою, — и со счастливой женщиной. К полдням все уже зналось, — что эта баба счастлива, что она и ее муж хохлы (так сказала она), киевляне, — что муж ее тихий и добрый человек, двадцать лет служил у немца-колониста, и немец любил его за доброту (немец иной раз и бивал мужа, но муж был добрый, незлобивый, — не сердился, а немец любил: даже корову собственную разрешил держать), — что на Украине у нее дочь, замуж вышла, детей народила, внучат; старший сын ее теперь тоже лесником служит, женился было, да неудачную жену себе взял, все с другими мужиками бегает, — собирался было разводиться, пошли в волость расписываться, но в волости затребовали рубль шесть гривен: — так и не развелись, денег жалко; остальные три сына при отце живут, один комсомолец, — а жалования муж получает, слава богу, восемь рублей на своих харчах. Была эта баба морщиниста, как старый гриб, ходила в красном платке, и была, была счастливой безмерно, всем на этом свете довольной: комсомолец, сын ее, теперь ходил на раскопки, рыли курган, вырывали гроба из веков, — платили ему тридцать копеек в день, дуром валились деньги, — и нельзя было исчерпать бабиного счастья. В избушке на горе было по-малороссийски чисто выбелено известью, — от русской печи сидеть там было душно и мухи донимали:

сидели все время на пороге. Приходили в заполдни муж и сыновья, обедали, посадили и гостью за стол, ели из общей миски щи из свежей крапивы; мужчины были молчаливы, поели, покрестились и легли в тени у дома спать; и гостью отвели спать — в сарай на сено; разбудили к чаю: самовара не было, кипятили воду на костре, у костра и попили чаю; отец взял винтовку, пошел в лес, сыновья пошли по своим делам; и опять старуха говорила о счастье, о том, что муж незлобивый, ему и в морду можно дать. Послеобеденный сон скомкал время, баба говорила тихо и внимательно, и казалось, что изба эта, и эта баба, и ее дела, и сыновья, и муж — известны с испокон веков, и не было сил — хотя бы внутренно бунтовать против этого бабиного счастья: все было все равно.

И в этом безразличии отсвистел пароход, потащил мимо сумеречных берегов, в соловьином крике, в плеске воды под колесами. И безразлично прошел уездный городишко в пыли, где надо было пересаживаться с парохода на поезд. На минуту странным показалось наутро, что вчера поля и деревья были зелены, а нынче здесь, где мчал поезд, было еще серо. И вечером была Москва. Ничто не заметилось.

И новой ночью в номере на Тверской опять логически ясной стала нелепость приезда: были, любили, разошлись, ей никак не нужна выпись из постановления суда о том, что — «такой-то районный суд слушал и постановил» — быть ей свободной от прежних морозов и зацветать для новой любви, — новой любви у нее не было; новая любовь была у него, — но и о ней она ничего не знала, ибо его не было около нее вот уже три года. Что ей? — что же, она агроном, она горда!.. — и она горько плакала этой ночью, первый раз за эти дни.

В суд надо было явиться в одиннадцать, и она пришла без пяти одиннадцать. Он встретил ее в дверях, пошел навстречу, улыбнулся дружески, сказал:

— А я думал, что ты не придешь, стоило по пустякам тащиться, я бы прислал тебе выпись... — и замялся, и сказал, о чем писал уже в письме: — Мне неприятно было посылать тебе повестку, это глупое слово «ответчица», словно ты подсудимая. Ну, как поживаешь, как дела?

Ответила:

— Конечно, глупо было приезжать, но у меня скопились еще дела по службе. Живу по-прежнему, много работы.

— Ты где остановилась, когда приехала?

— На Тверской, в гостинице. Приехала вчера вечером.

— Почему же ты не приехала прямо ко мне? Сейчас же после суда поедем, я перетащу твои вещи. Ведь мы же друзья, ведь никто не виноват, Аринушка, милая...

Она ничего не ответила. Он понял, что она не может быть искренней. Но она делала все усилия, чтобы быть простой.

Судья спросил: сколько лет, как зовут, что вы имеете против? — какую фамилию вы хотите носить? — Он, «истец», сказал: — Я бы хотел, чтобы ты оставила свою фамилию. — Она не думала об этом, она залилась кровью, ей показалось, что ее оскорбляют, — она сказала растерянно:

— Да, я хочу оставить фамилию мужа.

Судья попросил расписаться, объявил, что за выписью из постановления суда надо прийти завтра.

— Можно идти? — спросила она судью.

— Да, все уже кончено, — ответил муж.

— Поедем к тебе за вещами.

Они выходили из суда, мимо них провели за штыками арестованных.

— Я поеду сейчас в наркомат, — ответила она. — У меня будет очень занято время. Ты возьмешь завтра выписку, тогда пришли ее мне в деревню. Всего хорошего, — и она протянула руку.

Он не взял руки, он заволновался.

— Послушай же, ведь мы любили друг друга, мы останемся друзьями. Невозможно расстаться так.

— Не забудь прислать выписку, она мне очень нужна. Ну, конечно, у нас нет поводов ссориться. Я просто буду очень занята. — Она улыбнулась, тряхнула бодро рукой. — Давай руку.

— Что же, все кончено? — спросил он.

— Выходит так, — ответила она. — Прощай, я спешу.

Она поехала на городскую станцию купить билет.

И в этот же день вечером она ехала обратно. С ней

в купе, в полупустом поезде сидел старик в чесучовом пиджаке, кряхтел, ел колбасу из корзиночки, отрезая мелкими ломтиками, приносил на станциях в чайнике воду. На ночь они оба забрались на верхние полки.

И поздно ночью в купе пришли двое, забрызганные грязью, в сапогах, в кожаных куртках, с портфелями, — от них пахло распутицей, бессонницей, напряженной работой, бодростью, табаком. Ехали они, должно быть, недалеко, — не раздевались, открыли окно, закурили, разговаривали.

Разговаривали они о кооперации, были, должно быть, кооперативными работниками, — говорили о неудачах и победах кооперации, о ее буднях и о ее практической работе, о том, что русская кооперация еще не созрела, чтобы торговать обувью и одеждой, что не удается также кооперативная торговля мясом, — говорили просто, буднично, чтобы убить время. Потом надолго заговорили о служащих в кооперации, о приказчиках, кассирах, весовщиках, сторожах. Большой процент неудач кооперации они возлагали на неподготовленность кооперативных служащих. За предпосылку, правильную, как аксиома, они брали правило, что каждый приказчик, заведующий лавкой, кассир — жулик, и обсуждали, как этого избежать или как сделать, чтобы жульничали меньше. Слова ж у л и к они не употребляли, оно вытекало само собою; они говорили, что каждый служащий берет себе и своей семье бесплатно мясо, масло и вообще все, чем торгует (мясная торговля не удается именно потому, что никак нельзя проконтролировать, сколько вышло фунтов разных сортов мяса из данной туши), что даже у членов правлений есть обычай «Христа славить», то есть «завертывать» себе по фунтику того и другого. Один из собеседников рассказывал, что иной раз приказчики проворовываются явно, и тогда неизвестно, как с ними поступать: рассчитать, отдать под суд? — во-первых, огласка, а во-вторых, на его место придет второй такой же, а отданный под суд потянет за собой и всех остальных, и надо налаживать дело вновь. Второй доказывал, что прогонять не надо, разве уж в очень редких случаях, — а лучше приказчика держать на такой грани, чтоб он чувствовал, что догадываются, что он жульничает: никому неохота прослыть во-

ром, — ну, его и держать на этой грани в страхе, как бы не ославился он вором.

Потом они ушли, эти два кооператора, — в ночь, в деревню, на полустанке. Когда поезд тронулся, старик на полке поднялся, свесил ноги, посидел так недолго, слез, чтобы закрыть окно, и вновь сел на полку.

— Не спите? — спросил он. — Слышали, как разговаривали? О том, что у человека честность может быть, — об этом ни слова не сказали. Так, стало быть, и есть на самом деле. Мне вот что непонятно, уж и не знаю почему, — только чужого я никак не возьму и всегда не понимал, как это делается. Слышали, как разговаривали? — не о людях, а о номерах, — об инструментах плохого качества.

И тогда она поняла, что самое существенное в ее поездке — убогое счастье бабы над рекой и этот ночной разговор. Да, жизнь каждого человека связана так, что — не все ли равно будет, если его, человека, взять с поправкой на испорченную машину, испорченную жульничеством, безграмотностью, ложью, любовью, — связанную государственностью, трудом, куском хлеба, — тою же любовью. И, быть может, счастье на самом деле в том, чтоб быть связанным так, когда нет рубля шестидесяти копеек на гербовую марку при разводе, как связана та баба над рекой, — как не связана она. Ей было оскорбительно слушать тех здоровых, что пришли и ушли ночью, от которых пахло весенней распутицей и здоровьем. Жизнь человека — большая обязанность, никак не в его воле, всячески связанная.

Старик напротив, проснувшись уже окончательно, заговорил, хотел поговорить подольше, спросил, куда едет, где работает, — обрадовался, узнав, что она агроном, сообщил, что он уездный врач. За вагонным окном возникал рассвет. Она заговорила с ним, первый раз заговорила за эти дни, — хотела говорить.

Врач рассказал: ездил в Москву, там его дочь выходит замуж за инженера такого-то. Это была фамилия ее мужа.

Она спросила:

— За Григория Андреевича?

— Да, за него, — ответил врач. — А вы его знаете?

Она ответила односложно и легла на полке лицом к

стене, сделав вид, что хочет спать. Он — этот старик врач — стал врагом: он — вор, он украл...

Когда она слезла с парохода, она увидела, что избы над горою нет, там торчала одна лишь обгорелая печь да несколько недогоревших бревен. И ей рассказали о событии: в этой избе жила семья разбойников, грабивших на дорогах, убивавших людей, семья выселенцев-малороссов, отец, четыре сына, мать. Когда пришла милиция их арестовывать, они стали отстреливаться, стрелял и одиннадцатилетний младший сын и старуха мать; в перестрелке убили отца и четырех сыновей: тогда старуха подожгла избу и умерла в огне.

Иван, говоривший всегда про Ерему, когда с ним заговаривали про Фому, всю дорогу рассказывал подробности перестрелки, ставшие уже легендарными, и всячески поносил разбойников.

1925

В. Кин

СТАРЫЙ ТОВАРИЩ

Мы живем девятый год, и каждый год из этих лет окрашен своим, особым цветом, каждый оставил в нашей памяти свой след.

Первые годы — от 17 до 20 — годы-красноармейцы. Год за годом приходил и становился в боевой взвод. Семнадцатый, буйный год, с серыми броневиками, с шелухой семечек на тротуарах, с наскоро сделанными красными бантиками на пиджаках и кепках Красной гвардии. Он въехал в широкие российские просторы на подножках и крышах вагонов, на паровозном тендере, разбивая по дороге винные склады и стирая с дощатых уездных заборов номера списков Учредительного собрания.

Восемнадцатый — год декретов, митингов, продразверстки и казачьих налетов. Он построил первые арки на базарных площадях и выкопал первые братские могилы против уисполкомов. Он назвал Дворянскую улицу Ленинской и напечатал первые уездные газеты на оберточной бумаге.

Девятнадцатый ввалился с гармошкой и «яблочком», с дезертирами и мешочниками, взрывая мосты и митингуя на агитпунктах. Он построил фанерные перегородки в барских особняках и зажег примусы с морковным чаем в общежитиях. Девятнадцатый гнал самогонку и ставил чеховские пьесы в облупленных театрах, кричал хриплым языком приказов и писал стихи о социализме. Это был странный год!

Двадцатый пришел как-то сразу, вдруг. Еще вчера белые сжимали Орел и Тулу, еще вчера в Петрограде дрожали стекла от пушек Юденича и Колчак гнал чешские эшелоны на Москву. И вдруг, почти внезапно, рванулась армия. И красногвардейцы уже в Крыму ели терпкий крымский виноград и меняли английское

обмундирование на молоко и табак, уже под Варшавой на стенах польских фольварков писали мелом — «не трудящийся да не ест», а в Иркутске ветер трепал расклеенные объявления о расстреле адмирала. Это он, двадцатый, выдумал веселое слово — «даешь!».

В двадцать первом, когда на Тверской робко выглянуло первое кафе «Ампир» с ячменным кофе и лепешками из сеяной муки, когда в Поволжье вымирали деревни, — кончились солдатские годы. Новые годы сняли красную звездочку с кожаной куртки, расставили плевательницы на улицах и ввели штраф за брошенный в вагоне окурок. Новые годы оторвали доски с заколоченных домов и магазинов, пустили тракторы по советскому черноземе и повесили в школах плакат для первого чтения по складам:

«Мы не ра-бы»...

В Москве, на Воздвиженке, организована выставка. Это совершенно особенная, невиданная еще выставка. Там нет ни кремневых ножей, ни окаменелых ракушек, ни морских звезд, крабов и других обычных музейных предметов. Там в четырех залах стены увешаны плакатами, приказами и знаменами.

Старые знакомые... В эти залы входишь с тем чувством, с каким человек входит в свою детскую комнату или перечитывает свои первые детские дневники. Плакат, старый товарищ, свидетель прошлых, огненных дней! Здесь и красноармеец с вытянутой на тебя рукой, строго спрашивающий: «Ты записался добровольцем?»; и рабочий с молотом, ставший во весь рост с гордыми словами: «Петроград не отдадим!»; и баба с бубликами; и Митька-бегунец; и «Владыка мира — капитал»; и маршал Фош с польской свиньей...

Эти плакаты кажутся такими близкими и памятными, точно не восемь лет, а восемь дней прошли над советской землей. Кажется, что еще вчера я сидел в губкоме под этим плакатом с двумя несуразными, отчего-то голыми юношами, которые несут красное знамя с надписью: «Все под красное знамя Союза!» Плакат был одновременно и украшением ободранных клубных стен, и агитацией, и оружием. Плакат убивал врага наповал. А теперь он настолько устарел, настолько отодвинут новыми грандиозными событиями и задачами, что на него поставили номер и за 20 копеек показывают в музее,

как старый, иззубренный в прошлых битвах заржавленный меч.

Старое старится, молодое растет. Придет день — и в музее повесят наши газеты, наши винтовки и револьверы, выставят в витринах наши рубли и червонцы. В громадной зале руководитель будет водить экскурсию и объяснять, зачем нужны были когда-то людям винтовки, деньги и противогазы. Посетители будут с удивлением и любопытством разглядывать маленькую, коричневую книжку с странным названием:

— Партбилет...

1926

П. Романов

ГОЛУБОЕ ПЛАТЬЕ

I

Несчастье случилось на свадьбе недели за две до покрова, когда хлеб был уже весь убран и в поле оставалась только запоздавшая картошка.

Спиридон накануне свадьбы дочери даже ходил на свой загон, посмотреть, не пора ли выпахивать картошку. Постоял там, посмотрел из-под руки кругом и понурый пошел домой. Месяц тому назад дочь, Устюшка, пришла и сказала, что выходит замуж за сына кузнеца Парфена, комсомольца.

— А денег на свадьбу кто тебе приготовил? — спросил Спиридон, не взглянув на дочь.

— Каких денег? Приданого ему не нужно, а венчаться будем не у попа, просто запишемся, — сказала както небрежно, почти мимоходом Устинья, вильнула своей косой и ушла.

Жена Алена ахнула, а Спиридон бросился было за дочерью с кулаками, но сейчас же остановился и, махнув рукой, только сказал:

— Вот чертова порода-то пошла!..

Больше всего его задело почему-то, что жениху приданого не нужно. «Значит, хозяйства не справит, раз копейку не ценит, — подумал он. — И жену не будет любить».

Хотя он никогда и сам ничем не выражал своей любви к жене, и если она уезжала одна в город и долго не возвращалась, то он выходил на улицу посмотреть, не едет ли, но всегда смотрел не в сторону околицы, а как будто по сторонам, чтобы люди не увидели, что он о ней беспокоится и ждет ее.

Говорили они с ней всегда только о хозяйстве и ни о чем больше. Теперь Спиридон стал молчалив и раздражителен, и если выпивал и его чем-нибудь задирали,

у него глаза загорались диким огнем, и он, не помня себя, лез драться.

Один раз даже в трезвом виде он едва не убил Семку-кровельщика, маленького, лохматого мужичонку, за то, что тот ехидно его поздравил «с хорошим женихом и партийной линией».

Когда же он бывал пьян и лез с кем-нибудь драться, Алена всегда повисала у него на руках и твердила:

— Спиридон, голубчик, будет... Спиридон, милый, не надо...

И уводила его домой, прикладывая землю к синякам, которые он себе насажал в пьяном виде.

Чем ближе подходил день свадьбы Устиньи, тем Спиридон становился угрюмее и сумрачнее. И возможно, что если бы не было этой свадьбы, то не случилось бы и несчастья, такого нелепого и ужасного.

II

В деревне начиналось веселое время свадеб. Но Спиридон ходил понурый, точно пришибленный. Ему казалось каким-то позором, что свадьба его дочери будет не настоящая, без попа.

Свадебная пирушка была у жениха. Алена хотела было надеть свое лучшее голубое шерстяное платье, которое ей Спиридон однажды привез из города, но в самую последнюю минуту почему-то передумала и надела другое праздничное платье, попроще. «Как кто подтолкнул», — рассказывала она потом, уже в больнице, Спиридону.

Гости стали собираться еще задолго до темноты. Прежде, бывало, из церкви ехали на тройках с бумажными цветами, заплетенными в гривы и хвосты лошадей, а теперь приходили и приезжали без всяких цветов.

Спиридону и в этом показалось что-то позорное и обидное.

Казалось, что над ним и над его дочерью смеются, за настоящую свадьбу не считают И он, надевший свою праздничную поддевку и намаслившый волосы коровьим маслом, чувствовал себя глупо, как будто он совсем некстати вырядился. Другой бы на его месте вовсе не пошел сюда или бы нарочно все старое надел.

Народ набирался в избу, главным образом, все моло-

дые ребята в пиджаках и френчах, и девчата, одетые тоже все по-городски — в белых платьях и туфлях с белыми чулками, как барышни. Они шумели, смеялись, как будто всем здесь командовали и заправляли они, а старики как-то неловко жались в сторонке.

В переднем углу стоял накрытый стол, устроенный из трех сдвинутых столов. На скатерти были положены вдоль по тарелкам вынутые из сундуков расшитые полотенца для утирания масляных ртов и рук. Стояли бутылки водки, вишневка и на блюдах — заливные куры.

Спиридона никто не встретил, не оказал ему, как отцу, почета, точно он не имел здесь никакого значения. И он стоял в толпе других гостей, дожидаясь, когда позовут садиться за стол. И чем он больше так стоял, тем больше в нем разгоралась обида: двадцать лет работал, дочь вырастил, а теперь на ее свадьбе стоит, как неприкаянный, точно его из милости сюда пустили.

А тут попятился, не разглядел, что сзади, и попал сапогом в кошачье блюдце с молоком, стоявшее у стенки. Блюдце хрустнуло, разломилось, и из-под ног Спиридона потек ручей молока на середину пола. Некоторые из гостей фыркнули, а он покраснел до самого затылка.

Старики-хозяева, Парфен и его жена Анисья, тоже как-то нескладно толкались, видимо, не зная, что делать со скучающими гостями. А молодежь забралась вопреки всем обычаям в спальню, оттуда слышался говор, смех. Устинья в белом платье, с волосами, собранными к затылку, в прическу с воткнутой в нее гребенкой, сидела с женихом на кровати, тоже смеялась и оправляла ему то галстук, то волосы, как будто он был для нее уже свой.

И от этого не было, как показалось Спиридону, никакой серьезности, никакого благообразия. И даже отдавало каким-то бесстыдством.

У Спиридона настроение стало еще хуже, когда он увидел, что здесь присутствует рябой Семка, который один раз уже подковырнул его насчет этой свадьбы.

Кум Спиридона, Сергей Горбылев, пожилой мужик с серой курчавой бородой и волосками на носу, как будто понял, что чувствовал Спиридон. Он отодвинул ногой черепки и, нагнувшись к Спиридону, подмигнул и сказал тихонько:

— Тоже в гости пришел?

— Вроде этого... — ответил угрюмо Спиридон.

Наконец, оживились, зашумели. Молодые ребята, напирая друг на друга, толпой вытеснились из спальни, причем всех толкали.

Комсомолец Гараська Щеголев, друг жениха, вышел на середину избы и поднял вверх руку, как бы требуя тишины. Все затихли и смотрели на него и друг на друга с неловким чувством ожидания, что он сделает или скажет что-то такое, от чего всем будет стыдно и неловко за него и за себя. Гараська утер губы платком и, заложив палец за борт френча, сказал краткое приветствие молодым, заключавшееся в том, что он поздравлял новую пару, отказавшуюся от предрассудков и строящую новый быт.

Жених в коричневом френче и брюках, стоя рядом с невестой, то смотрел на оратора, то, улыбаясь, перешептывался с невестой, чтобы скрыть свою неловкость. А она тоже изредка шептала ему что-то, закрыв рот рукой.

И опять эта смелость и развязность дочери показалась Спиридону почти бесстыдством. Его старуха — не то что шептать и смеяться при всех с ним, когда он был женихом, она стояла, словно окаменела совсем, — до того боялась.

Спиридон смотрел на оратора, на его сухой, свешивающийся наперед вихор, и ему лезли мысли о том, что на него — отца — наплевали, да еще на смех подняли, всем командует какой-то мальчишка, у которого на губах молоко не обсохло.

В особенности ему показалось, что над ним потешается Семка, который, сидя на подоконнике и свертывая папироску, поглядывал на жениха с невестой и все ухмылялся чего-то. Лицо у него было рябое от оспы, и на носу было особенно много рябин, так что кончик его был точно весь изъеден. И оттого лицо его казалось Спиридону особенно гнусно-ехидным.

За стол он сел в поддевке, и ее широкие рукава, обшитые полоской кожи, мешали ему управлять ножом и вилкой. Стал резать курицу, упер вилку стоймя в тарелку, а она, неожиданно соскользнув, так взвизгнула, что все гости испуганно оглянулись. А соседа с левой стороны всего обдал куриным желе, и тот испуганно выбирал

его из курчавой бороды, точно ему в бороду не куриное желе, а искры из кузнечного горна попали.

Спиридон опять весь покраснел и с досады чуть не пустил тарелкой об пол и не ушел. Но удержался и только оставил тарелку и стал только пить.

— Неподходящее, видно, дело? — сказал ему через стол Семка.

Спиридон посмотрел на него и ничего не ответил.

Языки развязывались все больше и больше. Ножи отложили в сторону и стали работать руками, разрывая сухожилия на куриных ногах и обгладывая их зубами. Молодежь, обступив молодых, заставляла невесту пить водку и целоваться в женихом.

И Спиридону казалось, что они нахальничают над его дочерью у него на глазах, а все смотрят на него и, наверное, смеются над ним, что он сделать ничего не может.

Семка рябой, то и дело наклоняясь вперед над столом пьяной головой, смотрел неслушающимися глазами на молодых, потом переводил их на Спиридона и вдруг закричал пьяным голосом:

— Вали, ребята, целуй ее все, — не венчанная!

Спиридон побелел.

Соседние с Семкой мужики начали унимать его, а он еще больше кричал и хохотал пьяным смехом в лицо Спиридону. Все сразу затихли. Назревал скандал. Но все-таки все были далеки от мысли о том, что сейчас произойдет.

— Вали, ребята, не церемонься! — закричал опять было Семка.

Но в это время вдруг что-то случилось... Сидевшие рядом со Спиридоном два мужика полетели на пол, а Спиридон очутился около Семки и стал душить его за горло. Семка одной рукой отдирал руки Спиридона, а другой искал на столе нож. Заметив это движение, Спиридон не спеша отвязал одной рукой с пояса под подневкой свой самодельный из косы нож. Отвязав, он навалился на Семку среди отшатнувшихся от них соседей по столу и только было взмахнул рукой над моргавшим под ножом мужичонкой, как у него на руке повисла Алена и закричала:

— Спиридон, голубчик, будет... Спиридон, голубчик, не надо...

Он с озверелым видом изо всей силы отмахнулся от жены рукой, в которой у него был нож, и Алена, слабо, испуганно и как бы удивленно вскрикнув, медленно осела на пол.

Платье на ней было разрезано от груди до самых ног, и на полу показалась лужа темной крови, стекавшей от нее узеньким ручейком в углубление, и на ней плавала и кружилась пыль от земляного пола.

III

Рана оказалась смертельной. Алену отвезли в больницу, и она медленно умирала.

Все в деревне жалели Спиридона и говорили о том, какое несчастье опрокинулось на него: осталось хозяйство без бабы.

Соседи часто заходили к нему, когда он сидел один, опустив голову, и говорили ему о том, что одному ему трудно в хозяйстве будет, что нужно жениться, ведь он еще не старик... Можно посвататъ Катерину Соболеву, она хорошая и работящая баба, хотя, впрочем, у нее трое ребят. Тогда можно взять Степаниду, у нее один мальчишка, вырастет, помощником будет.

Но Спиридон ничего не хотел слушать.

На третий день его допустили к раненой.

Когда больничная сестра в белом халате провела Спиридона по высокому коридору и остановилась перед крайней дверью, Спиридон, шедший за ней неловко на цыпочках в своих больших сапогах и с шапкой в руках, тоже остановился и посмотрел на свою шапку, точно не зная, куда ее деть, и на свои сапоги, не наследил ли он ими.

Сестра вошла в палату. Спиридон в раскрывшуюся дверь увидел в дальнем углу пустой палаты койку и на ней чей-то незнакомый и чужой желтый лоб.

Сестра, заглянув на эту койку, повернулась и поманила Спиридона. Тот, еще больше приподнявшись на цыпочки, — отчего его сапоги неловко вихлялись на скользком натертом полу, — подошел.

Перед ним лежала Алена. Желтый, как у покойника, лоб оказался ее лбом. И странно было, что он так быстро стал таким. Вокруг глубоко запавших глаз залегли серые, землистые тени. Поверх серого больнично-

го одеяла лежали выпростанные бледно-желтые, точно только что вымытые руки с выросшими желтыми ногтями.

Сестра вышла. Спиридон сел на кончик табуретки у постели жены.

Ему было стыдно и неловко, что он сам убил ее, а теперь пришел навещать.

— Ну, как?.. — спросил Спиридон каким-то чужим, как ему показалось, голосом. Хотел откашляться, но побоялся.

Слабый взгляд умирающей остановился на нем, и по ее лицу, вслед за мелькнувшей бледной, как бы одобряющей улыбкой, пробежала тень заботы.

— Помру... — слабо, едва слышно выговорили ее бледные, бескровные губы. Она несколько времени лежала неподвижно, как бы отдыхая от сделанного усилия. Потом все с тем же выражением заботы, сказала:

— Вот беда-то свалилась... как ты теперь один будешь... не справишься с хозяйством-то.

Она вошла в свою обычную роль заботы о нем и говорила так, как будто не ее положение умирающей нуждалось в заботе и сочувствии, а положение Спиридона, который останется жить один, когда у него картошка не выпахана и за ним самим некому будет присмотреть и некому помочь.

И Спиридон как-то по привычке принимал это и даже невольно делал вид, как будто его положение действительно тяжелое. Он даже хотел было сказать жене, что соседи уж уговаривают его жениться, по что-то его удержало от этого. Он только махнул рукой, как бы не желая говорить о своем положении, и сказал:

— Да это что там, справлюсь как-нибудь. Вот тебя бы поправить...

Но больная на это только безнадежно покачала головой:

— Обо мне разговор уж кончен...

Потом посмотрела издали на свои руки, лежавшие на одеяле, приподняв их ногтями к себе, и, подумав, спросила:

— Что ж, живут? — очевидно, подразумевая дочь.

— Живут покамест, — ответил Спиридон.

Алена опять покачала головой.

— Бесхозяйственный... от приданого отказался, зна-

чит, копейку не будет беречь... несчастная она с ним будет... любить ее не будет...

— Какая там любовь... — сказал таким же тоном Спиридон.

— Больше двух дней не выживу... отработалась... — сказала Алена, потом, застонав от боли, лежала несколько времени неподвижно с закрытыми глазами.

У Спиридона зачесались глаза и защипало в носу от слез. Он подумал о том, что она сама умирает, а думает только о нем, а он помнит, что не раз все-таки подумывал о предложении соседей и так как привык больше всего беречь копейку, то ему было жалко денег, если придется нанимать человека, так как один после ее смерти он все равно не справится.

Алена, открыв глаза, повернула к Спиридону голову на плоской больничной подушке, посмотрела на него и как-то робко, нерешительно проговорила:

— Положи ты меня в голубом платье... это твоя память... так ни разу и не надела... только смотрела на него... видно, уж там вспоминать буду.

Спиридон подумал, потом сказал:

— Жалко... что ж оно в земле-то зря сопреет? Лучше Устюшка поносит.

— А, ну хорошо... в чем-нибудь, там не взыщут, что не приоделась... — проговорила Алена, и на ее губах промелькнула слабая тень улыбки.

— И ровно надоумил кто...

Она остановилась, часто и слабо дыша. Спиридон подождал, и так как она молчала, он спросил:

— В чем надоумил?

— Платья-то этого не надела... и оно бы пропало зря... располосовал бы все...

У Спиридона опять зачесались глаза, а в горле точно застрял какой-то комок.

— Да это что там... человек дороже платья, — сказал Спиридон, махнув рукой.

— Что ж дороже... человека-то уж нету почесть... А я было уж надела его, потом опять сняла... прямо бог спас.

Спиридон утер украдкой глаза, проведя по ним и по носу шапкой, и на носу остался зацепившийся в виде пушинки клочок ваты от подкладки, которого он не заметил.

Алена заметила это, ей стало жаль мужа, и она не сказала, а только смотрела на эту ватку, которая развлекала ее внимание.

Спиридон смотрел на жену и видел, что ей уж не встать, и она сама знает это, а все-таки продолжает заботиться о нем. И опять горе и жалость к человеку, с которым прожил целую жизнь, сжали ему спазмой горло.

Алена заметила это, ей стало жаль мужа, и чтобы успокоить его и ободрить, она сказала:

— Не горюй... может, еще выживу... случаи бывают...

— Дай бог... — сказал Спиридон, а сам испуганно подумал, что ведь это беда тогда будет, если она в самом деле выживет, потому что все равно ни на какую работу не будет годна, ее только кормить да ходить за ней.

— К следователю уж вызывали, теперь затаскают, гляди, еще лошадь напоить некому будет.

Он сказал это затем, чтобы, во-первых, отогнать от себя эти лезшие в голову постыдные мысли, а, кроме того, ему как-то стыдно было сидеть перед умирающей от его руки женщиной здоровым, необремененным никакой заботой, никакими неприятностями, и ему хотелось как бы выставить себя в более несчастном положении, быть может немногим лучше, чем положение Алены. Он даже старался говорить каким-то слабым, больным голосом.

— За что ж таскать-то... — сказала Алена, отвечая на его слова о следователе, — кабы ты нарочно... что ж с пьяного человека взыскивать, мало что бывает...

Она не договорила, закрыла глаза и закусила бледные губы.

— Больно тебе? — спросил Спиридон, чуть наклонившись с табурета.

Алена слабо кивнула головой, потом опять застонала и заметалась.

А Спиридон смотрел на нее и думал: «Неужели она все-таки выживет?»

Вошла сестра, оправила одеяло, взяла руку больной и, отвернувшись, стала пробовать пульс, потом мигнула Спиридону, чтобы он уходил. Но в это время Алена от-

крыла глаза и, найдя ими мужа, сказала слабым голосом:

— Ну, иди... может, не увидимся... найми копать картошку-то, не справишься один. А платье Устюшке отдай... пусть носит... меня все равно в каком...

Потом, отдышавшись, прибавила:

— Жениться бы тебе... что чужому человеку платить. Я уж думала о Катерине... хорошей души баба.

— Еще что выдумала! — сказал Спиридон. — Может, бог даст, оправишься.

Спиридон стоял с шапкой в руках около койки и, не зная, как проститься, молча поклонился жене поясным поклоном, как кланяются покойнику, потом пошел опять неловко, на цыпочках, из палаты все еще с пушком ваты на носу.

Придя домой, в свою пустую избу, где еще так недавно жена хлопотала у печи, Спиридон сел на лавку и долго сидел, опустив голову. Потом отодвинул ящик стола, ища чего-нибудь поесть, но ничего не нашел, кроме хлеба и холодных, ослизлых картошек на загнетке в чугунке.

И от этой пустоты и тишины чего-то остановившегося, от потери навеки своего неизменного заботливого друга, от этих холодных картошек опять в горле начал набираться комок слез.

Ведь она как мать была для него всю жизнь, даже теперь, умирая от его руки, думает и заботится только о нем вплоть даже до его женитьбы. А он не ценил и даже не замечал этого, и вот только теперь, когда ее нет с ним, когда холодная картошка в чугунке говорит о ее, быть может, вечном отсутствии, — теперь он почувствовал.

И если не удастся спасти ее, то ради ее такой любви остаться ее памяти верным до могилы. И лучше есть эту холодную, ослизлую картошку, чем допустить, чтобы ее место заступил какой-то другой человек, хотя бы та же Катерина.

IV

А когда он на другой день пошел в больницу, он подумал, как же теперь будет хозяйство: если она умрет, ему одному не справиться, нанимать — жалко денег.

Конечно, самое лучшее — жениться на Катерине. Но у Катерины хоть и душа хорошая, а у нее трое ребят. Тогда лучше Степанида, у нее один малый.

А если Алена останется жива, то работать не сможет, и все равно придется нанимать, потому что, пока она жива, жениться на другой нельзя, да еще за ней ходить надо человека нанять.

И когда он подходил к больнице, ему подумалось, что вдруг сестра выйдет и скажет:

«Слава богу, твоя старуха останется жива, только тебе придется взять ее домой и нанять какую-нибудь соседку, чтобы ходить за ней, бог послал крест, надо терпеть, она уж не работница».

Спиридон стал соображать, во сколько это обойдется, и никак не мог сосчитать.

Подавленный этими мыслями, он вошел в больничный коридор и робко, точно ожидая своего приговора, встал с шапкой у двери.

Сестра встала из-за белого, выкрашенного масляной краской столика, за которым она что-то писала и, увидев Спиридона, подошла к нему.

— Ну... — сказала она.

Спиридон заморгал, у него замерло сердце, и на лбу выступил холодный пот. Он даже утер его шапкой.

— Что же делать, надо терпеть, — сказала сестра в то время, как у Спиридона при первых ее словах мелькнула мысль о хозяйстве, — в ночь скончалась, — договорила сестра. — Она там, ее вынесли в мертвецкую,— прибавила она.

У Спиридона как-то против воли вырвался вздох облегчения. Но при мысли о том, что хозяйство его осиротело, что он уже никогда не увидит свою старуху, и при слове вынесли, он почувствовал в горле опять знакомый ком и неожиданно для себя стал как-то нелепо, по-бабьи всхлипывать, так что самому стало стыдно.

1928

Ю. Олеша

ПРОРОК

Козленков стоял на холме. Был жаркий летний день необъятность, чистота, блеск. Среди необъятности стоял Козленков совершенно один, в парусиновой блузе, в сандалиях, в картузе, надетом по-летнему: кое-как. Лицо ощутимо покрывалось загаром.

Зелени было мало. Ландшафт был суховат. Чернели в грунте трещины. Грунт был звонок.

По крутой тропинке, ведущей на холм к подножию Козленкова, быстро взбирался ангел, огромный ангел с черными — до плеч — вьющимися волосами, не имеющий крыльев, могучий. На нем был шлафрок из красной, темной материи, в руке — посох, под шлафроком круто двигались колени.

Он вырос перед Козленковым на краю холма. Высокий посох с цветущими ярко-зелеными почками уперся в сухую землю среди травинок. Посох блестел, как блестит мебель. Почки походили на головки птенцов... Ангел стоял прямо. Кадык его имел форму кубка. Ангел протянул руку к плечу Козленкова.

В этот миг Козленков проснулся. Проснулся он, как просыпался ежедневно — около восьми часов утра. На столе зеленел остаток вчерашнего ужина: лук, салат. Козленков выпил стакан воды залпом.

Он умылся, оделся; было веселое утро, лето. Козленков выглянул в окно; ему показалось, что кое-где в зелени блестит роса, что вспорхнувшая птица уносит каплю. Всякое проявление воды тешило его, потому что после лука его мучила всю ночь жажда. По коридору бегала, прячась и взвизгивая, соседка.

Напившись чаю, он вышел из дому. Дворник сказал, что в соседнем доме повесилась девушка. Козленков поспешил посмотреть.

В соседнем доме посреди двора разбит был садик.

Из окон смотрели жильцы. Козленков подумал: «Опоздаю на службу», — однако не устоял. Происшествие случилось на черном дворе. Козленков остановился под аркой. На него двигалось шествие: бабы, мужчины в жилетках, корзина с овощами, собаки, дети, метла; вынутую из петли несли на руках.

Она лежала на шествии, живая, ярко освещенная солнцем, в платье с напечатанными розанами. Вдали трубил рожок. Ехала карета. Козленков разузнал: девушка была несчастна, брошена, голодала.

Вдруг Козленков увидел темное, невскрытое после зимы окно, вату между рамами, гарус, свечу. Окно никакого отношения к самоубийству не имело. Затем: на крыльце сидела впавшая в детство старушка. Старушка ела, брала еду кусочками с колен.

«Горе, — подумал Козленков. — Ах, горе».

И стало ему всех жаль.

— Надо помочь! — громко, воодушевленно сказал он.

Он хотел сказать так:

«Я видел человеческое горе. Нужно помочь всем людям сразу. Нужно немедленно сделать нечто такое, что уничтожило бы человеческое горе разом».

— Помогут. Жива, — ответили из толпы.

Силой, которая могла бы уничтожить человеческое горе разом, Козленков не обладал. Он знал, что такой силы нет. Нужно ждать, накапливать эту силу.

Желание Козленкова было так страстно, порыв так неудержим, что согласиться хотя бы на минутное ожидание он не мог. Поэтому он подумал о чуде.

— Нужно сделать чудо, — вздохнул он.

На службе, в обеденный перерыв, жуя булку с колбасой, Козленков вспоминал утреннее происшествие. На глазах у него блестели слезы. Он сдерживал плач, глотать становилось труднее. Он воображал картину.

Он входит во двор с цветущим посохом. В садике поют птицы, качаются на кустах цветы, люди в страхе бегут с подоконников. Навстречу несут девушку. В пролете арки видна старушка, окно с гарусом. Он касается ладонью девушкина лба. Тотчас же окно поднимается ввысь, поворачивается к воздуху и солнцу, распахивается во всю ширь, свисают с подоконников пеларгонии, ветер раздувает занавески... Тотчас старушке возвра-

щается молодость, сын; они едят арбуз, сидя за деревянным, чисто вымытым столом. Арбуз снежен, ал; косточки чисты, блестящи, — косточками можно играть в блошки. А девушка... Все счастливы. Мечты исполняются, возвращаются утраты.

Козленков вдруг встал. Он вспомнил сон. С грохотом стул отошел назад. Поднялись дыбом страницы бухгалтерской книги.

Он открыл дверь в соседнюю комнату и переступил порог. Тотчас же все головы пригнулись. Он видел: открыты окна, за окнами — зелень, ветви. Тотчас же окна пришли в движение, какая-то сила, какой-то дух полетел на них, кидая во все стороны створки. Поднялись и зашумели ветви. Со столов, образуя смерч, взлетели бумаги. С громом захлопнулась за ним дверь. Противоположная открылась сама собой.

И — самое главное — он видел: все головы пригнулись, все головы упали ниц. Конечно, он знал, что причина — сквозняк. Но он видел также, что никто не может поднять на него глаз. И оценить значение этого он мог как угодно.

Он подумал: «Все упали передо мной ниц. Я иду. Я видел ангела. Я пророк. Я должен сделать чудо». Он прошел через ряд комнат, производя сквозняк, бурю. Путь его сопровождался криками. Крики означали:

— Осторожно! Двери! Двери! Ловите бумаги! Разобьется окно! Швейцаров нет!

Но Козленкову не запрещено было придавать крикам иное значение. Одни казались ему выражением восторга, другие — гнева. Он шел, как пророк, — долгожданный для одних, ненавидимый другими. Он исполнял волю пославшего.

Окна хлопали, вспыхивало стекло, в саду оттого летали молнии. И вот наступил экстаз. Козленков предстал перед главой учреждения. Глава стал медленно подниматься в кресле своем навстречу Козленкову. Пророк стоял взъерошенный сквозняком, бледный, с горящими глазами, задыхающийся.

— Выдайте мне жалованье за две недели вперед, — сказал Козленков. И через минуту он возвращался обратно, держа в руках записку главы учреждения.

— Чудо, — говорили вокруг. — Чудо. Чудом получил, чудом!

Деньги были получены. Он вышел. Все бросились к окнам. Он шел без шапки, встречные оглядывались.

Затем он искал вынутую из петли девушку. На том черном дворе сказали ему, что девушка в больнице. Его ударил неизвестный человек.

— Да не того бьешь, — закричала баба, — за что бьешь!

Неизвестный ударил его снова кулаком между лопаток. Козленков странно выпрямился от этого удара. И от внезапного выпрямления легко, как-то поджаро, пустился по лестнице. Лицо его светилось. Он знал, что просто его приняли за другого, за виновника девушкиных несчастий. Он смолчал, потому что принял на себя вину другого. Осмеянный, он пронесся по двору.

В садике том играла мячиком девочка. Мячик попал в кустарник. Козленков полез по траве, по черной почве газона, разнял кустарник и поднял шар. С крыши видел все это дворник. Голову Козленкова усеяли лепестки, в ладони торчал шип.

Дворник, осиянный высотой, небесами, гремел над миром. Проклятья неслись с высоты. Фартук его развевался. Как раз то расположение материи, напоминающее свиток, какое бывает на мраморных ангелах, образовалось у ног дворника. И как раз дворник стоял над вершиной лестницы — обыкновенной пожарной лестницы, — но в лучах солнца лестница пламенела, — и Козленков ужаснулся.

Козленков приближался к больнице. Лепестки, тихо кружась, слетали с его головы.

— Я не могу, — вздохнул он. — Зачем послали мне ангела?

И он пошел домой. Во дворе у крыльца сидела прачка Федора.

Она продавала овощи. На крыльце стояла корзинка с грубыми — но с виду изваянными — капустными головами. Козленков взглянул. Капустная голова с завитыми листами — именно завитки эти мраморной твердостью и прохладой листов произвели тревогу в памяти Козленкова. Подобного статуйного характера завитки он видел сегодня на фартуке дворника.

Прачка держала в руках капустный шар. Была она в красном одеянии, могучая. Так и вчера в тот же час стояла она над корзиной, и вчера Козленков купил у

нее молодого луку. Теперь он сделал то же самое. Прачка уложила капустную голову в корзину (голова скрипела в ладонях, как вымытая) и достала лук.

«Плохая прачка», — подумал Козленков. Вчера вечером, ложась спать, он досадовал на жесткость простынь. Вчера же наелся он луку. Ночью он просыпался от жажды. Ему было жарко, он поворачивал подушку — и когда, мающийся и сонный, обретал обратную ее, прохладную сторону — наступало исцеление и успокоение. Но вскоре и эта сторона покрывалась жаром.

Удивительный день кончился. Вечером снова Козленков ел лук. Хлеб с маслом и лук — горький, сладкий, потный, с подмышечным запахом. Перед тем как ложиться, он пошастал рукой по натянутой на матрас простыне, дабы сгладить невидимую ее шероховатость.

Прошедший день был страшен. Козленков заснул. Вновь мучила его жажда, сушь, вновь сушь распростерлась перед ним: желтый, звонкий ландшафт, пористый грунт. Он спал. Тело его бунтовало, он метался, ища обратную сторону подушки, он протестовал спящий, он негодовал на самого себя, действующего во сне, протестовал против самого себя, вновь поднимающегося на холм... Он мычал во сне, бил по одеялу руками...

Но вновь остановился он на холме, и вновь снизу пошел на него ангел в красном одеянии, черноголовый и могучий. В ту секунду, когда видение началось, в теле спящего Козленкова началась изжога. Именно подступ изжоги к горлу, ход ее откуда-то из недр пищевода и был в сновидении появлением и ходом ангела. Но то знание, которое приобрел Козленков днем, — знание о сходствах, замеченных им между целым рядом предметов, — отразилось на работе сонного его сознания, — так как знание это было разоблачительным по отношению ко сну, то сон ослабел, сон готов был прерваться.

Еще секунда — и спящий воспрянул бы... И действительно, Козленков через секунду проснулся, успев увидеть перед собой на краю холма прачку Федору.

Козленков проснулся. Было светло. Он напился воды, засмеялся и заснул.

1929

М.Горький

РАССКАЗ

Когда человек узнал, что в трех днях пути от его становища пришлые люди вспахали в степи машинами огромный кусок никогда еще не паханной земли и машинами засеяли его, человек подумал, что это такие же древние люди, каков он сам, но глупее его.

В старом теле его жила тысячелетняя душа, и он знал: горе и радость всех людей степи в том, чтоб пахать землю, сеять и собирать хлеб, а все иное, что делают люди, можно не делать. Земля родит человека для работы на ней, а когда человек изработает силу свою, она поглощает тело и кости его.

Летом над землею знойное солнце плывет медленно, а за ним прилетает с востока горячий ветер и, выжигая хлеб, травы, сушит человека тоской, сушит страхом голода. Изредка ветер сгоняет в степь черные тучи, они поят землю дождем, и тогда душа радуется — будет много хлеба. Зимою солнце скользит в небесах быстро, пронзительно холодный ветер носится по степи, шуршит по земле, свистит, скупо сеет снег, а по ночам поет всегда одну и ту же песню:

«Восходит солнце и заходит, а земля пребывает вовеки.

Род приходит и род уходит, а земля пребывает вовеки».

Человек не думал о тяжелом, уничтожающем смысле этой песни потому, что он слишком хорошо знал смысл ее. Думал он о своем скоте, о жилище своем и хлебе, думал иногда о жене своей, но думал всегда только о своем и почти никогда о себе.

Он был уверен, что нет машины, которая поборола бы силы зноя и холода, и не изменит машина путь злых ветров.

Человек этот был издревле привычен жить надежда-

ми на помощь извне от бога, от жреца и знахаря, — жить без веры в силу разума своего, темной надеждой на тайные силы вне человека.

Когда пришла пора уборки хлеба, он, полудикий степняк, собрав скудный урожай, пошел посмотреть, как собирают хлеб машинами пришлые люди. Может быть, удастся посмеяться над ними.

Широкоплечий, коротконогий, в тяжелых сапогах, в толстом кафтане цвета дорожной пыли, он стоял среди степи, точно вырубленный из камня, серое бородатое лицо его — тоже каменное. Между шапкой, сдвинутой на брови, и бородою недоверчиво, угрюмо светились темные глаза — «зеркало души». Волосатые ноздри его равномерно дышали, шевеля серые усы.

Он смотрел, как пришлые люди суетятся вокруг сооружения, мало похожего на машину, а скорее на диковинного зверя, каких иногда видишь во сне. Длинная шея зверя не имеет головы, а хвост его, весь из ножей, сбоку огромного, неуклюжего туловища. И туловище так нескладно, как будто уже измято, изломано степным ветром. Трудно понять, как работает это чудовище из дерева и железа, как управляют люди силою его. Люди — обыкновенные, но — молоды они. Двигаются быстро, а не похоже, что работают торопливо. Если эта машина опрокинется набок, она может придавить не менее пятерых.

— Ее как звать? — спросил человек.

— Посторонись, — ответили ему, но он не сошел с места.

Сбоку или впереди чудовища дрожит и фыркает железный медведь на колесах, толстую шею его оседлал парень без усов, почти мальчишка, пиджак на нем вымазан маслом и как будто пошит из кровельного железа. Парень, толкая ногами свою машину, повернул колесо, широкие ободья железных колес тоже повернулись, большая машина покачнулась, застучала и покатилась по сухой земле, сметая хвостом колосья хлеба, подхватывая их десятками тонких, как гвозди, железных пальцев; колосья поплыли над хвостом машины куда-то в бок ее, она тряслась и ревела от жадности, пожирая их, из перерубленной шеи машины полетели солома, полова, пыль.

Человек стоял, глядя вслед ей, рот его открывался и закрывался, тряслась борода, казалось, что он кричит, на голову и плечи его сыпалась солома, летела в лицо, в бороду, он покачивался, тыкал палкой в землю, передергивал плечами, поправляя котомку на спине. Потом, точно его выдернуло из земли, он тяжело, но споро побежал за комбайном, помахивая палкой, котомка за спиною прыгала, точно подгоняя его. Бежал не один, бежали и еще другие мужики, но ему, видимо, хотелось обежать вокруг машины, он обгонял всех, но не успевал за нею, спотыкался, и все казалось, что он кричит.

Все-таки он догнал комбайн, когда тот пошел тише, догнал и, рискуя попасть под ножи косилки, тяжело запрыгал рядом с нею. Какой-то длинный человек оттолкнул его.

— Дьявол, — хрипло сказал он, отирая пот с лица широкой, чугунной лапой.

Комбайн остановился, он подбежал к рукаву, из которого в подставленный мешок сыпалось толстой струею зерно, и, сунув пригоршни под золотую струю, зачерпнул ими зерна. Несколько секунд он смотрел на него, приподняв пригоршни к лицу, согнув пыльную, тугую шею. Потом, показывая зерно окружающим, сказал хрипло и задыхаясь:

— Настоящее... Дьяволы! А?

Рядом с ним стояли такие же, как сам он, но помоложе его, они смотрели на машину также очарованно, но и как бы испуганно и завистливо. Старик бросил зерно в мешок и тотчас же снова, сунув руку под струю, схватил горсть зерна, бережно спрятал его в карман кафтана. То же сделали еще двое-трое. Один сказал, вздохнув:

— Придумано!

— Не угонишься за ней, — сказал другой, а третий хмуро протянул:

— Где-е там...

Было сказано и еще несколько неопределенных слов, но ни в одном из них не прозвучала радость. Гордость и радость звучали только в словах тех людей, которые рассказывали о внутреннем устройстве машины, о ее работе.

— Все ж таки около нее наши хлеборобы, — задумчиво сказал кто-то.

— А кто ж? Земля требовает опыту...

Утешив друг друга, люди эти отошли прочь от рабочих «Гиганта», а тот, старый, коротконогий, — остался.

Он поднял с земли палку и, точно шпагу, вытер конец ее полой кафтана, затем, вытряхая пальцами солому из бороды, медленно пошел вокруг машины. Он щупал ее руками, взглядами, легонько постукивал палкой, размышляюще останавливался и снова шел, потряхивая бородой, поправляя шапку. Каменное лицо его стало как будто шире, — может быть, он стиснул зубы?

Потом он стоял в толпе, на митинге, и слушал речи ораторов, опираясь на палку обеими руками, глядя в землю. Изредка он шарил палкой у ног своих, щупал землю, как бы пробуя: та ли это земля, какою она всегда была?

Раздавали награды рабочим, наиболее энергично потрудившимся на новом гигантском поле. Когда награжденные получали подарки, он пристально, из-под ладони, смотрел на них. Получила награду девица, работавшая на тракторе.

— И — девке, — сказал старик соседу, потом, усмехаясь, добавил: — Заманивают.

Вскоре он пошел прочь, равномерно, через каждые три шага, тыкая палкой в землю, не оглядываясь. Возможно, что глубоко взволнована была тысячелетняя, покорная силам природы душа его.

Может быть, он завистливо думал, что новые люди способны побороть и суховей, который насмерть выжигает хлеб, и мороз, убивающий зерно в земле.

1929

А.Перегудов

ЧЕЛОВЕЧЬЯ ВЕСНА

А. С. Яковлеву

1

В первых числах марта буйно плясали метели вокруг березняков и осиновых перелесков, седыми космами хлестали поля, болота, овраги, заметая людские дороги и звериные тропы. А когда утихли метели — подули теплые .ветры, отмякли ели и сосны, посинели снега. И ночи были хрустально-ломки, с небольшим морозцем и крупными звездами. Ночами снега покрывались плотным настом, и по насту хромой лесник Нефед ходил за Синь-бор, в чернолесье, слушать токованье тетеревов.

Тетерева ворковали неуверенно и робко — солнце еще не разогрело их кровь и не насытило тела неутоляемой жаждой любви, — но токовище уже намечалось: на огорке у Ржавого болота. Здесь лесник построил шалаш, утренними зорями слушал, как с каждым днем крепли тетеревиные песни.

В предутре по-зимнему хрустел снег, по-зимнему желты и холодны были зори.

Перед восходом солнца чуфыкал токовик, как будто шоркал метлой по железному листу. Оживало безмолвие болот. Из шалаша Нефед видел, как на высокой осине косач, выгнув шею и распушив хвост, начинал свою песню.

Из-за жухлых камышей вылезало большое красное солнце и алым светом заливало чернолесье, и уже по-весеннему голубело небо, лиловели темно-коричневые верхушки берез; бурые ветки осин казались влажными.

Косач долго звал самок, но самки не шли, в них еще не проснулась любовь.

Нефед думал, что вот так же еще не пришла любовь и к его Оленке. А ведь каждую весну зверям и птицам,

деревьям и травам, всему живущему на земле приходит пора любить. И может быть, этой весной с первыми проталинками в березовой горечи черполесья или позже, в дни цветения черемухи, пора любить придет и его дочери.

У зверей и птиц, у деревьев и трав любовь приходит и проходит стихийно-просто: веснами в смолистом ладане краснолесья, в горьком запахе распускающихся листьев, на влажной земле, обласканной крепнущим солнцем, ликующая страсть всегда приносит радость зарождения новых жизней.

Двадцать лет смотрел Нефед на жизнь лесов и болот — в ласковых апрелях, маях, в жарких июнях, июлях, в золотых и ненастных осенях, в морозных и метельных зимах — и, следя за зверями и птицами, понял: только зарожденные веснами крепки и радостны бывают жизни.

Возвращаясь с токовища, загадывал: если в апреле или мае придет Оленке пора любить — крепка и радостна будет ее жизнь.

Согретый солнцем наст рыхлел, не держал лесника, ноги глубоко проваливались в снег. На болотах желтели зажоры. Под снегом сочилась вода, в лесу плакали капелями оледенелые ветви сосен.

Лес был полон снега, но в обмякшей земле уже проснулись корни, и пьяные соки побежали вверх по стволам, по ветвям деревьев — в мохнатые шапки сосен, в широкие лапы елей, — и над сырыми пластами снега повеяло смолистым духом хвои. Первыми почуяли этот дух рябчики и из березняков, где зимовали, перебрались в глухие места краснолесья. Бойко, наперебой, застучали в Синь-боре дятлы, — только мартами так стучат дятлы, зазывая подруг, выдалбливая дупла для будущих гнезд.

Лоси линяли, ходили понуро в талых снегах, прятались в чащах; у них начинали расти новые рога, теплые на ощупь, покрытые мягкой шерстью.

В оврагах, под суглинковыми скатами, волчихи рожали слепых детенышей, голодными ночами стерегли на опушках лосей: в эти дни легко было убивать сохатых — у них не было рогов для защиты и наст в кровь резал их ноги.

Зимник в Синь-боре отсырел, набух коричневым на-

возом, и в поле за оврагом по навозным дорогам ходили темно-синие, с белыми клювами грачи.

«Ишь, прилетели! — подумал Нефед. — А вчера их не было. Дружно весна идет. Солнце борет зиму».

Над оврагом, под желтыми соснами, — сторожка. На сторожку февральские метели намели сугроб, пуховым платком покрыли старушечье лицо избы, с двумя раскосыми глазами-окнами. Левое окно выше правого и вкось покачнулось; кажется: хитро прищурила глаз изба-старуха, весеннего хмелю хлебнула, из-под белого платка пряди гнилых соломенных волос растрепала. А выбежажала Оленка на крыльцо — вот она, молодость! — протрезвела старуха, горько заплакала капелями, намокло коричневое лицо, и солнце не могло высушить его: бежали, бежали слезы.

Оленка с крылечка, прищурив глаза, на солнце посмотрела, на крутой скат в овраг, где летом студеный ключ играет, на желтые сосны Синь-бора, жадной грудью хлебнула мартовский воздух, свежеразрезанным арбузом пахнувший. Холодная капель сверху за ворот упала, повела плечами девушка, засмеялась: не над слезами избы-старухи, а от бодрой свежести весны, от ласкового солнца.

— Ух ты! — крикнула и, гремя подойником, побежала в хлев к Зорьке.

У хлева разопрелые кучи навоза легким паром курились. Горласто кричал красный петух, хорохорился, распущенным крылом чертя землю. Куры, одурманенные солнцем и тучным запахом навоза, сами присаживались перед петухом, поднимали хвосты и опускали головы. Красный самец яро топтал их, и счастливые самки, отряхиваясь, бежали копаться в теплом навозе.

Оленка задержалась у хлева, посмотрела на куриную радость, и в глубоком вздохе поднялась девичья грудь, и по лицу скользнула печаль.

— Оленка! — крикнул, подходя, Нефед.

— Ай! — вздрогнула девушка и, брызнув по талому снегу горячим смехом, убежала в хлев.

«Ох как выросла за зиму девка! — подумал лесник, впервые по-новому взглянув на дочь. — На матерь Елену и царя Константина, двадцать первого мая, семнадцать годов стукнет. Скоро настанет Оленкина пора любить — человечья весна».

2

Бурно шла весна, горячими вздохами растопляла снега. На полуденных скатах холмов, на припеках и косогорах появились черные проталины. Замолчала капель в лесу — обтаяли оледенелые ветви. В чернолесье запахло отмокающей землей и набухающими почками. В ольховых зарослях у ручьев и в низинах появились первые стайки зорянок, запели несложные свои песенки.

По скатам оврагов зажурчали ручьи. Сова-неясыть в дупле старого дерева на гнилую труху древесины уже положила яйца. В поля прилетели жаворонки, на болота — чибисы, бекасы, чирки. После зимних своих кочевок появился на опушках леса ястреб-тетеревятник. Утрами, когда косачи, токуя, изнывали в любовной истоме, камнем падал на них ястреб, острыми когтями и твердым клювом гасил буйную жизнь птиц.

Высоко над лесом в синем небе соколы-сапсаны завели свои брачные игры.

В Синь-боре осели пласты снега, обтаяли муравьиные кучи, гуще потянул хвойный дух. Налитые соками земли, расправились упругие ветви. В дуплах куницы и белки рожали детенышей, и был уже первый помет у зайчих.

А когда из лесов, полей, болот, перелесков ушел март и ласковый апрель горячее забрызгал солнцем, — на сугреве семена трав разбухли от влаги растаявшего снега, пустили бледные ростки, по откосам оврагов зацвели первые цветы: золотые головки мать-мачехи и голубые подснежники.

Утрами Оленка доила Зорьку. В жесть подойника резко били тонкие молочные струйки. Нагнувшись над выменем, девушка вдыхала знакомые запахи коровьего тела, свежего навоза. Зорька, повернув голову и раздувая ноздри, дула в лицо теплым дыханием, и Оленка, переставая доить, поправляла растрепавшиеся волосы, сердито говорила:

— Ну, балуй!.. Ишь ты!

На куче навоза ждали куры и, когда девушка выходила из хлева, бежали за ней, прося утреннего корму. Оленка в подоле выносила овса и, плеснув на землю зерна, звала зазевавшихся хохлаток:

— Тип... тип... тип!..

Отец каждый день, до зари еще, уходил в шалаш на Ржавое болото слушать тетеревиное токовище; до полдня девушка была одна. Подоив корову, цедила в крынки молоко, мела избу, готовила обед.

Потом, управившись с делами, перед кривым зеркальцем на стене заплетала в косу волосы цвета спелой ржи. В дешевом зеркальце кривилось лицо, ломался нос, распухали щеки, и не знала девушка, красива она или нет. Хотелось верить отцу, который говорил: «Ты, Оленка, лучше матери, а мать твоя на селе первой девкой слыла».

Не помнила девушка матери, рано умерла она. На сельском кладбище, в семи верстах от сторожки, за зеленой оградкой ее могильный холмик.

Солнечный свет широким потоком бил в мутно-зеленые стекла окон, стлал в избе золотые половички и, задевая край зеркала, играл на потолке круглым зайчиком.

Конец косы Оленка завязывала розовой лентой, потом повязывалась красным, с белыми горошинками, платком, надевала ватную кофту, шла в овраг.

По суглинковому скату журчали мутные ручьи, на дне оврага они пенились желтой пеной, размывая синеватые пласты снега. Влажная земля с вялой прошлогодней травой мягко оседала под ногами Оленки, за оврагом, у болотца под яловичными башмаками захлюпала вода. Болото пестрело желтыми кочками, белыми пятнами нестаявшего снега, голубыми лужицами. Близко от девушки играли в воздухе хохлатые чибисы; солнце сине-зелеными отливами вспыхивало на их темных шеях и крыльях. Испугавшись человека, чибисы, перекрикиваясь, отлетели к сухим камышам.

Прыгая с кочки на кочку, Оленка попала ногой в неглубокую лужицу.

— Ох! — и села на кочку.

На дне лужицы стрелками поднялись травинки и ржавыми медными пятаками лежали прошлогодние осиновые листья. Девушка нагнулась над лужицей, и вдруг на ровной поверхности воды всплыло молодое лицо в красном платочке. Оленка нагнулась ниже, боясь дыханием потревожить голубое зеркало. Девичье лицо смотрело на нее карими глазами в тонких подковках бро-

вей, пухлые губы похожи были на спелую малину, щеки розовели крепким румянцем.

— Вот я какая! — и сбросила красный платок.

Спелой рожью зажелтели внизу волосы, в радостной улыбке сверкнули зубы.

Долго смотрела Оленка на молодое девичье лицо, кивала ему, и лицо, смеясь, отвечало поклонами.

Высоко в небе тугими струнами звенели невидимые бекасы.

А когда поднялась девушка и лениво повязала платок, в неясном томлении заныло тело. Горели щеки, поиному стучало сердце, в громком крике хотелось выплеснуть свою радость, и было грустно, тревожно, слезы туманили далекие перелески, влажную землю и небо.

3

Когда Нефед вернулся с токовища, Оленка сидела на ступеньках крыльца, латала рубаху. Лесник положил на верхнюю ступеньку убитого косача, снял картуз, пригладил рыжеватые лохмы волос.

— Хорошие тока начинаются. Пяток можно было бы настрелять, да я жалел. А одного убил — не выдержал.

Дочь глубоко вздохнула и встала.

— Обедать, что ли?

Не взглянула на птицу, не погладила, как в прошлые весны, блестящие черные перья, красные брови, не заглянула под закрытые веки, в мутные, умершие глаза.

— Ты что, Оленка?

— Так, сама не знаю... взгрустнулось что-то... Одна и одна, все одна...

Смахнула рукавом слезинки и ушла в избу.

За обедом лениво жевала хлеб, лениво опускала в похлебку кленовую ложку.

Нефед внимательно смотрел на дочь, впервые заметил упругие груди под кофтой, томление в глазах, ленивую истому девичьего тела. И сам забеспокоился:

«Вот и пришла Оленкина пора любить. Что теперь делать?»

Жесткой ладонью погладил голову дочери.

— Что, Оленка?

— Ничего.

— Да... да... Весна идет, и зверь и птица радуются, деревья соком наливаются... Да...

Нахмурил лохматые брови, как будто трудную задачу решая.

— Так... Так... А я ноне на село хотел было сходить. Завтра базар на селе.

— Что ж, ступай.

— Завтра вечером вернусь. Не забоишься одна-то?

— Чай не впервой.

— А то вместе пойдем? А? Пойдем-ка, глядишь, купим чего. Пойдем вместе, найдем двести, разделим пополам. Так, что ли?

Не улыбнулась Оленка.

— Неохота мне идти-то.

— А ты пойдем-ка, пойдем... На базаре народ посмотрим, в трактире на людях чайку попьем.

— А как же Зорька-то — недоена останется?

— Ну так завтра утречком пораньше встанем, управимся и пойдем. А? Ну вот и ладно.

Весь день у сторожки над резным скворечником суетились и пели скворцы. В предвечерье протянули над лесом большие стаи гусей с юга на север. Сверху мягко падал их радостный гогот.

Вечером в желтой заре над болотом звенели бекасы, свистели быстрые крылья чирков и впервые этой весной в непролазных камышах заохала выпь.

Ночь была синяя, колкая, с зелеными звездами. Морозец паутиной заткал студеные лужи, выпал инеем на полянах. За день земля надышала в небо потом разогретых болот, перелесков, хвои, и ночью за влажными испарениями очень сильно мерцали звезды.

Лесник часто выходил из сторожки — не спалось ему в эту ночь, — в одной рубахе, босиком, подолгу сидел на крылечке, не чувствовал свежести ночи и холодных вздохов оврага, где еще лежал снег.

— Вот и выросла Оленка, — шептал Нефед, ковыряя голой пяткой застывший песок под ступеньками. — Заневестилась. Сама-то еще не чует, что с ней, а уж томится... Зацвела...

Перебирал в мыслях знакомых парней на селе, кому из них девку отдать:

— Мишка Колобашкин не подходящ, выпивает ча-

сто. Петька Сахаров — озорник, картежник. Ваня Сухов, Ваня Лаптев, Сашуха Новоселов хорошие парни, а не лежит к ним сердце. Кого же выбрать?

А выбрать надо. Загадала дочь загадку, не скоро разгадаешь.

Вздрогнув от свежести, шел в избу.

На полу у печки спала Оленка, раскинула белые крепкие ноги, с крутых плеч сползла рубаха. Жарко дышит девушка, первым цветением в человечьей весне цветет ее тело.

Зеленый звездный свет сочится в окна.

В зеленом звездном свете в лесах, болотах, кустах спят звери и птицы. Только волки рыскают на опушках да глазастые совы летают. Деревья наливаются хмельным соком, лопаются почки, зябнут первые цветы.

В хрустальной ночи звенят по дорогам, по скатам оврагов ручьи.

4

У села зашли на кладбище, на родимую могилку. В оградке черемуха уже пустила листочки, на влажном холмике зеленела трава. Не развернув еще листьев, цвели орешник, береза, ольха. На припеке толклись первые мошки.

Над могилой лесник снял шапку и долго стоял, опустив голову. И девушка взгрустнула над матерью. Не помнила ее, а по рассказам отца мать необыкновенной казалась — вольной и смелой. Восемнадцать лет назад полюбила она кудрявого лесника, без родительского благословения, без венчания церковного убежала к нему в лесную сторожку. Зашебаршило село в ту пору, закаркали старухи:

— Не будет счастья... Накажет бог...

А счастье было такое, что многим людям и не грезилось...

После смерти Оленкиной матери село успокоилось, про грешную лесникову жизнь толковать перестало. Редко к людям ходил Нефед, не любил пустых разговоров. Один, без советов и помощи, без бабок, вырастил дочь.

Люди считали его суровым, чудным, не знали, каким хохотом в играх с Оленкой гремел он на полянках,

какие сказки про птиц и зверей дочери рассказывал...

От села плыл базарный гам и колокольные перезвоны.

На церковной площади белели ряды палаток. Кипели в людской гуще яркие платки, картузы, шапки. Свистели в пищалки и дудки мальчишки, зазывали покупателей торговцы.

По улице взад и вперед ходили кучки парней — пиджаки нараспашку, картузы заломив на затылок. Под переборы гармошек кричали песни.

Нефед с дочерью прошелся по базару. Парни заглядывали в лицо Оленки, иногда говорили:

— Здорово, милая!

И с опаской поглядывали на лесника.

Девушка стыдилась, отворачивалась, а в глазах лукавые огоньки играли, горели щеки и пытливый взгляд следил за парнями.

У галантерейной палатки лесник остановился.

— Ну, выбирай обновы.

Затараторил торговец, совал в руки шпильки, гребенки, булавки.

Оленка выбрала голубую ленту, земляничного мыла кусок и маленькое зеркальце, в котором не кривился нос и не распухали щеки.

— Ну теперь в трактир чай пить.

На обсохшем огорке у трактира пареньки-подростки играли в бабки, в жохи. Совали друг другу в потные ладони проигранные медяки, швыряли оземь бабки, крича:

— Жох!

— Бок!

— Ника!

Дребезжала на блоке трактирная дверь, распаренные чаем, выходили мужики посмотреть у кормушек лошадей, подкинуть им сена.

Прыскали из-под лошадиных ног воробьи, копались под кормушками куры, подбирая просыпанный овес, каркала на сарае ворона.

После яркой улицы в трактире показалось темно, и не скоро разглядели глаза свободный столик у стены.

За прилавком на полках пузатились чайники, большие и маленькие, столбиками — одна в одну — стояли толстые чашки, висели зеленые и красные жестяные подносы. На прилавке лежали копченые селедки, колбаса, яйца и в банках — огурцы, моченые яблоки, соленые грибы.

За столами, крытыми грязными скатертями, сидели мужики, парни, бабы. Пили чай, ели жареную колбасу, свинину, селедку, огурцы. Говорили громко, как через улицу, стуком крышки о чайник подзывали половых, в смехе скалили крепкие зубы, отдувались, отирая рукавами и подолами рубах медно-красные потные лица.

— Что угодно? — вынырнул худощавый парнишка в грязном фартуке, с порхающей салфеткой в руке.

— Две пары чаю.

— Слушаю-с. Еще?

— А еще поджарь фунтика полтора колбаски да яичек пяток бултыхни в нее. Ну-ка, проворь.

— Хлебца какого прикажете: черного или ситного?

— Давай ситного полтора фунта.

Через минуту половой уже бежал, высоко подняв растопыренные руки: в одной руке — два чайника, в другой — поднос с чашками.

Громыхнув поднос на стол, он выдернул из-за пояса салфетку, махнул ею два раза по скатерти и, отходя, сказал:

— Кушайте в аппетит.

Оленка засмеялась.

— Што? — улыбнулся Нефед. — Во какой ноне народ стал обходительный. Ну-ка сполосни чашки.

Над столами, над лохматыми — седыми, рыжими, черными — головами колыхался сизый махорочный дым, курился парок из чашек и чайников, пахло жареным луком, распаренными людьми, овчиной. За испариной и махорочным дымом на противоположной стене куски кумача с большими белыми буквами:

«Кооперация — путь к новому быту».

«Через кооперацию — к коммунизму».

Под ними портрет Ленина в рамке из бересты, большие бумажные листы с картинками и мелкой печатью, а под самым потолком надпись: «Красный уголок».

Лесник шумно втягивал под усы чай, пытливым

взглядом щупал знакомые и незнакомые лица парней, прислушивался к их разговорам.

Пьяно шумел Мишка Колобашкин; Петька Сахаров громко смеялся, теребя за ремень, как собаку за ухо, стоявшую на полу гармонь. Ваня Лаптев тоже, видать, выпил: никак не соберет растрепавшихся в улыбке губ, тыкает в зубы потухшей папиросой.

«Нет, не подходящи для девки, не подходящи...»

Хлопала, дребезжала на блоке дверь: выходили-входили картузы, шапки, платки, полушалки.

— Пожалуйте, — подал юркий половой шипящую на сковороде яичницу. — Кушайте в аппетит, — порхнула в руке салфетка и улетела под мышку.

— Ешь, Оленка, — расстегнул зипун Нефед, — пока горяча.

У девушки на носу росинками пот выступил — жарко; сняла платок, растрепавшиеся волосы пригладила.

В трактир вошел незнакомый парень, посмотрел по сторонам и сел под «Красным уголком». Старики приятельски закивали ему.

Нефед есть перестал, смотрит, что дальше делать будет парень. А тот — картуз на гвоздик, из кармана газету вытащил, у полового чайку спросил.

«Ишь, один, без компании», — подумал лесник, и все время, пока чай пили и доканчивали яичницу, поглядывал на «Красный уголок». А расплачиваясь с половым, сказал Оленке:

— Ты ступай-ко, подожди меня на улице, а я по своей надобности отлучусь.

Отвел полового в сторону, спросил:

— Чей это парнишка будет? Вон тот, с газетиной.

— Да Потапихи же вдовы сын. Чай, слыхал, как он лет шесть назад из села в город убег, учиться задумал. А теперь вот проявился. Слухи есть: в нашу школу учителем его назначают.

— Вот он чей... Как же, как же, знаю... Отец-то его, Степан, приятель мой был, вместе на тока ходили, лосей бивали. От смерти спас меня однажды Степан-то... Так, так... Свой человек, значит. Ну прощевайте.

Не прямо к двери пошел, а мимо «Красного уголка», чтобы еще раз поближе, повнимательней взглянуть в лицо парня.

5

С каждым днем крепнет весна, — не идет уже, а буйно льется потоками солнца, зелени, цветов. Сбежали ручьи, зацвели фиалки, первоцвет, ландыши, в зарослях кустов вспыхнули пурпуровые цветы медуницы. Появились стрекозы, в медовом цветенье ивы зажужжали пчелы. Над болотом затолклись комары. Вечерними и утренними зорями на опушках чернолесья тянули вальдшнепы, в сочной траве скрипели дергачи. Косачи токовали уже на земле, горячо и страстно бились за самок. Оплодотворенные тетерки начали класть яйца.

Буйно льется и Оленкина человечья весна: маятой тела, глубокими вздохами, упругим биением сердца, по-новому тревожным.

До полдня часы проходили легко и быстро: с куранми, Зорькой, уборкой в избе. После обеда отец обходит лесной участок, а девушка, оставшись одна, томится: на теплых ступеньках крыльца посидит, вокруг сторожки обойдет, в овраг спустится. В овраге, над ручьем, черемуха распушилась, зацветет скоро. На березке маленькие круглые листики показались, как будто кто-то, неисчислимо богатый, березку-невесту зелеными смолистыми грошиками осыпал-одарил.

Небо колоколом землю накрыло, кажется: вот если бросить камень высоко-высоко в край колокола — загудит он неведомым гудом, голубой медью разольется по лесам, полям, болотам.

Посмотрит Оленка на лучистое небо, на зеленую землю, и, бывают минуты, почудится ей, что она, девушка-золушка, в заколдованное царство попала: небо, овраг с желтыми скатами, березки, — все это неправдашнее, сказочное, — вот моргнуть глазами, и пропадет все, и очутится она на крылечке старой избы.

Редко, а бывают такие минуты, сжимается сердце от них, и грустно становится, и радостно.

«С отцом бы поговорить, уж не захворала ли я, — думает девушка, — да отца-то дома не бывает: то в лес, то на село».

Не знает она, что Нефед осторожно у мужиков и баб расспрашивает, что за парень Потапов, как время проводит, не пьет ли, не развратничает ли?

Отвечают мужики и бабы:

— Хороший парень, не баловень...

С самим Потаповым два раза встретился, поговорил, узнал, что зовут его Васей. Удочку закинул:

— Отец-то твой первеющий охотник был, а ты как?

— Что?

— Не займешься этим?

— Отчего ж, я тоже природу люблю, нет-нет да и пройдусь утречком в лес иль на болото послушать, что там делается.

— Без ружья?

— Нету ружья-то.

— А ты вот что, приходи-ка ко мне в сторожку. Сведу тебя на тока, ух и тока!.. С моим ружьем пойдешь. Не пожалеешь.

Обрадовался парень, согласился прийти в пятницу. А пятница — сегодня.

Ходит Оленка по оврагу, рвет цветы, не торопится домой, не знает, что сегодня гость будет.

На болоте птичий гомон послушала: в выгорах, водою залитых, утки крякают, кулички пересвистываются, над кочками чибисы играют. Над сенокосной полянкой жаворонки ручейками растекаются. Нежной флейтой поет в кустах иволга.

В сторожку пошла, когда солнце к Синь-бору склонилось.

Подходя к сараю, громкий смех отца услыхала:

«Что такое? С кем это он?»

Старуха-изба косое окно на две половинки распахнула, в окне чья-то спина в белой рубахе. Отворила Оленка дверь, видит: на столе самовар фыркает, на самоварном ушке — связка баранок, у окна на лавке — парень. Отец трясет лохматой головой, смеется. Увидал дочь, смеяться перестал, усы расправил.

— А это вот дочь моя, Елена. Ну, хозяйка, садись с нами чай пить.

Потонула взглядом в синих глазах парня, румянцем загорелась. А парень встал и руку протянул:

— Здравствуйте. Зовут меня — Вася. Будем знакомы.

Просто так, обходительно.

Села за стол, не знает, что сказать, как разговор повести. Отец выручил, рассказал, как он с Васиным от-

цом за Ржавым болотом на лосей охотился, как однажды раненый лось на них кинулся.

— Степан-то, отец твой, увернулся, а я не успел — сшиб меня лось. Об осень дело было, лоси за коровами ходили, ярились... Ну, сшиб он меня и давай топтать. Ну, думаю, смерть пришла, да голову-то, голову-то хороню — не расколол бы. Вдруг — бах!.. И ткнулся лось оземь. Степан, покойник, прямо в ухо ему, в упор стрельнул. А я и подняться не могу, избитый весь, нога переломлена. На лошади из леса привезли... С тех пор вот и хромаю.

Рассказывая, заметил: не слушает Вася, за самовар поглядывает, на Оленку.

Встал:

— Ну я пойду к охоте приготовлюсь, а вы уж одни побеседуйте.

Покраснела Оленка, на отца подосадовала — зачем одну оставляет. Подумала:

«Что я с ним делать буду, о чем говорить?»

Парень на стол облокотился, смотрит синими глазами:

— Скучно вам жить здесь?

— Ничего, привыкла.

— И подруг нет?

— Подруг нет, одна все...

— Значит, скучно.

Не ответила.

— А я вот в городе жил, учился... Сюда приехал, тоже товарищей нет, один...

Осмелилась:

— А вы к нам ходите.

— Спасибо, буду ходить... А вы с отцом, когда на селе будете, ко мне заходите, книжки у меня есть, журналы разные с картинками. Читать-то любите?

— Нечего читать-то, да и неохота летом-то; в лесу да в поле. Вот зимой почитала бы, зимой скучно.

Опять замолчали. О чем говорить?

Солнце за Синь-бор прячется, облака розовые над лесом поплыли. Вечер идет.

— Может, чайку еще хотите?

— Нет, спасибо, достаточно.

Смолистым духом хвои тянет в окно, парным запахом навоза, влажной землей.

— Пойдемте на крылечке посидим, — вылез парень из-за стола, — погода хорошая, вечер теплый.

— Пойдемте.

На крылечке разговорился Вася, рассказал, какие мытарства в городе терпел после ухода из дому, когда учиться начал, как до дела дошел.

Слушала девушка, тайком в лицо Васино взглядывала, на волосы кудрявые, на темный пушок верхней губы, и казалось ей: давно знакомы они, не впервой он приходит к ним, не впервой сидят они на ступеньках в зеленом вечере.

Нефед из сарая вышел.

— Ну, птицы-голуби, воркуете? Скоро спать. Сговорь-ка нам, дочка, молочка с хлебцем, поедим да и на покой. Завтра до свету подниматься.

Спать легли в сторожке: лесник — на печи, Вася — на полатях, Оленка — на полу у печки.

6

Долго не могла заснуть Оленка, а как поплыли над головой пушистыми облачками сны — сгрезила.

Сидит она у светлого болотца, на желтой кочке, в синюю лужицу смотрится. Над болотом в ясном небе солнце золотым колесом катится, и от него во все стороны огонь брызжет спелыми колосьями. На дне лужицы на ржавых листьях серебряные пятачки, гривенники, пятиалтынные, над ними девичье лицо. Всматривается Оленка в свое отражение, замечает: не карие глаза у нее, а голубые, и волосы темнее, и на верхней губе шелковые усики. «Ах, да ведь это Васино лицо!» Закружилась голова у девушки, низко нагнулась над лужицей, полуоткрытыми губами не то студеной воды хлебнуть хочет, не то прижаться к губам Васиным, что тянутся к ней снизу, тоже полуоткрытые, жадные.

Проснулась. Села на полу, руками за грудь ухватилась — колотится сердце жутко и радостно.

«Ох, к чему это пригрезилось?»

В окно половинка луны смотрит. Желтой бумагой разбросала свет по столу и полу. Отец на печке храпит, на полатях глубоко дышит Вася. И опять сны облачками поплыли на потолке, ниже и ниже опускаясь...

Нефед проснулся до свету. Пофыркал, умываясь над лоханью, в окошко глянул.

Луна упала на Синь-бор. Ночь на исходе гуще потемнела, крепок в предутре звериный и птичий сон. Болота седым туманом покрываются, дышат перегноем трав, водорослей. Над землей ярче звезды разгораются, чтобы в первых потоках зари умереть, растаять.

Лесник подергал голую Васину пятку, что с полатей свесилась.

— Вставай.

— А?

— Вставай, время... Я на двор пойду, Зорьке сенца подкину.

Вышел из избы, тихонько притворив дверь.

Парень быстро оделся, плеснул в лицо студеной водой над лоханью, гребень в волосы запустил. Расчесывает волосы, по избе взглядом шарит.

На полу девушка разметалась, одеяло сбилось на сторону.

Хочет отвернуться парень, а глаза не слушаются, прилипли взглядом к девичьему телу — не оторвешь. И ноги, сами собой, подошли к печке, подкосились. Нагнулся Вася над Оленкой.

— О-ох! — открыла глаза девушка, испуганно приподнялась. — Ты что? — Натягивает одеяло на плечи... — Ты что, бесстыдник?

— Картуз не найду... Уходим на охоту...

— Нету здесь картуза... Иди...

Сжалась комочком под пестрым одеялом и голову спрятала.

В сенцах лесник стукнул дверью и позвал:

— Готов?

— Готов. Иду.

Картуз на колышке у дверей, схватил и — в сени.

До Ржавого болота две версты, краем леса, березняком, сырыми мочажинками. Лесник ходко идет, припадая на левую ногу. С трудом поспевает за ним парень. На опушке мягко порхнула над ними летучая мышь и сунулась в чащу. Лес шумит тихо и густо, по-весеннему; в этом шуме дыханье и шорох зверей, птиц, тайный рост трав и деревьев.

Под сизым туманным одеялом еще не просыпалось

болото, только, спугнутые у заводи, просвистали крыльями два чирка да крикнул куличок под кочкой.

Небо посветлело, побледнели звезды. Венера на востоке заблестела ярче, крупная, как осколок луны.

Темной копной замаячил впереди шалаш.

— Ну лезь, — сказал, подойдя к нему, лесник, — скоро косачи затокуют. Токовика — того, что первый затокует, — не бей. Убьешь — на всю весну ток испортишь. На-ко ружье.

— А ты?

— А я в березняке посижу, по болотцу пройдусь. Когда ток кончится, зайду за тобой.

В дыры шалаша виден край березового перелеска, желтая щетка камыша на болоте. От еловых ветвей сладко пахнет смолой.

Вася вложил патроны в стволы ружья, стал ждать.

Где-то далеко серебряными трубами протрубили журавли, и как будто леса, болота, перелески только и ждали этой трубной песни, чтобы проснуться и начать жить. Свистнули водяные курочки, прозвенел бекас над шалашом, засипел в камышах кряковый селезень. В березняке шаркнуло метлой по железному листу:

«Чу-фшш... чу-фшш...»

Посветлел в заревом свете перелесок. Белые березки выплыли из тумана, ближе к шалашу пододвинулись. На одной из березок темный тетерев, распушив хвост и крылья, низко головой к суку пригнулся, затоковал. Волнующие звуки поплыли над землей. Не сложна тетеревиная песня — на воркование голубя похожа она, на отдаленный говор колес, когда телега по узловатому проселку колыхается, — а бередит всякого, кто заслышит ее, как будто косач, изнывая в любовной истоме, сыплет непонятные заклинания и от них трепещут тетерки, сжимаются сердца людей.

Тетерев недолго пел в березовых ветвях, спорхнул на полянку, заходил по земле, все так же распушив хвост и выгибая шею.

Перелесок заговорил шумом крыльев, и второй косач упал на полянку, за ним — третий. Втроем они ходили по траве, разгребали лапками прошлогоднюю листву и яростно бормотали. Прилетели тетерки, посидели на березках, спустились вниз. Два косача пододви-

нулись друг к другу, подпрыгнули, сшиблись грудями и начали драться; третий ворковал около самок.

Вася долго смотрел на ток, жаль было убивать ликующих птиц, но, боясь, как бы лесник не посмеялся над ним за неудачную охоту, выцелил одинокого косача, и выстрел глухо ахнул над болотом. Косач забился, трепеща крыльями, тетерки улетели, а те двое все еще продолжали биться, в ярости ничего не видя и не слыша.

Парень ружье на колени положил, задумался. И тоже не видел и не слышал больше березняка и тока — перед глазами девушка спящая.

7

Как вспомнит Оленка, что Вася в одной рубахе видел ее, так лицо пожаром вспыхнет и сердце новую беспокойную песню заведет. А может быть, и не было ничего — пригрезилось ей это, как и лицо его в голубой лужице?

Только с той ночи зачастил Вася в сторожку. Видит Нефед: не охота манит парня, а девка. Довольный, усмехается в лохматую бороду.

«Будет дело... Лучше Потапова не найти, и ему, кажись, Оленка приглянулась... А он Оленке?.. Хо-хо!..»

По всему видать, как томится девушка, как глаза ее играют, как заревеют щеки, когда о Васе заговоришь.

Лесная звериная весна утихать начала, прошли страстные порывы, любовный дурман рассеялся. В тайниках, в гнездах, далеко от человека, зарождались новые жизни. В краснолесье зацвели сосна, ель, можжевельник, на болотах и полянах — голубика, клюква, брусника. Душистыми белыми гроздьями осыпалась в овраге черемуха.

Человечья весна с каждым днем ярче горит. В полутемном хлеву часто шептала Зорьке девушка:

— Ох, Зорька, чтой-то со мной?.. Ох, Зорька, Зорька!..

Прижималась к теплому коровьему боку. Непослушные пальцы лениво тянули соски, и часто молочная струя брызгала мимо подойника.

Готовя обед, пересаливала Оленка похлебку или совсем забывала солить. Посмеивался Нефед, но ничего

не говорил, только чаще из сторожки отлучаться стал. Девушка рада: отец — в лес, а Вася — в сторожку, книжки приносит. Не читает она его книжки, а все новых просит — хочется, чтобы ходил он чаще.

Хорошо бродить с ним по оврагу, рвать цветы, сидеть на берегу ручья. А вот сегодня запоздал что-то. Неужто не придет? Не захворал ли?

— Оле-нуш-ка... а!

Выбежала на крыльцо: вон идет, торопится, без картуза, играет ветер волосами.

— Эге-ей!.. Отец дома?

— Нету.

— Жалко. А я хотел увидать его. Мишка Журавлев говорил, что на Черном озере селезней — тьма. Хотел ружьишко попросить.

Смеется Оленка, чует — не отец нужен парню.

— Ушел... как пообедал, так и ушел... В Синь-боре у нового просека он. Пройди туда, разыщешь.

— Нет уж, я лучше здесь подожду. А ты все хлопочешь?

— Управилась.

— Пойдем в овраг, погуляем.

— Иди, я догоню... Посуду только сполосну.

А сама в избе в маленькое зеркальце взглянула, волосы пригладила, голубую ленту в косу и — за парнем.

На любимом месте, у ручья, под черемухой сели. Вася книжку читать начал про Андрона Непутевого. Зажмурила глаза девушка, легла на спину. Черемуха душистым снегом осыпает. Золотым жужжанием гудят в цветах пчелы. Как яблоки белый налив, лежат под кофтой тугие Оленкины груди, желтая коса с голубой лентой вокруг шеи обернулась.

Занятная история про Андрона Непутевого, а плохо читалась, плохо слушалась. Отложил парень книжку, вздохнул...

С каждым своим приходом в сторожку чувствовал Вася, что лес, болота, Нефед отодвигались в сторону, заслонялись Оленкой. Только она манит из села: желтая коса ее, глаза карие, запах девичьего тела.

Звери и птицы, изнывая и томясь от страсти, знают: настанет день, когда самки будут покорны и ласковы.

Не знает Вася своего дня, своего часа. Может быть, он вот уже сейчас наступил. Нагнулся над девушкой.

Ровно дышит Оленка, задремала. Тихо поднимается и опускается грудь. Под тонкими подковками бровей закрытые глаза в длинных смежившихся ресницах. На щеках пушок золотится. Губы раскрылись раздавленной ягодой-малиной.

А черемуха сыплет и сыплет душистым снегом.

Ниже нагнулся парень, чуть тронул девичьи губы своими губами. Не пошевелилась девушка. Тронул крепче, и — закружилась голова, упала на девичье лицо в пьяном поцелуе.

Не спала Оленка, ждала, что будет делать парень. Ох как заполыхало тело, когда поцеловал ее Вася, как будто влил он ей в губы черемухового вина, ударил хмель в голову. Лежать бы, не двигаясь, пусть целует еще и еще. Нет, стыдно. Потянулась, открыла глаза.

— Никак вздремнула?

— Оленушка!

— Ну?

— Оленушка!

— Да ну же?

— Что сказать хочу...

Положил руки на ее плечи.

— Пусти, чего цапаешься.

— Эх, Оленушка!

И опять губы к девичьему телу тянутся.

— Пусти! — рванулась девушка. — Кабы знала — не пошла с тобой!

— Подожди!

— Ну тебя!.. Не ходи больше к нам.

Торопится уйти, чует: останется — пропадет. Сама целовать станет Васино лицо, сама запросит неведомой ласки.

— Оленушка!

Не ответила.

— Слушай!.. Давай вместе жить, поже-ним-ся!..

— Ох, батюшки! — Суглинковый скат оврага, стена Синь-бора, сторожка закачались перед глазами, ровно пьяные.

8

Непонятен таинственный цвет медуницы: в кустистых зарослях зацветает он пурпуровым цветом, пройдет несколько дней — пурпуровые цветы превращаются в ли-

ловые, еще несколько дней — в синие, а иногда и в белые.

И как цвет медуницы — Оленкины дни. Ходил Вася в сторожку — цвели дни пурпуровым цветом, а как ушла она от него в тот раз из оврага — полиловели дни, потускнели; неделя прошла, не приходил парень — посинели дни, будто туча темная надвинулась. Будут ли они белыми?

Ходит девушка как в тумане, с Зорькой не разговаривает, курам корму забывает давать.

И Нефед забеспокоился, тревожно на дочь поглядывает.

«Что случилось? Почему Потапов перестал ходить?»

Однажды после обеда, когда сидел с дочерью на крылечке, сказал будто про себя:

— Что-то Вася долго не был.

Опустила дочь голову, и вдруг слезы брызнули из ее глаз. Вскочила со ступенек, убежала в избу.

— Так... Так...

Посмотрел лесник на Синь-бор: ровно свечи, стоят желтые сосны, зеленым дымом хвои густо накрылись. Посмотрел на овраг и рукой от солнца заслонился: мелькает по дороге белая рубаха.

— Идет.

Сердцем почуял, что сейчас все объяснится, крякнул, заерзал на ступеньках.

— Оленка, Вася идет.

Не отозвалась дочь.

Белая рубаха ближе, в овраг спустилась, и вот уже Васина голова из-под овражьего ската вынырнула.

— Здорово, Нефед Иванович!

— Здравствуй. Что долго не был?

— В город отлучался, дела свои устраивал. С осени ребят на селе учить буду, учителем в село назначают.

— Хорошее дело.

— Ну а охота как? Ходил без меня?

— Нет, не ходил. В огороде копался.

Помолчали. Заметил лесник, что парень о чем-то заговорить хочет, а не решается, не знает, как начать.

— Погода-то какая стоит.

— Погода ничего, складная.

Опять замолчали.

— Оленушка как живет?

— Живет, что девке делается. Жиру нагуливает.

Лукавый взгляд под лохматыми бровями спрятал, усмешку в рыжих усах.

Вася тряхнул головой.

— Поговорить мне с тобой, Нефед Иванович, надо бы.

— Что ж, говори.

— Дочь-то где?

— Да, кажись, в лес убежала.

А Оленка в сенцах, в уголке прижалась, слушает. Ох, что-то сейчас Вася скажет. Колотится неуемное сердце, сухим жаром полыхают губы.

— Ты, может, уж догадался, о чем говорить хочу?

— Смекаю.

— А смекаешь, так разговор короток будет.

— Правильно.

— Хочу у тебя дочь отнять. Пойдет дело?

Смолчал лесник.

— Девушка она хорошая, простая, для меня подходящая... О себе — что ж сказать могу?

— Не говори — знаю.

— Только вот в чем запятая...

Запнулся.

— Ну?

— Не знаю, как ты на это дело взглянешь... Дочь твою в обиду никому не дам, жить со мной будет по-новому, по-хорошему, не как на селе бабы живут: выйдет девка замуж, через два года не узнаешь — высохла, заболела, куда краса подевалась. Оленка не так заживет... Только... только у попа венчаться не буду... Не верю я в это. Если любишь — без попа проживешь, а не любишь — насильно поп не свяжет.

На Нефеда с опаской поглядел: ну как вскочит лесник, турнет, обругает...

А лесник ничего, усмехнулся:

— Я, брат, сам в попов не верю, сам с женой не венчан жил.

— Да что ты?

— А ты не слыхал нешто?

— Не слыхал.

— Не венчан... А насчет девки вот что скажу: согласится она — и я согласен. Неволить не буду — как она... С ней потолкуй... А сейчас пойдем-ка чайку попьем.

Прижалась Оленка в сенцах за кадушкой, прошли — не заметили. Отец самоваром загремел в избе.

Вылезла из уголка, скользнула по ступенькам и — в лес.

Лучится голубое небо, зеленеет трава, в овраге снеговым сугробом черемуха лежит.

«Ох, день-то какой ласковый, белый!..»

9

Долго бродила Оленка по лесу, болоту, в березняках — боялась в сторожку идти.

«Ох, что-то будет!»

На опушке на пенек присела отдохнуть, собрать разбежавшиеся мысли. Рядом елочка цветет: пурпуровые шишечки в темной хвое огоньками горят. Поодаль сосна желто-зеленые свечи в душистом цветении затеплила. Под пеньком в хвое и листьях шныряют муравьи, букашки, личинки, торопятся, жизнь свою маленькую, незаметную строят.

Близко в лесу кукушка закуковала, будто в предвечерний воздух круглые яички бросала, сразу по паре.

Солнце за Синь-бор уходит, краснеет небо на западе.

— Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить?

Долго слушала, как кричала вещая птица: «Ку-ку!.. Ку-ку!.. Ку-ку!..»

До сорока восьми насчитала — сбилась.

«Ого, сколько!»

И как будто кукованье кукушкино успокоило, страх перед неведомым отогнало, свободнее грудь задышала, щеки поостыли. «Домой пора... Всю ночь не просидишь тут».

Заря по небу красные, малиновые, желтые флаги разбросала, торжественно провожая уходящий день. И когда день ушел и с востока на синем облаке по небу-морю приплыл вечер, разбрасывая по дороге звезды, заря свернула флаги и тихо уснула за Синь-бором.

Чем ближе к сторожке, тем медленнее шаги, непослушнее, тяжелее ноги. У хлева остановилась. Шумно дышит за стеной Зорька, жует жвачку.

«Ох, Зорька, Зорька...»

Вечер плетет лиловую сетку и уже набросил ее на поле за оврагом, на болото, торопится, доплетает, что-

бы сторожку и белую Васину рубашку — вон виднеется на крылечке — прикрыть.

Сидит парень, ждет...

«Эх, будь что будет!»

Вышла из-за хлева и быстро к крыльцу пошла, заторопилась навстречу неведомому.

— Здравствуй, Оленушка, — поднялся Вася. — Ты где была?

— Здравствуй... Гуляла... А отец где?

— Спать пораньше завалился, завтра с ним на охоту собрались.

И ласково за локоть руку Оленкину взял.

Не отняла руки девушка...

Гуще темнеет ночь. Ярче разгораются звезды. Над сторожкой Большая Медведица серебряным ковшом склонилась, будто пьяный хмель человечьей весны зачерпнуть хочет.

Не вместить в этот звездный ковш Оленкину радость.

1926

О НАШИХ АВТОРАХ

БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович (1894—1941) родился в Одессе. Окончил Одесское коммерческое училище. Печататься начал в 1916 году в журнале «Летопись». В годы гражданской войны — боец и сотрудник газеты Первой Конной армии. С 1923 года выступает в печати с рассказами, составившими книгу «Конармия» (1926). Автор цикла «Одесские рассказы» (1931), других рассказов, очерков, пьес.

БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич (1890—1940) родился в Киеве, в семье профессора духовной академии. Окончил медицинский факультет Киевского университета. Служил врачом в глухой смоленской деревне.

Литературную работу М. Булгаков начал в 1920 году на Кавказе, продолжил ее в Москве, сотрудничая как фельетонист и репортер в «Гудке» и других периодических изданиях. Первое крупное произведение М. А. Булгакова — роман «Белая гвардия» (1925, полностью опубликован в 1965-м), раскрывающий идейный крах белого движения, — привлек внимание читателей и критики, был высоко оценен М. Горьким. Написанная на основе романа пьеса «Дни Турбиных», поставленная МХАТом в 1926 году, имела огромный успех. Сложность идейных позиций писателя, порой принимаемая и толкуемая неверно, вызывала ожесточенные нападки критики, прежде всего рапповской.

Центральное произведение писателя, над которым он работал до последних своих дней, — роман «Мастер и Маргарита» (опубликован в 1966—1967-м). В 1965 году напечатан неоконченный «Театральный роман» («Записки покойника»), биографическая повесть «Жизнь господина де Мольера».

В последующие годы читателю были возвращены многочисленные рассказы писателя, написанные в 20-е годы, повесть «Собачье сердце» (опубликована в 1987 году).

БУНИН Иван Алексеевич (1870—1953) родился в Орле, в старинной дворянской семье. Повести «Деревня» (1910) и «Суходол» (1911) — одни из вершин предреволюционной литературы. Почетный академик Петербургской Академии наук (1909). Много путешествовал. Революцию встретил враждебно, в 1920 году эмигрировал. В эмиграции им написаны рассказы, повести, мемуары, роман «Жизнь Арсеньева» (1930). Лауреат Нобелевской премии (1933). Умер в Париже.

ВЕСЕЛЫЙ Артем — литературный псевдоним Николая Ивановича Кочкурова (1899—1939). Родился в Самаре, в семье волжско-

го крючника. В марте 1917 года становится большевиком, под руководством В. В. Куйбышева ведет революционно-пропагандистскую работу. В гражданскую войну Н. И. Кочкуров — боец, редактор и сотрудник красноармейских газет.

В печати выступает с 1921 года, Артем Веселый — автор исторического романа «Гуляй, Волга» (1932), рассказов и очерков. Наиболее значительное произведение писателя — эпопея «Россия, кровью умытая», вобравшая и некоторые из ранее публиковавшихся повестей и рассказов.

ГЛАДКОВ Федор Васильевич (1883—1958) родился в крестьянской семье, прошел большую жизненную и трудовую школу, участвовал в революционном движении и гражданской войне. Член партии с 1920 года.

Начал печататься в 1900 году. Наиболее известное произведение Гладкова — роман «Цемент» (1925), рассказывающий о восстановлении промышленности. Автор романа «Энергия» (1932—1938), автобиографической трилогии «Повесть о детстве» (1949; Государственная премия СССР, 1950), «Вольница» (1950; Государственная премия СССР, 1951), «Лихая година» (1954). Ф. В. Гладков был одним из руководителей Союза писателей СССР, директором Литературного института (1945—1949).

ГОРЬКИЙ Максим (Пешков Алексей Максимович, 1868—1936). Родился в семье столяра-краснодеревщика. Рано лишился отца и начал трудовую деятельность. Переменил множество профессий, исходил и изъездил значительную часть России. За революционную деятельность его неоднократно арестовывали и ссылали. Сидел в Петропавловской крепости. Печатался с 1892 года. Максим Горький — один из крупнейших писателей XX столетия, родоначальник литературы социалистического реализма, по словам В. И. Ленина — «громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению»*. Перу М. Горького принадлежат романы «Мать» (1906), «Дело Артамоновых» (1924—1925), «Жизнь Клима Самгина» (1925—1936), повести, рассказы, очерки, пьесы, статьи.

М. Горький был выдающимся издателем и редактором (издательское товарищество «Знание», издательство «Парус», журнал «Летопись», в советское время — серии «История гражданской войны», «История фабрик и заводов», «Жизнь замечательных людей» и др., журналы «Работница», «Крестьянка», «СССР на стройке» и др.). Крупнейший общественный деятель, тесно связанный с международным рабочим движением, Горький был личным другом В. И. Ленина. Один из организаторов Союза писателей СССР и первый председатель его правления.

ГРИН Александр Степанович (Гриневский, 1880—1932) родился в Вятке, в семье мелкого служащего, польского ссыльного. Пятнадцати лет ушел из дому, добрался до Одессы, плавал на черноморских судах, затем возвратился домой. Жизнь будущего писателя была чрезвычайно тяжелой — он испытал нищету, тюрьму, ски-

* Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 49.

тания. В предреволюционные годы выходят первые книги Грина, в которых писатель создает особую сказочную страну, населенную романтическими героями. В 1920 году Грин оказался в Петрограде после сыпного тифа, без всяких средств к существованию. Только дружеская поддержка М. Горького позволила ему избежать гибели. В 1923 году опубликована повесть (феерия) «Алые паруса». С 1924 по 1930 год Грин жил в Феодосии, затем — в городе Старый Крым. Кроме многочисленных рассказов, он написал романы «Блистающий мир», «Бегущая по волнам», «Дорога никуда», «Джесси и Моргиана». Произведения Грина любимы миллионами читателей, особенно молодежи.

ЗОЩЕНКО Михаил Михайлович (1895—1958) родился в Полтаве. Учился в Петербургском университете, добровольцем ушел в первую мировую войну на фронт, был командиром батальона, отравлен газами и демобилизован. После революции, в годы гражданской войны будущий писатель служил в Красной Армии, испробовал множество профессий.

Первые публикации относятся к 1921 году. «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» (1922) имели большой успех. Творчество Зощенко высоко оценил М. Горький. С конца 20-х и в 30-е годы Зощенко — один из популярнейших советских писателей. Его многочисленные короткие рассказы выходили во многих издательствах, печатались в журналах и газетах. В 1934 году выходит «Голубая книга» — произведение необычной жанровой структуры, соединяющее в себе традиционный зощенковский короткий рассказ с философскими размышлениями о путях цивилизации, с историческими отступлениями. Перу М. Зощенко принадлежат также пьесы, переводы.

В послевоенные годы творчество писателя подверглось несправедливым нападкам, он был отстранен от участия в литературном процессе.

ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1895—1963) родился в поселке Лебяжье Павлодарского уезда Семипалатинской губернии. Отец его был сельским учителем. Вс. Иванов окончил начальную школу и один курс сельскохозяйственного училища. Рано оставил дом и начал трудовую жизнь. Странствовал по Сибири и Казахстану, сменил много профессий. Был подручным у лавочника, матросом, рабочим в типографии, наборщиком, цирковым артистом.

Печататься начал с 1915 года. Первая книга «Рогульки» в количестве 30 экземпляров набрана и отпечатана в 1919 году самим Ивановым в типографии омской газеты. Деятельное участие в литературной судьбе Иванова принял Горький: в журнале «Красная новь» по его рекомендации были напечатаны повести «Партизаны» (1921) и «Бронепоезд 14—69» (1922), в них нашла отражение борьба народа за свободу и землю под руководством большевиков.

Перу Иванова принадлежат романы «Похождения факира» (1935), «Пархоменко» (1939). В годы Великой Отечественной войны Иванов пишет статьи и рассказы на военно-патриотические темы. После войны издает воспоминания «Встречи с Максимом Горьким» (1947), создает пьесу «Ломоносов» (1953) и роман «Мы идем в Индию» (1960) о событиях в предреволюционной России. Ряд

произведений («Эдесская святыня», «Вулкан», «Ужгинский Кремль») опубликованы посмертно. Произведения Иванова переведены на многие иностранные языки.

КИН Виктор Павлович (Суровикин, 1903—1937) родился в городе Борисоглебске, в семье рабочего-железнодорожника. Участник партийного подполья на Дальнем Востоке, литературную работу начал в 1923 году как фельетонист. Был корреспондентом ТАСС в Италии и Франции. Член партии с 1920 года. Главное произведение писателя — роман «По ту сторону» о героях гражданской войны на Дальнем Востоке.

КОЛБАСЬЕВ Сергей Адамович (1898—1942) родился в Петербурге, в семье чиновника. Окончил Морской кадетский корпус. В годы гражданской войны был командиром дивизиона миноносцев. Затем находился на дипломатической работе. Печатается с 1922 года, сначала — как поэт. Произведения С. Колбасьева посвящены морю и морякам, многие из них адресованы детям.

КОЛЬЦОВ Михаил Ефимович (Фридлянд, 1898—1942) родился в Киеве в семье ремесленника, печататься начал с 1916 года. Активный участник февральской революции и Великой Октябрьской социалистической революции. С 1922 года — постоянный фельетонист и очеркист «Правды». Член Коммунистической партии с 1918 года. Один из виднейших советских журналистов, редактор журналов «Огонек», «Крокодил», «За рубежом». Автор многочисленных статей, фельетонов, рассказов, член-корреспондент Академии наук СССР (1938). Последняя книга — «Испанский дневник» (1938) — посвящена гражданской войне в Испании.

ЛЕОНОВ Леонид Максимович родился в 1899 году в Москве, в семье крестьянского поэта-самоучки. Окончил московскую гимназию. Служил в Красной Армии.

Печататься Л. Леонов начал в 1922 году, работал с редкой творческой интенсивностью. К началу тридцатых годов стал одним из крупнейших писателей своего времени. Его романы: «Барсуки» (1924), «Вор» (1927; 1959), «Соть» (1930), «Скутаревский» (1932), «Дорога на Океан» (1935). За роман «Русский лес» (1953) первым из советских писателей был удостоен Ленинской премии (1957). Автор многих рассказов, статей, пьес, из которых наибольшую известность получила драма «Нашествие» (1942; Государственная премия СССР, 1943).

Леонид Леонов — крупный общественный деятель, в 1929 году — председатель Всероссийского союза писателей, затем один из организаторов и руководителей Союза писателей СССР. Депутат Верховного Совета СССР (1946—1970), Герой Социалистического Труда (1967), академик АН СССР (1972).

ЛЯШКО Николай Николаевич (Лященко, 1884—1953), родился в семье отставного солдата в местечке Лебедин Харьковской губернии. Окончил церковноприходскую школу, в 1895 году был увезен в Харьков, где началась его трудовая жизнь. Работал подсобным на кондитерской фабрике, токарем по металлу на заводах в Ростове-на-Дону, Севастополе, Харькове, Николаеве. За участие в под-

польной революционной деятельности дважды отбывал ссылку в Олонецкой и Вологодской губерниях, а в 1914 году был приговорен к году тюрьмы за издание журнала «Огни».

Первые рассказы «В ночную» и «В местах отдаленных» опубликованы в 1904 году. В 1920 году Н. Ляшко вошел в литературную группу «Кузница». В повести «Доменная печь» (1925) он одним из первых в советской литературе обратился к теме социалистического строительства. Им написаны романы «Сладкая каторга» (1934) и автобиографическая повесть «Никола из Лебедина» (1951).

МАЛЫШКИН Александр Георгиевич (1892—1938) родился в селе Богородском Мокшанского уезда Пензенской губернии, в семье приказчика. Окончил гимназию, Петербургский университет. Первые рассказы (1913—1915) посвящены жизни русской провинции. Мобилизован, после февральской революции был направлен в Севастополь, в Черноморский флот прапорщиком. Сблизился с матросами, принимал участие в гражданской войне. «Падение Даира» (1923) — романтическая повесть о заключительной битве гражданской войны.

Малышкин — автор рассказов и повестей: «Севастополь» (1931) — о революционной эпохе, романа «Люди из захолустья» (1938) — о перестройке сознания масс, включившихся в социалистическое строительство.

НЕВЕРОВ Александр Сергеевич (Скобелев, 1886—1923) родился в Самарской губернии, в крестьянской семье. Рано начал трудовую жизнь — в типографии, в сельских лавках подручным. Был деревенским учителем. Тема его рассказов «Авдотьина жизнь» (1907), «Серые дни» (1910), «Баба-Иван» (1911) — тяжкая судьба мужика, голодного и униженного.

После Октябрьской революции с его именем связано зарождение советской литературы. В эти годы написаны его лучшие рассказы: «Красноармеец Терехин» и «Я хочу жить» (оба — 1919). «Марья-большевичка» (1921), «Полька-мазурка» (1923). Широкую известность получили повести Неверова «Андрон Непутевый», «Ташкент — город хлебный», «Гуси-лебеди» (все — 1923).

ОЛЕША Юрий Карлович (1899—1960) родился в Елисаветграде, в небогатой дворянской семье. Детство и юность провел в Одессе. Окончил гимназию. Печататься начал в одесских изданиях. С 1922 года жил в Москве, в газете «Гудок» выступал с фельетонами на железнодорожные темы, подписывая их псевдонимом «Зубило». В 1924 году опубликовал сказку для детей «Три толстяка», сделавшую его имя известным широкому читателю. Писательскую славу еще больше упрочила повесть «Зависть» (1927), пьесы «Заговор чувств», «Список благодеяний», инсценировки классики. Посмертно издана автобиографическая книга «Ни дня без строчки».

ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890—1960) родился в Москве, в семье художника. Учился на философском факультете Марбургского университета (Германия). Первые стихи опубликовал в 1913 году. В первых книгах стихов («Близнец в тучах», 1914; «Поверх барьеров», 1917; «Сестра моя — жизнь», опубл. в 1922) был близок к футуристам, в дальнейшем выработал сугубо индивидуаль-

ный стиль в поэзии. Поэтическое творчество Б. Пастернака пользовалось высокой репутацией, особенно в кругах интеллигенции. Однако критика тех лет неоднократно упрекала поэта в сложности, устраненности от жизни. Много сил отдал Б. Пастернак поэтическим переводам. Он работал и над прозой — «Охранная грамота» (1931), «Люди и положения», (1957). Выход за рубежом романа «Доктор Живаго» (1957) и присуждение за него Нобелевской премии (1958) вызвали резкую критику в советской печати. Пастернак был исключен из Союза писателей СССР, от премии он отказался. Решение об исключении было пересмотрено в 1987 году.

ПЕРЕГУДОВ Александр Владимирович родился в 1894 году в местечке Дулево Владимирской губернии, в семье конторщика Дулевского фарфорового завода. До революции был рабочим, учился в народном университете имени Шанявского. Горячо приветствовал Октябрь. Служил в Красной Армии. Работал техником на фарфоровом заводе.

Первая книга — «Лесные рассказы» — вышла в 1923 году. Затем появились сборники рассказов, были написаны романы «Фарфоровый город» (1929) и «Солнечный клад» (1932). Писатель проявлял живой интерес к индустриализации страны, строительству электростанций, добыче угля и торфа, социальным переменам на селе. Перегудов был близким другом А. С. Новикова-Прибоя и написал о нем книгу.

ПИЛЬНЯК Борис Андреевич (Вогау, 1894—1941) родился в Московской губернии, в семье земского ветеринарного врача. Детство его прошло в уездных городах Подмосковья и на Волге — в Саратове и Нижнем Новгороде, где он окончил гимназию. Затем Московский коммерческий институт.

Б. А. Пильняк автор многих повестей и рассказов, путевых очерков. Наибольшую известность получил его роман о революции и гражданской войне — «Голый год» (1921).

Во многих его произведениях сказались крайности стилистических исканий той поры.

ПЛАТОНОВ Андрей Платонович (Климентов, 1899—1951) родился в Воронеже, в семье слесаря. С 14 лет А. Платонов начал трудовую деятельность. После окончания политехникума работал председателем губернской комиссии по искусственному орошению, специалистом по электрификации сельского хозяйства.

В печати впервые выступил в 1918 году. В 1922 году выходит в свет первая книга стихов А. Платонова. В последующие годы появились повести «Город Градов» (1926), «Епифанские шлюзы» (1927), «Сокровенный человек» (1928), рассказы, литературно-критические статьи.

ПОДЪЯЧЕВ Семен Павлович (1866—1934) родился в селе Обольяново-Никольское Московской губернии, в бедной крестьянской семье. Окончил сельскую школу, учился в техническом училище. Работал сезонным рабочим, угольщиком, наборщиком в типографии, дворником, долгое время крестьянствовал. Бедствовал вплоть до Октябрьской революции.

Первый рассказ Подъячева был напечатан в 1888 году. Повести «Мытарства» (1902) и «Среди рабочих» (1904) были замечены и одобрены В. Короленко и М. Горьким. Основные темы дореволюционных произведений Подъячева — трагизм судьбы миллионов крестьян, страдающих от безземелья и эксплуатации властей, разоблачение хищничества сельских лавочников и кулаков, рост политического самосознания крестьян под воздействием революционной пропаганды.

Октябрьскую революцию Подъячев встретил с воодушевлением. Вел активную общественную работу, в 1918 году вступил в партию, учительствовал на селе, выступал в печати. Темой его рассказов и очерков стало новое в советской деревне.

Наиболее значительная книга Подъячева — автобиографическая повесть «Моя жизнь» (1929—1932).

ПРИШВИН Михаил Михайлович (1873—1954) родился в Орловской губернии, в семье купца. Окончил Елецкую гимназию, Тюменское реальное училище, затем учился в Лейпцигском университете. По профессии — агроном.

После путешествия на Север России появилось первое произведение М. Пришвина «В краю непуганых птиц» (1908). Тема человека и природы стала ведущей в творчестве писателя. Им написаны романы «Осударева дорога» (опубликован в 1957 г.), «Кащеева цепь» (начат в 1923-м, полностью опубликован в 1960 г.), повесть «Кладовая солнца» (1945), многочисленные очерки, рассказы, миниатюры.

РЕЙСНЕР Лариса Михайловна (1895—1926) родилась в Петербурге, в семье профессора. Член РКП(б) с 1918 года. Прозаик, публицист, критик. Пробовала свои силы также в драматургии и поэзии, но подлинное признание обрела в публицистике. Автор очерковых книг «Афганистан», «Гамбург на баррикадах», «В стране Гинденбурга», «Уголь, железо и живые люди», очеркового цикла о декабристах, а также других публицистических произведений. Событиям гражданской войны посвящена первая очерковая книга Л. Рейснер «Фронт», вышедшая в свет в издательстве «Красная новь» в 1924 году.

РОМАНОВ Пантелеймон Сергеевич (1884—1938) родился в селе Петровском Одоевского уезда Тульской губернии, в семье писца, впоследствии занявшегося крестьянством. Окончил Тульскую гимназию, затем поступил на юридический факультет Московского университета. Вскоре он бросает учебу, и для будущего писателя начинается пора скитаний. Он меняет множество мест жительства и профессий, постоянно готовя себя к писательскому труду. Печатается с 1911 года. В предреволюционные годы работал над воплощением грандиозного замысла — эпопеи «Русь». В революционные годы пишет множество рассказов, воссоздающих бытовые ситуации тех лет. К писателю приходит широкая известность. Многие произведения тех лет несут сатирический заряд. Бурную реакцию критики вызвал рассказ «Без черемухи» (1926), в котором писатель обличает упрощенное отношение молодежи тех лет к интимной жизни.

СЕЙФУЛЛИНА Лидия Николаевна (1898—1954) родилась в семье бедного сельского священника, крещеного татарина. Воспитывалась у бабушки. До того, как стала писательницей, Л. Н. Сейфуллина работала учительницей, актрисой — преимущественно в сельских районах.

Первые произведения Сейфуллиной печатались на страницах журнала «Сибирские огни». Появившиеся в середине 20-х годов повести «Перегной» (1922) и «Виринея» (1924) утвердили имя ее в литературе.

СЕРАФИМОВИЧ Александр Серафимович (Попов, 1863—1949) родился на Дону, в семье казака, учился в Петербургском университете. За революционную деятельность был в ссылке. Журналист донских и московских газет. В 1888 году впервые выступил в печати с рассказами. Горячо приветствовал Октябрьскую революцию, в 1918 году вступил в РКП(б), в качестве корреспондента «Правды» ездил на фронты гражданской войны. Наиболее известное произведение А. С. Серафимовича — роман «Железный поток» (1924), посвященный событиям гражданской войны на юге России. В 1943 году А. С. Серафимовичу присуждена Государственная премия СССР.

ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1883—1945) родился в Самарской губернии, в дворянской семье. Учился в Петербургском технологическом институте.

Впервые в печати выступил в 1904 году как поэт. В предреволюционные годы — один из виднейших писателей-реалистов. Во время первой мировой войны — военный корреспондент газеты «Русские ведомости». В 1919—1923 годах находился в эмиграции. Наиболее известны трилогия о революции и гражданской войне «Хождение по мукам» (1921—1941, Государственная премия СССР, 1943), исторический роман «Петр Первый» (1929—1945, не окончен; Государственная премия СССР, 1946), научно-фантастические романы «Аэлита» (1922) и «Гиперболоид инженера Гарина» (1927—1939), повести «Детство Никиты» (1921), «Гадюка» (1927), повесть-сказка для детей «Золотой ключик» (1935). Во время Великой Отечественной войны выступал с патриотическими статьями.

А. Н. Толстой избирался депутатом Верховного Совета СССР (1937—1945), был действительным членом Академии наук СССР (1939).

ФАДЕЕВ Александр Александрович (1901—1956) родился на Дальнем Востоке. Участник гражданской войны, был партизаном. Член партии с 1918 года. Автор романов «Разгром» (1927), «Последний из Удэге» (1929—1940, не окончен), «Молодая гвардия» (1945—1951; Государственная премия, 1946). Крупный общественный и литературный деятель, один из руководителей РАППа (1926) и Союза писателей СССР (в 1946—1954 гг. — генеральный секретарь). Член ЦК КПСС (1939—1956), депутат Верховного Совета СССР (1946—1956).

Рассказ «Рождение Амгуньского полка» написан в мае—октябре 1923 года, опубликован в журнале «Молодая гвардия» в том же году под названием «Против течения». Игорь Сибирцев, которому

посвящен рассказ, — двоюродный брат, старший друг и боевой соратник Фадеева Член подпольного горкома РКП(б), он приобщал будущего писателя к партийной работе. В образе Никиты Селезнева сохранены черты И. Сибирцева. Рассказ имеет и автобиографическую основу: Фадеев был одно время комиссаром 22-го Амгуньского полка.

ШОЛОХОВ Михаил Александрович (1905—1984) родился на хуторе Кружилин стан станицы Вешенской области войска Донского. Рано начал трудовую деятельность, участвовал в событиях гражданской войны и установлении Советской власти на Дону. Член партии с 1932 года.

Начал печататься в 1922 году. Выпустил сборники «Донские рассказы», «Лазоревая степь» (1926). В 1928 году напечатал первую книгу четырехтомного романа «Тихий Дон» (закончен в 1940-м; Государственная премия СССР, 1941), принесшего ему всемирную известность. Автор романа о коллективизации «Поднятая целина» (1932—1959; Ленинская премия, 1960), романа «Они сражались за Родину» (не закончен), рассказов и статей. М. А. Шолохову дважды (1967, 1980) присвоено звание Героя Социалистического Труда. Шолохов — лауреат Нобелевской премии (1965), академик АН СССР (1939). Крупный общественный деятель, член ЦК КПСС (1961—1984). Депутат Верховного Совета СССР (1937—1984).

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Исаак Бабель. Конармия. — М.: Молодая гвардия, 1987. (Б-ка «Подвиг»).

Владимир Бахметьев. Железная трава: Повести и рассказы. — М.: Советская Россия, 1983.

А. Белый. Петербург: Роман. — М.: Наука, 1981. (Литературные памятники).

Михаил Булгаков. Избранная проза. — М.: Советская Россия, 1983.

Иван Бунин. Дело корнета Елагина. Митина любовь. Жизнь Арсеньева. — В кн.: И. Бунин. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 3—5. — М.: Художественная литература, 1987—1988.

Викентий Вересаев. Повести. Рассказы. — М.: Правда, 1981.

Артем Веселый. Россия, кровью умытая: Роман: Фрагмент. — М.: Правда, 1987.

Аркадий Гайдар. Школа. Р. В. С. — В кн.: А. Гайдар. Избранное. — М.: Правда, 1986.

Федор Гладков. Цемент: Роман. — М.: Современник, 1986.

Максим Горький. Дело Артамоновых. Мои университеты. Жизнь Клима Самгина. — В кн.: М. Горький. Собрание сочинений: В 8-ми т. — М.: Советская Россия, 1987.

Александр Грин. Алые паруса. Блистающий мир. Бегущая по волнам. Рассказы. — М.: Правда, 1985.

Владимир Зазубрин. Два мира: Роман. — М.: Советская Россия, 1987.

Всеволод Иванов. Бронепоезд 14—69. Рассказы. — М.: Правда, 1983.

Вениамин Каверин. Рассказы. — В кн.: В. Каверин. Собрание сочинений: В 8-ми т. Т. 1. — М.: Художественная литература, 1980.

Валентин Катаев. Растратчики. — В кн.: В. Катаев. Собрание сочинений: В 10-ти т. Т. 2. — М.: Художественная литература, 1983.

Иван Катаев. Сердце: Повести и рассказы. — М.: Советская Россия, 1980.

Виктор Кин. По ту сторону: Роман. — Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1987.

Борис Лавренев. Ветер: Повести и рассказы. — М.: Правда, 1985.

Леонид Леонов. Барсуки. Вор. Соть: Романы. — В кн.: Л. Леонов. Собрание сочинений: В 10-ти т. Т. 2, 3, 4.—М.: Художественная литература, 1981—1984.

Юрий Либединский. Неделя. Комиссары. Гвардейцы: Повести. — М.: Правда, 1985.

Александр Малышкин. Рассказы. Падение Даира. Севастополь. — М.: Правда, 1985.

Александр Неверов. Ташкент — город хлебный. Гуси-лебеди. — М.: Правда, 1983.

Юрий Олеша. Зависть. Три толстяка. — В кн.: Ю. Олеша. Избранное. — М.: Правда, 1983.

Федор Панферов. Бруски: Роман в 4-х книгах. — М.: Советская Россия, 1984.

Борис Пастернак. Детство Люверс. Охранная грамота. — В кн.: Б. Пастернак. Воздушные пути: Проза разных лет. — М.: Советский писатель, 1982.

Константин Паустовский. Романтики. Блистающие облака. — В кн.: К. Паустовский. Собрание сочинений: В 9-ти т. Т. 1. — М.: Художественная литература, 1982.

Андрей Платонов. Избранное. — М.: Правда, 1983.

Михаил Пришвин. Кощеева цепь. Мирская чаша. — В кн.: М. Пришвин. Собрание сочинений: В 8-ми т. Т. 2. — М.: Художественная литература, 1982.

Лидия Сейфуллина. Повести. — М.: Советская Россия, 1984.

Александр Серафимович. Железный поток: Роман. — М.: Современник, 1980.

Иван Соколов-Микитов. Избранные произведения. — Л.: Лениздат, 1981 (Б-ка Лениздата).

Алексей Толстой. Эмигранты. Хождение по мукам. — В кн.: А. Толстой. Собрание сочинений: В 10-ти т. Т. 4, 5. — М.: Художественная литература, 1983.

Юрий Тынянов. Кюхля. Рассказы. — М.: Правда, 1981.

Александр Фадеев. Разгром: Роман. — М.: Современник, 1984.

Константин Федин. Города и годы: Роман. — М.: Правда, 1981.

Ольга Форш. Одеты камнем. Современники. Михайловский замок: Романы. — М.: Правда, 1986.

Дмитрий Фурманов Мятеж: Роман. — М.: Правда, 1982. Чапаев: Роман. — М.: Современник, 1981.

Алексей Чапыгин. Разин Степан: Роман исторический. — М.: Правда, 1985.

Мариэтта Шагинян. Месс-Менд. — В кн.: М. Шагинян. Собрание сочинений: В 9-ти т. Т. 3. — М.: Художественная литература, 1987.

Вячеслав Шишков. Пейпус-озеро: Роман, повести, рассказы. — М.: Современник, 1985.

Михаил Шолохов. Тихий Дон: Роман в 4-х книгах. — В кн.: М. Шолохов. Собрание сочинений: В 8-ми т. Т. 1—4. — М.: Художественная литература, 1985—1986.

СОДЕРЖАНИЕ

Неслыханные перемены... Леонид Асанов
5

И. Бунин. Кануи
9

А. **Толстой.** Рассказ проезжего человека
10

М. Кольцов. Октябрь
19

А. Серафимович. Море
23

А. Неверов. Я хочу жить
30

Ф. Гладков. Зеленя
35

Л. Рейснер. Маркин
54

А. Малышкин. Вожди
62

А. Веселый. В степи
76

И. Бабель. Измена
92

С. Подъячев. Понял
96

М. Пришвин. Сыр
103

Н. Ляшко. Железная тишина
108

Вс. Иванов. Литера «т»
113

С. Колбасьев. Поход «Революции»
123

А. Фадеев. Рождение Амгуньского полка
139

А. Платонов. Родина электричества
173

Б. Пастернак. Воздушные пути
189

А. Грин. Крысолов
202

М. Шолохов. Чужая кровь
238

Л. Леонов. Возвращение Копылева
257

Л. Сейфуллина. Мужицкий сказ о Ленине
270

М. Булгаков. Ханский огонь
279

М. Зощенко. Аристократка
297

Б. Пильняк. Жулики
301

В. Кин. Старый товарищ
308

П. Романов. Голубое платье
311

Ю. Олеша. Пророк
322

М. Горький. Рассказ
327

А. Перегудов. Человечья весна
331

О наших авторах
355

Советуем прочитать
364

Человечья весна : Страницы русской прозы 1917—1930 годов. / Сост. и авт. предисл. Л. Асанов. — М. : Мол. гвардия, 1988. — 367[1] с., ил. — (Б-ка молодой семьи. Т. 15)

ISBN 5-235-00014-5

В книгу вошли произведения замечательных писателей двадцатых годов — М. Горького, А. Серафимовича, М. Шолохова, М. Булгакова, А. Платонова, А. Грина, Б. Пастернака и других, отразивших, каждый по-своему, грандиозную эпоху революционных преобразований в России. Сборник познакомит читателя со стилевыми исканиями прозаиков тех лет, поможет ощутить дух того удивительного времени.

4702010200—219
078(02)—88 Свод. пл. подписных изд. 1988. ББК 84Р7—4

ИБ № 6201

ЧЕЛОВЕЧЬЯ ВЕСНА

Редактор Е. Калмыкова
Художник В. Бессенгалиев
Художественный редактор К. Фадин
Технический редактор Н. Теплякова
Корректор И. Ларина

Сдано в набор 25.02.88. Подписано в печать 06.06.88. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 19,32. Условн. кр.-отт. 19,74. Учетно-изд. л. 19,0. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 100 000 экз.). Цена 1 р. 70 к. Заказ 3235.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-00014-5

БИБЛИОТЕКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

Это была поразительная, небывалая эпоха, когда люди явственно ощутили себя свидетелями и участниками перелома всего хода развития человеческого рода. «История человечества проделывает в наши дни один из самых великих, самых трудных поворотов»,— писал в это время Ленин, и слова эти были не образным выражением оратора, а точной констатацией факта, сделанной трезвым политиком, практиком социальной борьбы.

Для сегодняшнего читателя литература той поры — словно волшебное стекло, позволяющее всмотреться в события, характеры, души людей, приблизиться к пониманию сути грандиозного катаклизма, изменившего лицо нашей Родины и в конечном счете всего мира.

1 р. 70 к.